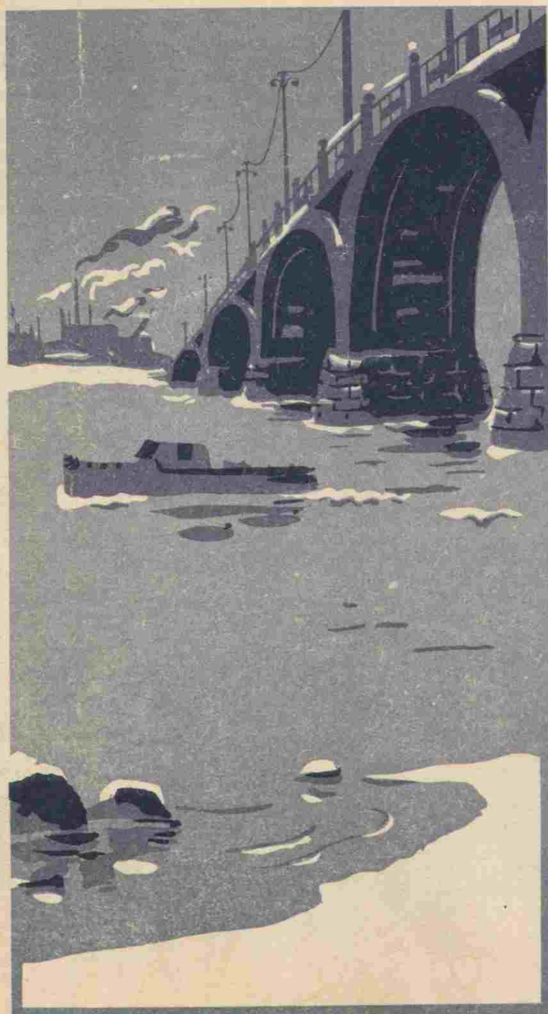
Т-2
А 64
339628

АНГАРА

Иркутск



№ 1
ЯНВАРЬ
МАРТ
1960

Колич. пред. выдач

КНИГА ДОЛЖНА БЫТЬ
ВОЗВРАЩЕНА НЕ ПОЗЖЕ
УКАЗАННОГО ЗДЕСЬ СРОКА

Колич. пред. выдач

Р2 ~~539698~~
А 64
Ангара. №1(46).
1960 г.
6 р.

АНГАРА

Р2
А64

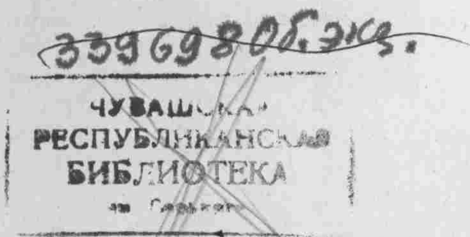
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
АЛЬМАНАХ

ОРГАН ИРКУТСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ
СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ РСФСР

СОДЕРЖАНИЕ

№ 1 (46)
ЯНВАРЬ
МАРТ
1960

Государственное бюджетное
учреждение культуры
Иркутская областная государственная
универсальная научная библиотека
им. И.И. Молчанова-Сибирского


339698 об. экз.
ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

Обложка и рисунки художника
В. П. Трофименко

Репродукции картин на вклейках художников:
А. И. Алексеева, Г. В. Богданова, А. П. Крылова, В. С. Рогаля, А. К. Руденко, А. И. Шаталова.

Редакционная коллегия:

Главный редактор *Ф. Н. Таурин,*

В. Киселев, Г. Кунгуров, Инн. Луговской, П. Маляревский, И. Медведев, К. Седых, М. Сергеев, В. Титов (зам. гл. редактора), *В. Трушкин, К. Чуйко.*

Адрес редакции:

г. Иркутск, улица 5-й Армии, дом 36, отделение Союза писателей. Телефон 56—76

ИРКУТСКОЕ КНИЖНОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО
1960

А. А. ДЕМИН,
председатель колхоза «Гигант»,
Нижнеудинского района

РАБОТАТЬ ИНИЦИАТИВНО, СМЕЛЕЕ ПОДДЕРЖИВАТЬ ВСЕ НОВОЕ[1]

Товарищи, я был участником декабрьского Пленума ЦК КПСС и должен принести большую благодарность Центральному Комитету Коммунистической партии Советского Союза и иркутской областной партийной организации за то, что мне была оказана честь присутствовать на историческом совещании.

Многие товарищи, встречаясь, спрашивают, какое впечатление произвел на меня декабрьский Пленум ЦК КПСС и как проходила его работа?

Нужно сказать, что мне даже не верилось, что я, председатель одного из колхозов Иркутской области, буду участником ответственного совещания — Пленума Центрального Комитета партии.

В течение четырех дней я был живым свидетелем грандиозной работы, проделанной декабрьским Пленумом. На меня произвела неизгладимое впечатление как сама организация работы, так и постановка вопросов о сельском хозяйстве. Это еще и еще раз подтверждает, что наша партия, ее Центральный Комитет и лично Н. С. Хрущев повседневно проявляют заботу о развитии и расцвете колхозного производства.

Второе глубокое впечатление, которое я вынес из хода работы Пленума, это то, что он проходил в обстановке единства и сплоченности нашей партии. На нем широко были представлены деятели науки, труженики промышленности, работники областей и районов, передовики сельского хозяйства. Как участник Пленума ЦК КПСС, я был свидетелем того, как наша партия, ее Центральный Комитет тесно связаны с народом, советуются с ним в больших и малых делах, постоянно заботятся об укреплении колхозов, повышении материального благосостояния трудящихся нашей Родины.

Большое впечатление осталось у меня от доклада председателя Совета Министров Российской Федерации тов. Полянского, который дал яркую картину развития сельского хозяйства в нашей республике и особенно в Рязанской области.

С большим вниманием я прослушал выступления передовиков сельского хозяйства: тов. Рыбачек—доярки колхоза «Красное Сормово», Сталинградской области, надоившей за 1959 год 5100 литров молока, тов. Малышенко—старшего чабана колхоза им. Сталина, Ставропольского края, получившего 180 ягнят на 100 маток и 6,4 килограмма шерсти на одну овцу, тов. Гиталова — бригадира тракторной бригады и тов. Чижа — знатного свинаря колхоза имени Шевченко Львовской области, который получил 561 центнер свинины, по себестоимости 224 руб. за центнер.

Тов. Чиж взял на себя обязательство в 1960 году произвести 1000 центнеров свинины, а на 1961 год 2500 центнеров, то есть свою производительность перекрыть почти в 5 раз и снизить себестоимость центнера свинины до 200 рублей.

Радостно было слушать выступавших председателей колхозов, которые имели замеча-

[1] Из стенограммы выступления А. А. Демина на совещании областного партийного актива 12 января 1960 г.

тельные успехи. В частности, были объявлены показатели тт. Андреевой и Короткова. Тов. Коротков председатель колхоза имени Ленина, Вурнарского района, Чувашской АССР. Этот колхоз к Пленуму ЦК вырастил и реализовал на каждые 100 га сельскохозяйственных угодий 120 центнеров мяса и 300 центнеров молока, а до конца года обязался произвести дополнительно 1200 пудов мяса.

Я познакомился с тов. Коротковым и беседовал с ним около 3 часов, причем интересовался, каким путем колхоз в условиях, по существу не отличающихся от условий нашей области, добился таких высоких показателей. Основное, что сделано в этом колхозе — это то, что здесь наведен порядок в полеводстве. Урожай колхозники собирают с полей богатый: зерна по 22 центнера, картофеля по 240 центнеров, зеленой массы кукурузы по 400—500 центнеров с гектара. Таким образом, колхоз создал прочную кормовую базу для развития общественного животноводства.

Поделился со мной тов. Коротков и тем, как он занимается организаторской работой, сообщил, что успех дела во многом зависит от того, как мы воспринимаем решения партии и правительства, как мы их разъясняем труженикам и насколько мы умело организуем борьбу за выполнение этих решений. Благодаря этому тов. Коротков, мобилизуя силы колхоза и резервы своего хозяйства, добился хороших показателей в работе артели.

На Пленуме выступала председатель колхоза имени Кирова, Рязанской области, тов. Ефремова. Колхоз, которым она руководит, добился производства мяса на 100 га 171 центнер и выход молока 346 центнеров.

Неплохих показателей добились и наши соседи — красноярцы. Об этом на Пленуме рассказал председатель колхоза имени Сталина тов. Парамонов из Минусинского района.

Мы познакомились с ним и я вызвал тов. Парамонова на соревнование. В этом году совместно будем бороться почти за одинаковые показатели. Колхоз им. Сталина увеличил в 2 раза производство мяса в 1959 году по сравнению с 1958 годом и в 1,5 раза увеличил выход молока. Он берется выполнить семилетку в 5 лет, дать мяса на 100 га сельскохозяйственных угодий 124 центнера и молока 372 центнера.

Выступления на Пленуме ЦК КПСС передовиков сельского хозяйства и председателей артелей показали, что наши колхозы располагают неограниченными резервами дальнейшего роста производства сельскохозяйственных продуктов.

Но кроме чувства восторга и радости за те достижения, которые имеются у нас в колхозах, было и другое впечатление. Это обида за себя, за свой колхоз, за всех товарищей-иркутян, за то, что мы сильно отстаем в развитии животноводства и в подъеме его продуктивности. Мне было стыдно, что колхоз «Гигант», которым я руковожу, выращивая большие урожаи зерна, кукурузы, картофеля и трав, с трудом добился в 1959 году выхода мяса на каждые 100 гектаров пашни только по 24 центнера и молока по 160 центнеров.

Мне было обидно и за то, что мои соседи по району, колхозы имени Сталина, «Путь к коммунизму», «Объединенный труд», земли которых не хуже, чем у колхоза «Гигант», производят молока и мяса еще меньше.

Товарищи, вы все знаете, что, выступая с высокой трибуны декабрьского Пленума, я от имени своих колхозников принял обязательство — семилетний план по зерну выполнить в три года, а по животноводству в пять лет. Это значит, что наш колхоз в 1961 году должен урожайность зерновых культур иметь 23 центнера с гектара, а в 1963 году произвести и реализовать на 100 гектаров пашни — мяса 110 центнеров и молока 365 центнеров, яиц 11,5 тыс. В 1960 году мы должны на каждые 100 гектаров сельскохозяйственных угодий дать мяса 70 центнеров и молока 210 центнеров, это значит, что мы в этом году должны дать стране мяса 5828 центнеров и молока 17 тыс. центнеров, то есть увеличить производство и реализацию по сравнению с 1959 годом мяса в 3 раза и молока в полтора раза.

Показатели роста, которые мы приняли, велики и очень ответственны, но я счел нужным их обнародовать с трибуны Пленума по двум мотивам: во-первых, что мы располагаем достаточными материальными ресурсами, чтобы эти показатели осуществить, а во-вторых, что я как представитель иркутян должен принять и выполнить такие обязательства, за которые на меня мои земляки не могли бы обижаться.

На что мы рассчитываем, принимая небывалые для нашего коллектива темпы производства молока, мяса и других продуктов сельского хозяйства в 1960 году.

Прежде всего мы опираемся на достаточно прочную кормовую базу для общественного животноводства, созданную за счет кукурузы, картофеля, сахарной свеклы и многолетних трав из урожая 1959 г. Этими кормами мы обеспечены, можно сказать, в достатке и зимовка у нас пройдет вполне благополучно.

Далее, мы имеем на 100 гектаров сельскохозяйственных угодий поголовья крупного рогатого скота на 1 января 1960 года 25 голов, в том числе 7 коров, и 18 свиней. Это позволит нам за счет колхозного производства сдать мяса 4550 центнеров, вместо требуемых по обязательству 5828 центнеров. Недостачу 1278 центнеров мяса мы должны покрыть за счет контрактации скота у колхозников.

К проведению этих мероприятий мы уже приступили. Сейчас проводим прием телят и обмен у населения свинок на боровков случного возраста. Всего мы собираемся закупить 250 голов взрослого молодняка для нагула и сдачи в этом году и 570 телят для реализации в 1961 году.

В январе этого года в колхозе было проведено открытое партийное собрание, на котором присутствовали члены правления, бригадиры, животноводы ферм, секретарь райкома КПСС тов. Цымбал, а также руководители и парторги шефствующих организаций. Собрание приняло решение о дальнейшем улучшении полеводства, об укреплении кормовой базы, главным образом за счет повышения урожайности на старопахотных землях, а также и за счет освоения новых земель.

В 1960 году намечается освоение новых земель в количестве 500 га. Укрепление кормовой базы мы планируем за счет расширения посева кукурузы до 600 га или почти в 2 раза больше, чем было в 1959 году.

Кроме того, мы считаем необходимым больше иметь занятых паров с тем, чтобы уменьшить паровой клин до 12%, а также будем сокращать в этом году посев зеленки и за счет этого увеличим посев кукурузы.

В установленный срок мы доведем задания до всех бригад и ферм и организуем между ними социалистическое соревнование за досрочное выполнение принятых обязательств.

Одним из важных мероприятий мы считаем укрепление ферм хорошими животноводческими кадрами за счет лучших работников колхоза и в первую очередь за счет комсомольцев и коммунистов.

Нужно прямо сказать, что у нас, как и в ряде колхозов района, наблюдаются факты, свидетельствующие о том, что животноводство мы отдаем на откуп подросткам и девушкам, часто случайным людям, в то время как в других областях нашей страны животноводством занимаются обогащенные опытом лучшие люди и даже механизаторы колхозов. В частности, я имею в виду лучшего свиновода т. Чижа, ведь он не только свиновод, но и механизатор, имеет 8 классов образования и намерен окончить 10-летку.

Мы, председатели колхозов, должны серьезно решать задачи по развитию животноводства и направлять туда лучшие кадры.

Сейчас мы проводим подготовку к переходу колхоза на денежную оплату труда, выделяем фонд для поощрения лиц, выполняющих обязательства досрочно. Мы решили пересмотреть расценки и нормы выработки в сторону их увеличения, чтобы снизить себестоимость продукции. С этой же целью проводим подготовительные работы по переводу крупного рогатого скота на беспривязное содержание, а свиней на групповое бесклеточное содержание.

Добиваясь увеличения выхода мяса и удешевления его стоимости, мы ставим своей задачей сдавать государству крупный рогатый скот не ниже средней упитанности и каждое животное не ниже 300 килограммов весом.

Успех нашей работы зависит от нас самих, от нашего коллектива, а также от умения руководителей колхозов, от его председателя.

В порядке самокритики я должен сказать, что мы недостаточно поработали в истекшем году и большую часть вины в этом беру на себя. Ведь председатель является основной фигурой в колхозе и многое зависит от того, как он поведет дело, как мобилизует актив на выполнение стоящих перед артелью задач.

Если председатель хорошо работает, колхозники его всегда поддержат. К сожалению, не все у нас ладится, нередко проявляем медлительность, особенно в поддержке нового, прогрессивного, зачастую миримся с той обстановкой, которая у нас сложилась. Разве можно считать нормальным явлением, когда некоторые председатели колхозов за последние годы прекратили борьбу за рост поголовья дойных коров. Так, например, председатель колхоза «Победа», Нижнеудинского района, тов. Новиков и председатель колхоза «Красное знамя» Винников очень плохо занимаются этим делом. Больше того, тов. Новиков всячески сопротивляется выполнению плана разведения птицы, а план продажи яиц осуществляет за счет покупки их у других колхозов.

Лучшие колхозы Советского Союза борются и производят на 100 га по 100—170 центнеров мяса, а мы, передовики, боимся назвать 50—60 центнеров. Ряд колхозов производит 300—400 центнеров молока на 100 га, а у нас отдельные руководители боятся завести лишнюю корову.

Нам давно пора бы иметь на 100 га сельскохозяйственных угодий не 4—5, а 15—20 коров; также пора бы покончить и с голодным пайком в животноводстве, заготовлять на каждую корову не 8—10 тонн силосной массы кукурузы, а 20—25 тонн, как это делают передовые колхозы страны.

Из выступлений передовиков сельского хозяйства на декабрьском Пленуме я узнал, что они собирают по 25 тонн кукурузного силоса на каждую корову, а мы же соберем 10 тонн и уже начинаем хвалиться. Вот если бы мы достигли таких показателей в разведении дойных коров и в заготовке силоса, тогда бы и поспорили, где будет больше молока и мяса — в Рязанской области или в Иркутской. Кое-где у отдельных руководителей колхозов еще есть стремление к тихой жизни, к тому, чтобы меньше работать. А почему бы нам, председателям колхозов, не применить пример рязанцев? Не включиться бы в соревнование и не взять бы на себя повышенные обязательства и если не в 3, то в 2 раза увеличить производство мяса? Но этого у нас в прошлом году не произошло, и очевидно потому, что легче было себя утешать: авось у рязанцев ничего не выйдет, но оказалось, что у рязанцев вышло в масштабе области, а у нас не вышло, хотя бы в масштабе одного района. Рязанцы дают мясо на картошке, а мы не можем дать на картошке с хлебом.

Ведь, товарищи, у нас урожай выше, чем у рязанцев, я беру передовые колхозы области такие, как «Гигант», «Путь к коммунизму» или усольские «Страна Советов», «Прогресс», имени Кирова; тулунские «Коммунист», имени Кирова, «Рассвет» и др.

Находясь в этом же ряду, я вызываю названные колхозы на соревнование по производству зерна, молока и мяса.

Думаю, что названные мною колхозы в этом году могут увеличить в 3 раза выход мяса по сравнению с 1959 годом и дать не менее 200 центнеров молока на каждые 100 га сельскохозяйственных угодий.

Когда мы обсуждали вопрос о социалистических обязательствах нашего колхоза на 1960 год с колхозниками и руководителями ферм, бригад, товарищи меня горячо поддержали и заявили: довольно нам отставать, нужно работать лучше, чем мы работали.

Я выражаю уверенность, что наш колхоз и колхозы нашей области, по примеру рязанцев, приложат все усилия и добьются производства и реализации мяса не менее 70 центнеров на 100 га и молока не менее 200 центнеров.

Однако нужно сказать, что без помощи областного комитета партии, совнархоза, без помощи шефов выполнить принятые обязательства нам будет трудно. Мы испытываем в колхозах недостаток рабочей силы. Компенсировать этот недостаток рабочей силы может техника и электроэнергия. В решении этих вопросов мы ждем помощи. Нам нужны электромоторы, электропилы, насосы для подачи воды, запарники для приготовления кормов и электроэнергия.

Прошедшее партийное собрание совместно с колхозным активом поручило мне заверить областной комитет партии в том, что труженики колхоза «Гигант» приложат все силы к тому, чтобы успешно выполнить принятые социалистические обязательства по росту животноводства и увеличению продуктов сельского хозяйства.

Инн. Луговской

ОСЕНЬ 1959 года

Один — на луне,
Другой — на орбите,
В космосе два наших новых посла...
Славная осень, сколько событий,
Сколько открытий ты нам принесла!

Но в миг эпохальный,
В миг вожделенный,
Под гул межпланетного корабля
Не так о далеких мирах Вселенной,
Как о тебе наши думы, Земля.

Ты ближе,
Чем звезды в их вечном пожаре.
Вот почему устремился в полет
Над континентами двух полушарий
Серебряным голубем самолет.

И видели все: под осенним рассветом
Американских полей, городов и рек
Ходил, на привет отвечая приветом,
Простой и веселый, как жизнь, человек.

О нем говорила всемирная слава,
О нем толковали на каждом шагу,
Что он отдыхать не имеет права,
Пока водородная смерть начеку.

Он говорил.
И люди всех наций
Видели землю, как солнечный сад,
Без пушек, казарм и мобилизаций,
Без генеральских команд и солдат...

Слова такого еще не бывало
От имени самой могучей страны,
Слово,
Которое мир взволновало
Больше, чем первый полет до Луны!

ИМЕНА НА ЛУНЕ

Ты, Луна, была неблагосклонна
Открывать незнаемую даль.
Ты сияла в бездне небосклона,
Словно золоченая медаль.

И вовеки люди не видали
Оборотной стороны твоей медали.

Что там было тайной мирозданья:
Тот же старый лунный кругозор?
Те же повторенья очертанья
Трещин, кратеров, морей и гор?

Иль, быть может, в сонме поколений,
Как сказал мне некий богослов,
Там витали трепетные тени
Наших мертвых дедов и отцов?

Старая погудка — вянут уши!
Но скажу ему, чтоб не смущал иных:
Если б за Луною проживали души,
Мы б сфотографировали их!

Шутка шуткой,
Но пустив машину

В звездный путь гипербол и кругов,
Изо всех углов мы гоним чертовщину
И богов снимаем с облаков...

Еще звездочеты Вавилона
О луне гадали по ночам.
Но свои секреты удивленно
Выдает планета первым нам.

И чудесно видеть нам отныне,
Старая и милая Луна,
Как на новой лунной половине
Русские сверкают имена.

Пусть они проносят нашу славу
Через свет космический и тьму,
Пусть они принадлежат по праву
Миру —
Человечеству всему!

ПШЕНИЦА

Еще над полями ни свет ни заря.
По радио слушаю вести заветные
О том, как в пшеничную даль сентября
Со звоном врезаются жатки лафетные.

Вот это захват так захват!
Я скажу:
От моря Японского до Балтийского,
На веки веков забыв про межу,
Шумит океаном пшеница российская!
Всей грудью вдыхаю медовый твой запах.
А ты вся под солнцем, вся в росных накрапах!

Я слышу твой мощный и ласковый голос,
Я вижу твой вал океанский, пшеница:
Перед тобою склонила свой колос
Твоя из далеких америк сестрица.

В гуле комбайнов, в шелесте мельниц
Нет тебе в мире достойных соперниц.

Запас золотой в закромах Семилетки,
Ты — в поступи мира,
Ты — в звездной разведке...

Пшеница!
Я был батрачонком когда-то,
Серпом тебя резал с утра до заката,
Но от хозяина жилы-пройдохи
Перепадали твои только крохи.

Сшибала усталость, душила злоба...
А ты шелестела в душе хлебороба
Вечной надеждой урожая,
Жизнь беспросветную опережая.

И ждал я в мечтах своего урожая,
В зареве волн твоих горечь топя...
Но если не чужда была ты чужая,
Так как же люблю я
Родную тебя!

Очерки НАШИХ ДНЕЙ

ВЯЧЕСЛАВ ТЫЧИНИН

НОВЫЕ СИБИРЯКИ

Калужанки

Бирюса поразила подружек.

Ехали, готовились увидеть островок палаток, затерянный в дремучей сибирской тайге, тучи знаменитого гнуса над топкими провалами, серые облака, лежащие прямо на верхушках лиственниц и кедров. А здесь нежно голубело небо, исчерченное реактивными самолетами, весело белела березовая роща, совсем как где-нибудь под Юхновом. Даже Бирюса, извивавшаяся в низких песчаных берегах, напомнила девушкам родную Угру. Только брезентовые палатки были именно такими, какими рисовало их воображение. Но неподалеку стояла уже контора строительно-монтажного поезда, желтели стропила двух общежитий, а милые сердцу березки так приветливо шумели обильной листвой, что самая впечатлительная из всех хорошенькая Нина Милюкова стиснула от восторга грудь:

— Ох, девочки, хорошо-то как!

— Словно у нас в Калужской области, — уточнила неизменно спокойная, неулыбчивая Таня Герасимова, расправляя оборки желтого платья, раздуваемого шаловливым ветром.

До конца дня девушки еще успели сбегать к речке и выкупаться в ней. Купанье едва не обернулось худо: бревна, на которые сели верхом Нина и Тамара, неожиданно закрутились, и девушки оказались под ними в нестерпимо ледяной, совсем не угринской воде.

— Такая жара, а вода студеная, словно в роднике, — подивилась Тамара Паршина, тоненькая, гибкая, как соболь. После пережитого испуга на ее смуглом лице еще не исчезла бледность, но карие глаза уже задорно блестели, прямые черные бровки капризно сдвинулись к переносице.

Разместились девушки, все шестеро, в одной палатке. Вечером на бледном небе проступил прозрачный серпик луны. С реки потянуло холодком.

— Куда-то нас завтра назначат? — вздохнула Варя Зайцева. Лежа навзничь, она смотрела в дырочку в пологе палатки.

Никто не ответил. Девушкам вспоминались события последних недель. Перед глазами вставали картины недавнего, но уже безвозвратно минувшего прошлого.

...Позади четыре года дружбы, учебы на строительном отделении Калужского гидромелиоративного техникума. Беседа в обкоме комсомола. Секретарь обкома, высокий худощавый блондин, перед выдачей шести калужанкам комсомольских путевок обстоятельно побеседовал с ними:

— Питание, заработки там хорошие. Но жить временно придется в палатках. И танцевать, девушки, пока негде... Возможно, несколько недель поработаете не по специальности. Пожалуй, оно-то и лучше: начинать снизу, от бригадира. Одежду прихватите теплую, пригодится. Ну, что еще... Валенки получите на месте. Вода там отличная, но привозная, не из водопровода. А места красивые, совсем наши, калужские.

— Что говорит? Ведь не знает, а говорит! — укоризненно шепнула Тамара Нине.

— Знает. Он уже два раза сам в Тайшете побывал, — отозвалась подруга.

Провожали комсомольцев на Калужском вокзале жарким июльским днем. Духовой оркестр, цветы, песни... Тридцать шесть отъезжающих заполнили целиком пассажирский вагон. Старшим группы выбрали Володю Новикова — как-никак заводской человек да еще едет с мамашей.

В Москве на Ярославском вокзале купили билеты до Тайшета; не надеясь на вагон-ресторан, запаслись сыром, колбасой, булочками.

При расставаньи с родными девушки всплакнули. Но, как сказала Нина, слезок хватило только до Москвы. Когда же мимо окон поезда замелькала нескончаемая темная сибирская тайга, удивительная даже для уроженок лесной калужской стороны, загрохотал непомерной длины мостище через Енисей, девушки расплющили носы о стекло, дивясь Сибири.

— ...Спать, девчонки! — оборвала общие воспоминания Валя Синякина. Не по годам рослая, бойкая, острая на язык, она всегда верховодила среди подружек.

Утром шестеро калужанок едва поднялись. Сказывалась до сих пор разница в пять часов с калужским временем. Прежде всего навестили соседнюю палатку, носившую неаппетитное название «котлопункта». Вопреки ему позавтракали отменно: вкусно, сытно, а главное дешево. В девять утра отправились к начальнику строительно-монтажного поезда Чабану.

Георгий Лукич Чабан, опытный путестроитель, оказался худощавым седым человеком, с загорелым энергичным лицом, изборожденным резкими морщинами, глубоко впавшими голубыми глазами. Начальник внимательно выслушал девушек, но распорядился неожиданно для них: Нина Милюкова получила под свое начало бригаду плотников, Тамара Паршина — женскую бригаду землекопов, а Валя Синякина, Таня Герасимова, Надя и Варя Зайцевы вскоре же выехали в деревню Троицкую, на уборку урожая.

— Если Георгий Лукич захотел нас испытать, так напрасно, — пересмеивались между собой калужанки. — Нашел белоручек!

В самом деле — им ли, дочерям колхозниц, с малых лет помогавшим матерям в поле, бояться было сельскохозяйственных работ! Вдобавок, учась в техникуме, девчата ежегодно, летними каникулами, ездили на уборку. Спорилось дело и здесь, в подшефном колхозе имени Ленина. На веялке ли, на погрузке ли тугих мешков в автомашины, на очистке ли токов калужанки ни в чем не уступали колхозницам.

В начале ноября похолодало, стихла уборочная страда, и девушек отозвали обратно, на стройку железной дороги. Дружная шестерка оказалась снова в сборе. На этот раз ее поселили в теплом общежитии, сменившим палатку. Варя, Надя, Таня и Валя тоже получили по бригаде.

— Ну, девчонки, держитесь! — предупредила вернувшихся подружек Нина Милюкова.

Вчерашней студентке досталась бригада сплошь из сибиряков, уроженцев ближней Суетихи. Опытные плотники, срубившие на своем веку не по одному десятку домов, ни во что не ставили юное «начальство».

— Ты, дочка, чем указывать, взяла б лучше топор да на деле и показала, — с ехидцей говорили плотники «бригадирше».

— Не умею я... — тихо признавалась девушка.

— Вот то-то, — удовлетворенно причмокивал языком какой-нибудь здоровенный дядя, для вящего посрамления «бригадирши», в пику ей, виртуозно зачинивая карандаш бритвенно острым лезвием топора.

— Представляете мое положение? — жаловалась Нина подругам. — Разве нас в техникуме научили рубить, стругать, класть бетон? У кого есть разряд? Ни у кого!

— Варюхе-то не страшно будет, ей одних девчат дали. Двадцать штук. Хоть бы для затравки одного парня выделили, — спокойно сияя белозубой улыбкой, возражала Валя Синякина.

Валя ошиблась. Варе Зайцевой, да и всем остальным девушкам не раз было очень трудно. Так трудно, что кажется, если б не комсомольская совесть, бросил все, вернулся б в родную Калугу...

Сначала, пока земля не промерзла, девушки Вариной бригады работали с песнями, со смехом. Но вскоре ударили морозы, в котлован, куда поставили землекопов, пошла грунтовая вода, и девчат перевели на рытье дренажных канав по Тимирязевскому косогору.

Тут уж стало не до песен! В ход пошли кирки, ломы, клинья. Чугунная земля подавалась туго, мелкими чешуйками. Ладони саднило от грубых шершавых рукояток.

Вместе со всеми работала и Варя Зайцева. Круглое простодушное лицо ее на морозе пламенело румянцем, на белесых бровях оседал иней. Углубив канаву, Варя откладывала лом, бралась за нивелир, припадала к его трубе. Смешливая Катя Пахоленко, землячка, покачивала полосатую рейку и кричала:

— Варь, а Варь! Дай глянуть в стеколко!

Только в феврале бригаду землекопов Вари Зайцевой перевели обратно, в котлован 136-го пикета. Казалось, он промерз надежно. Но едва начали его углублять, как грунтовая вода засочилась снова. Пришлось ставить насосы, менять валенки на резиновые сапоги, поочередно отогреваться в будочке.

Бывали вечера, когда Варя уже в морозной мгле добиралась домой, в общежитие, молча стаскивала с иззябших ног резиновые сапоги, все так же молча разматывала шерстяной платок и, не сняв стеганки, валилась ничком на койку. На глаза навертывались злые слезы. Кулаки непроизвольно сжимались.

Лучшая подружка Таня Герасимова подсаживалась к Варе, сочувственно гладила ее по волосам.

— Трудно? А ты не падай духом, Варя. Держись. Конечно, тебе больше всех достается.

— Это точно, — подтверждала Валя Синякина. — Тамара разбивает котлованы под жилые дома, Таня и Надя со своими бригадами засыпают чердачные перекрытия. О нас с Ниной и вовсе толковать нечего: бетонные работы не сравнишь с землянкой. А у Варюхи... Но ты не горюй. Весна близко. А я слыхала разговор: как кончишь земляные работы, тебя там же хотят с бригадой поставить на бетонировку фундамента к трубе.

— Правда? — обрадованно вытирала слезы Варя Зайцева. — А то ж обидно, девочки — полгода долблю землю. Какая тут учеба!

На ночь в постель к Варе забиралась Нина: «Тебе теплее будет», быстро и щекотно гудела ей в ухо:

— Думаешь, у меня все гладко? Как не так! Конечно, теперь бородачей у меня забрали, дали молодежь, слушаются. Но тоже хватили лиха. Снег чистили, шпалы штабелевали... А как ямки под столбы связи копали? Бывало в одном платье, с коротким рукавом, и то аж пот прошибал!

— Ладно, Нинок, давай о домашнем поговорим, — предлагала Варя. Рядом с собой она ощущала теплое сильное тело подруги, и дневные огорчения отодвигались, хотелось вспомнить о родных и близких, оставленных дома. — Ты о ком больше всего думаешь?

— О Сережке. Нас в семье шестеро, а он самый младшенький. И такой хороший! Бывало, мать скажет: «Ребята, пора скотину загонять». Мишка ворчит: «Рано еще, ма». А Сереженька сразу обувается, пыхтит, подхватит прутик и выкатывается, как колобок, из избы. А до чего терпеливый! Один раз что получилось: мама на ферме заночевала, я одна хозяйничала в избе. Развела в тарелке мухомор, поставила на окно. Вышла куда-то ненадолго, вернулась — мухомора нет! Куда девался? «А я водичку выпил», — Сережка говорит. Я — в слезы: отравила братца. Что делать? Намешала соли, заставила выпить, чтоб вырвало. Утром отвезли его в больницу, дня три температурил, поправился. А вскоре замечаю, он вечером в избу заходит растопыркой, ступни боком ставит. «Ты что?» «Так». Начала ему на ночь ноги мыть, он вскрикивает. Тогда только досмотрелась: у него, видно после отравления, кожа на подошвах полопалась. И хоть бы тебе слезинка. Малыш, а такую боль терпел!

Под торопливый шепот подруги Варя Зайцева отходила душой и засыпала для нового трудового дня.

Всему на свете бывает конец. К исходу февраля котлован на 136-м пикете углубили достаточно, и плотники принялись сколачивать секционную опалубку под фундамент трубы. Валя не обманула: бетонировать фундамент назначили Вариных девчат. А в ночную смену, в помощь им, придали бригаду Нины Милюковой.

Укладку первых кубометров бетона в пахнущую смолой опалубку начали в день выборов — первого марта. Так увлеклись, что даже забыли про обед. Откуда-то приехал корреспондент радио и на фоне производственных шумов записал на магнитофоне выступление бригадира. Микрофон поставили перед небольшой, но крепко сбитой фигуркой Вари и она рассказала об обязательствах своих девчат. Волновалась сильно, один раз сбилась, но потом, когда бригада слушала радиопередачу, все получилось просто здорово, без сучка, без задоринки.

Днем грузовичок свозил бетонщиц в Суетиху проголосовать, а назавтра они возобновили укладку бетона в фундамент. Через две недели он был готов, и в жизни Вари произошла большая перемена.

— Хорошо поработали! — похвалил Зайцеву начальник строительно-монтажного поезда. — Пора двигаться дальше.

Так под началом мастера по искусственным сооружениям Вари Зайцевой оказались сразу четыре бригады. Свою пришлось сдать землячке Любе Степановой.

Одновременно сдала свою бригаду землекопов Таня Герасимова, назначенная геодезистом. Чтобы быть поближе к месту работы, подружки покинули общежитие на Бирюсе и переехали жить в вагон на Тимирязевском

косогоре. Впрочем, это не помешало им почти ежедневно собираться вместе, всем шестерым.

К этому времени девушки освоились со стройкой, с Сибирью. Теперь они сами подшучивали над своей прежней подозрительностью, когда разрешали входить в комнату только «нашим» ребятам, из числа тех калужан, что ехали вместе с ними в вагоне. Иногда девушки снисходили даже до приготовления обеда или глаженья одежды этим непрактичным холостякам. Остальным ребятам, даже землякам, вход строго воспрещался. Что же касается сибиряков, то они безоговорочно относились к разряду озорников, от которых надо держаться подальше во избежание сплетен.

В предубеждении шести калужанок немалую роль сыграла встреча в первые же дни на стройке с Валькой Карауловым. Внешность у парня была именно такая, какую художники придают на плакатах хулиганам: чуб, спущенный на низкий лоб, губастый рот, глаза с наглым прищуром.

— Что, образованные, за женихами приехали? — язвительно спросил Валька калужанок, опершись в картинной позе о стойку палатки, в которой разбирались с вещами девушки.

— На работу, дурак! — коротко ответила за всех Валя Синякина.

— Знаем, на какую работу! — оскалился во весь рот Караулов. — Гы-ы-ы! Небось, в области у себя не остались, даром что с дипломами!

Валя Синякина отчитала, как следует, наглого парня, выгнала из палатки, но неприятный осадок от его слов остался. Прошло много времени, прежде чем девушки поняли, что среди сибиряков никто не думает так, как Караулов, что не нужно отгораживаться от ребят, таких же душевных и искренних, как и их друзья по техникуму. А когда поняли, жить стало веселее.

— Хорошие девушки, дружные, работящие, — одобрительно отзывались о шестерых калужаночках путестроители. — Что на работе, что на танцах — нигде лицом в грязь не ударят!

Секретов между девушками не существовало и, оставаясь одни, они добродушно подшучивали друг над другом. Чаще всего начинала Тамара.

— Что-то к тебе, Варюха, шофер Миша Шагвалеев зачастил. Ни одному мастеру столько бетона не возит!

— Молчи уж, Томка! — защищалась, как могла, Варя Зайцева, заливаясь жарким румянцем до корней волос. — Это вокруг тебя ребята вьются.

Похожая на грузиночку Тамара лениво улыбалась свидом превосходства:

— Очень они мне нужны! Вот Нинка...

— Знаете, девочки, какая сегодня комедия получилась? — громко тараторила Нина Милюкова, чтобы дать другое направление разговору, принимавшему опасный для нее оборот. — Шофер, тот что на новом самосвале... ну, еще белобрысый такой... Так вот: увидел у Вали Харламовой маникюр и не стал грузить цемент, угнал машину. Ну не чучело ли? «Вы, тут, — говорит, — ногти себе красите, таковские работнички!» Меня такое зло разобрало! А я еще перед этим с утра набегалась, у мастера Петра Трифоновича была, насчет цемента хлопотала, на дороге машину ловила. Прихожу, а тут, пожалуйста, — новость! И мои-то все хороши: забились себе в будочку, сидят, хихикают. «Вы бы хоть щепки без меня в кучу перетаскали, раз другого дела нет!». Правда, почему мне больше всех нужно? Если я бригадир, так должна за всех переживать, да? Вот уйду с бригадирства, будем с Томой разнорабочими!

В апреле сразу потеплело. Пришла дружная весна с журчаньем ручьев, неистовыми грачиными криками, настоящая весна света. В выходные дни калужанкам не сиделось дома. По вечерам они начали прохаживаться по свежей насыпи строящейся станции Бирюса. В широкой просеке, куда убегали рельсы, дрожали звезды. На путях стоял и густо дымил паровоз. Подумать только, они, девчонки, двинут вперед эту черную железную громадину, проложат ей дорогу через тайгу, реки, горные хребты и ущелья! А почему бы и нет? Вон уже поднялся целый станционный поселок из каменных домов под шифером, вон полигон сборного железобетона, звеносборочная база, рабочая ветка на Суетиху... Ведь все это сделано и их руками!

— А придет время, побегут через нашу Бирюсу поезда и никто не узнает, что это мы укладывали тут рельсы, трубы, шпалы, — грустно сказала однажды Надя Зайцева.

Могли ли думать девушки, что Наде не суждено встретиться со строителями южного участка трассы!

Уехала со стройки? Вернулась на родину? Нет, Надя Зайцева навсегда осталась тут, на берегах сибирской реки с нежным ласковым именем — Бирюса, в котором так и слышатся: бирюза, лазоревый цвет, окатный жемчуг, алмазная роса...

Тяжело даже писать об этом! Каково же было подругам Нади Зайцевой пережить двенадцатое мая! Но писать надо, ибо жизнь есть

жизнь, и есть в ней победы и поражения, радость успехов и скорбная горечь утрат.

Двенадцатого мая погибла Надя. Нелепая смерть настигла ее у самых дверей общежития. Мимо шел гусеничный трактор. Пьяный тракторист Шквиря решил попугать девушку и круто развернул тяжелую машину. То ли тракториста обманул глазомер, то ли в последний момент за рычаги схватился сидевший рядом в кабине тоже хмельной его дружок, точно неизвестно. Но гусеница трактора буквально вмазала своими траками девушку в прогнувшуюся от удара стену общежития...

Хоронили Надю Зайцеву всем коллективом, с оркестром, волнующими речами, венками. Ребята установили вокруг могильного холмика металлическую оградку, девушки посадили внутри нее цветы.

Письмо на родину Нади, в деревню Жильково, обильно орошая бумагу слезами, писали вдвоем Варя и Таня. Герасимова сама родилась в Жильково, знала там всех, и ее сердце сжималось при мысли о том, сколько горя принесет это письмо в деревню.

Долго-долго, собираясь вместе, калужанки чувствовали себя осиротевшими. Нади не стало с ними! Но работа продолжалась, каждый день приносил с собой новые неотложные заботы.

Все острее Варя Зайцева ощущала неудовлетворенность своим положением. Рано ей еще ходить в мастерах! Вот она руководит укладкой железобетонных элементов. А как их изготавливают на полигоне, по какой технологии? Как проверяется качество деталей? Неизвестно. Мало знать это по книжке. Надо самой поработать на полигоне, своими руками прощупать железобетон, от закладки арматуры в опалубку до схватывания бетонной смеси! Утренние разнарядки у начальника колонны, звонки, «выколачивание» материалов, все, чем она сейчас занимается, как мастер, все это не то, не то... Конечно, работа бригадиром в зимние месяцы дала многое, научила руководить людьми, быть требовательной. Об этом что говорить. Вот и начальник колонны Николай Алексеевич Царев нет-нет да и похвалит мастера Зайцеву. Но ведь это он так, по доброте душевной. Сама-то Варя отлично видит, как она еще неопытна...

Так Варя Зайцева, сероглазая крестьянская дочь, упорная в своих желаниях, стала лаборанткой на полигоне сборного железобетона, принялась за проверку марки бетона, качества инертных материалов, дозировку смесей, контроль прочности колец, стеновых и фундаментных блоков, плит перекрытия.

Около этого же времени, в разгар лета, переменила место работы и Нина. В Заярск, на курсы бригадиров каменных и бетонных работ понадобился преподаватель. Выбор администрации пал на Милюкову. Но при отъезде Нины произошел небольшой инцидент, сильно задевший впечатлительную девушку. Чабан неосторожно пошутил, подписывая назначение Нине:

— Кому автомашину? Милюковой? А что она, приданое повезет? И так доедет!

Мелочь, а даже месяц спустя Нина не могла равнодушно вспоминать грубые слова руководителя стройки. У нее начинали дрожать губы, на щеках появлялись красные пятна.

— Георгий Лукич старший, опытный, на большой пост поставлен. Мы, девчонки, ему в дочери годимся. Значит, должен человек понимать нас, чутко относиться к молодежи. А он? Никогда не прощу ему этих слов!

Вот как неожиданно больно ранит молодое сердце необдуманное слово руководителя, его черствость, даже простое невнимание! Легко представить себе, какой горячей благодарностью была бы встречена элементарная заботливость начальника строительно-монтажного поезда, предоставь он, например, легковую машину на полчаса девушке, уезжающей навстречу большой перемене в своей жизни.

Перемены в жизни Вари и Нины подруги одобрили. Зато поступок Тамары вызвал недоумение. Оставив бригадирство, она стала разнорабочей, перешла на рубку просеки к Абакану. Девушка явно не могла найти свое место на стройке.

— Мечешься ты что-то, Томка! — неодобрительно сказали калужанки Тамаре.— Чему ты в разнорабочих выучишься?

— Ничего, мне все равно скоро в отпуск, — беспечно ответила Тамара, самолюбиво поджав нижнюю губку. — А там видно будет.

Не так-то скоро, но осенью, действительно, Тамара явилась сияющая:

— Ура! Девчонки, еду! Георгий Лукич подписал отпуск.

Не успело улечься волнение, вызванное новостью, как дверь открылась, и в комнату вошла Нина Милюкова.

— Откуда, Нинок? — изумились девушки.

— Прямо из Заярска, к вам на денек.

Вечером с Тимирязевского косогора подъехали Варя и Таня. Валя Синякина обвела всех взглядом:

— Вы только подумайте — все в сборе! Девочки, надо отметить такое событие. Варя, беги в магазин за кагором. Тома режь колбасу.

За столом, с набитыми ртами, девушки разговаривали без умолку:

— В Москве куплю всем гостинцы: маме — шерстяную кофту, отцу — рубашку, братишкам тоже что-нибудь поищу, — рассказывала Тамара Паршина.

— Только смотри, не вздумай там замуж выйти и остаться. Проклянем! — шутливо пригрозила Варя.

— Выбирай из моих, — заливалась смехом Валя Синякина. — У меня, Тома, одни женихи в бригаде. Пятнадцать каменщиков, все только-только из Брянской строительной школы.

— Девочки! — воскликнула вдруг Таня. — А ведь мы уже год как тут работаем!

— И правда, — всполошились все. — Тост! Нина, говори тост.

Валя налила всем в чашки кагора.

— Наливай и в шестую, — тихо подсказала Таня Герасимова.

Валя понимающе взглянула на подругу. «Надя! Разве она не порадовалась бы сейчас вместе с ними!»

— Вот мы и собрались все вместе... вшестером! — твердо сказала Нина, взглянув на шестую чашку. — Чего ж мы достигли за этот год работы на стройке? Варя стала лаборанткой, Таня — геодезистом. Валина бригада строит гараж. Я учу ребят. В первый раз в жизни едет в трудовой отпуск Тома. Нет только Нади. Но когда паровоз пройдет насквозь до Абакана, разве забудут ее? Вот дойдем до реки Бирюсы, а потом потянем рельсы все дальше и дальше. Строители железной дороги... Звучит? Звучит!

Обыкновенная история

Сверх ожиданий старики не стали удерживать молодоженов. Евгений Перетятько приготовился вместе с женой Марусей долго и терпеливо уговаривать своих родителей, убеждать их в том, что и в Сибири живут люди, что и там греет солнце, хотя и не так жарко, как в их родном Нальчике. Евгений даже обдумал целый план, как исподволь приучить стариков к мысли о неизбежности разлуки.

Вышло все иначе.

Не только отец, даже мать одобрила решение сына и невестки.

— Поезжай, Женечка, — сказала старушка, ласково гладя черную голову сына. — Не хотим вас связывать. Не век сидеть под родительским крылом. Ты уже в армии отслужил, есть специальность в руках. Пока у вас ребятишек нет, только и поездить по белу свету. А там, почем знать, может быть и мы к вам переедем.

Лишь на перроне маленького Нальчикского вокзала старушка не выдержала-таки, заплакала. Кто знает, когда теперь доведется встретиться с детьми. Да и доведется ли? Годы-то уже не малые...

— Пишите почаще, детки. Все пишите: как доехали, как устроились, какой климат, заработок.

Заревел паровозный гудок. Поплыли назад станционные постройки, круглая башня водокачки.

До Москвы Евгений и Маруся сидели невеселые. Жаль было родителей, одолевала тревога. Куда ехать, они решили сразу, без колебаний. Конечно же, только в Братск, на строительство величайшей в мире гидроэлектростанции, о которой так часто сообщалось в газетах и по радио. Смущало другое: вызова со стройки получить не удалось. Перетятько ехали на свой страх и риск. Да еще оба сразу, хотя отец советовал Евгению ехать сначала одному, а потом вызвать жену. В довершение всего денег удалось наскрести только на дорогу туда, в один конец. В случае чего, вернуться будет не на что.

Но с другой стороны — не заграницу же они едут, черт возьми! Вокруг свои, советские люди. В случае чего и там, в Братске, поддержат, помогут. В старое время и то вон народ пословицу сложил: «Свет не без добрых людей». А в наши-то дни на родной земле нигде не пропадешь.

Когда за окном вагона побежал березняк, у Маруси широко раскрылись от удивления глаза.

— Смотри, Женя! Лес, а стволы деревьев беленые, как во фруктовом саду.

Соседи по купе так и залились хохотом.

— Их, гражданочка, никто не белил. Они от природы такие. Читали про белую березоньку? Вот это она и есть. В ваших-то краях она, видно, не растет?

Еще больше удивились Перетятько, когда за Уралом навстречу поезду начали все чаще попадаться целые составы с круглым лесом, брусом, досками. Подумать только, какое богатство!

Удивлятся муж и жена не переставали. Ночь сменялась днем, солнце клонилось к закату, снова спускался вечер, проходили сутки за сутками, а поезд не замедлял свой бег в сплошном зеленом коридоре. Да будет ли когда-нибудь конец Сибири, ее лесам?

Перед отъездом Перетятько долго изучали географическую карту, знакомую еще со школьной скамьи. Но одно дело прикидывать

линеечкой масштаб и совсем другое самому увидеть эти бесконечные просторы родины, бесчисленные новостройки по обе стороны Великого транссибирского железнодорожного пути.

В Тайшете, пока меняли паровоз, Евгений разговорился на перроне с плотником, возвращавшимся из Братска.

— Не езжай, браток, пропадешь, — сказал густо заросший щетиной плотник, попыхивая едкой самокруткой. — Первое дело — народищу понаехало страсть, жилья не хватает. Второе: снабжение плевое. Ты вот, человек, видать, не здешний? Ага, с Кавказа. Так помей в виду — там яблочко не укусишь. Забудь. И третье — мошка. Ну, то есть, живьем ест, с сапогами. Ежели ветру нет, в затишном месте, так просто столбом висит над тобой. Дыхание забивает, не то что! Вертай, назад, друг, загодя.

О неприятном разговоре Евгений ничего не сказал жене, но на душе залегла тревога. Неужели они, в самом деле, не сумеют устроиться на работу в Братске? «Врет, поди, дядя! А если нет?» Ведь так хочется поработать именно на знаменитой сибирской новостройке. Это же передний край индустриализации Сибири.

До Братска добрались на десятые сутки пути. Со станции до поселка гидростроителей доехали автобусом. Маруся осталась сидеть на единственном чемодане, а Евгений отправился в отдел кадров, пристроился в хвост длинной очереди.

Кадровик даже не стал смотреть документы. Утомленно прикрывая глаза ладонью, видимо в тысячный раз повторяя одно и то же, он сказал Перетятько:

— Ничем не могу помочь, товарищ. Стройке люди не нужны. Мы укомплектованы с избытком. Жилья нет. Палатки и те переполнены.

— Да я и не прошу помогать мне, — вспылил Перетятько. — Вы мне только крышу над головой дайте и работу. Не нужен моторист, газосварщик, пошлите землекопом. Поработаю и с лопатой.

— Товарищ, я ж вам русским языком говорю, — в свою очередь рассердился кадровик, — стройке люди не нужны. Не нуж-ны! Ни одна специальность. Все хотят работать только в Братске. Но почему вы не слезли в Канске, Ачинске, Тайшете? Ведь там везде люди требуются.

Из отдела кадров Перетятько вышел обескураженным. «Неужто тот паникер не соврал?». Маруси на прежнем месте не оказалось. Евгений затоптался на улице, соображая, куда могла деться жена.

— Как с работой, Женя? — окликнул внезапно Перетятько голос жены.

— Ты куда ж это запропала? — обрадовался Евгений.

— Да представляешь: сижу на чемодане, мимо женщина идет. Раз прошла, второй... «Вы кого ожидаете?». Я сказала. «А почему на улице ждете?». «Больше негде, — говорю, — только с поезда слезли. Еще не знаем, дадут ли хоть какое жилье». «Тогда забирайте свой чемодан, пойдемте со мной. На первое время приютим вас с мужем». Такая славная женщина! Ленинградка. Я у них уже и чемодан оставила. Пошли, на ходу расскажешь, как дела.

Неожиданное внимание совсем незнакомых людей сильно ободрило Перетятько. Не говорил ли он себе, что среди советских людей нигде не пропадешь! Пожалуйста, — на первое время приют есть. Теперь даже отказ в отделе кадров не казался Евгению катастрофой.

Назавтра Перетятько пошел в партийный комитет стройки. Там приняли участие в молодом коммунисте, обзвонили несколько предприятий. Вскоре же выяснилось, что ремонтно-механическому заводу нужен газоэлектросварщик.

— Демобилизованный? Авиационный механик? Давай его сюда! — обрадованно хрипело в трубке.

Несколько ночей проспали на полу, укрывшись пальто. Багаж еще не пришел. Вслед за Евгением нашла себе работу и Маруся — воспитательницей в детском саду. Теперь по утрам оба отправлялись на работу.

Не прошло и трех месяцев, как молодые супруги перебрались в свой дом. Евгений подкопил денег и купил за две тысячи крохотную «засыпушку» — домик со щитовыми стенами, засыпанными опилками. Маруся смеялась до колик в боку, когда муж торжественно привел ее к новоприобретенному жилью.

— Ой, не могу! Дворец в стиле рококо, эпохи Возрождения. Ты не забыл хоть паркет натереть? А не заблужусь я в этом палаццо?

— Смейся, смейся, — добродушно отбивался Перетятько. — Уже сентябрит. Скоро белые мухи полетят. А тут хоть ветра нет.

Сердечно распрощавшись с ленинградцами, приютившими их, Перетятько перенесли свое нехитрое имущество во «дворец».

Так наладился быт. Пошло дело и на производстве. Перетятько с увлечением резал, гнул, сваривал неподатливый металл для опор высоковольтной линии электропередачи Ир-

кутск—Братск, помогал устанавливать на заводе новые станки. Предприятие получало все новые заказы, надо было расширять производство.

От старожилов стройки Евгений и Маруся узнали историю здешних мест, героическую летопись покорения Ангары.

В 1631 году енисейский казак Максим Перфильев заложил у Падунского порога острог и назвал его Братским. Двести лет спустя неподалеку от него казна основала Николаевский железоделательный завод, по тем временам довольно крупный. Завод ежегодно выплавлял тысячи пудов стали и железа, прокатывал рельсы, выпускал станки, паровые котлы, небольшие пароходы. Еще через сотню лет, в сентябре 1954 года, решено было строить здесь самую мощную в мире ГЭС.

В лютые январские морозы 1955 года Володя Коробков проложил первым на стройке бульдозером ледяную трассу по Ангаре от старого Братска к Падунскому порогу, подлинную «дорогу жизни». По ней шофер Борис Минкин привез первых строителей. Электрик коммунист Борис Михайлов пустил первый движок, и под заиндевелыми пологами палаток вспыхнули лампочки Ильича, робкие провозвестницы могучего электрического полымя, которому суждено озарить всю здешнюю округу.

Романтика! Ее хватало тут в избытке на всех, жаждущих подвига, презирающих опасность.

Евгений вспомнил случай, когда бортмеханик одного из вертолетов, громивших с воздуха ледяной затор на Ангаре, выбрался на шасси и сбросил зацепившийся за колесо пакет взрывчатки с горящим бикфордовым шнуром, угрожавший разнести в клочья машину вместе с экипажем. Перетятько были свидетелями дерзостно смелой проводки барж через вздувшийся от переизбытка сил гремящий Падун; опаснейшей оборки каменных щек Падунского сужения от «живых» камней, нависавших над бечевниками, когда люди работали на тросах над пропастью...

После таких примеров мужества, беззаветной отваги, собственный труд казался Евгению бесцветным, буднично серым.

В свободные от работы часы он ходил к котловану, сердцу новостройки.

Прямоугольный, размером с площадь Маяковского в Москве, котлован доверчиво отдавался под надежную защиту скалистого правого берега. Желтые дамбы из песка и гравия ограждали его от натиска Ангары. Стоя на высоченных деревянных ногах, прожектора смотрели своими стеклянными глазами вниз, где в непрерывном круговороте двигались десятки машин. Гигантские «уральцы» неторопливо черпали челюстями грунт и разевали пасти над тяжелыми «ярославцами». Чтоб ослабить динамическую силу удара горной массы, машинисты экскаваторов старательно прицеливались, опускали ковш до предела и все же «ярославцы» приседали на рессорах, чуть потоньше железнодорожных, под тяжестью обрушившейся горы камня. Ух, и силища же!

Подошло время перевыборов профсоюзных органов, и Евгения Перетятько избрали председателем месткома. Все чаще вместо «Женя» двадцатипятилетний газосварщик слышал уважительное:

— Евгений Захарыч, как там с квартирой для меня? Я у вас в списке шестнадцатым.

Перетятько уже не чувствовали себя новичками. Они стали полноправными членами коллектива гидростроевцев. Лишний раз это подтвердилось наградой Евгения значком «Иркутск—Братск ЛЭП» после завершения строительства высоковольтной линии.

И все же Евгений мечтал о переходе в котлован! Думая о нем, он мысленно сравнивал его с Тунгусским метеоритом. С чем еще можно было сопоставить силу воздействия новостройки на сотни квадратных километров братской тайги? Только там — слепая разрушающая космическая сила, а здесь — разумная, созидающая. Расходясь, как от эпицентра, от котлована ГЭС, радиусом во много километров, в первобытной чащобе возникли рабочие поселки, заводы строительных материалов, карьеры, автобазы. Во всех направлениях пролегли триста километров гравийных шоссе, железнодорожных веток. В распадках обосновались леспромхозы. Летом сходство с зоной падения метеорита усиливалось зрелищем хаотического сплетения поваленных сосен, дымными пожарищами от сжигаемых порубочных остатков. А в центре небывалой стройки — котлован ГЭС...

Мудрено ли, что едва осенью 1958 года раздался клич: «Коммунисты — в котлован!», Евгений Перетятько немедленно подал заявление с просьбой направить его туда.

К этому времени гидростроители рубили двухэтажные дома из соснового бруса, цвета сливочного масла, укладывали рельсы на подъездных путях, монтировали бетономешалки. Одновременно они же открывали детские ясли, травили с самолетов, автомобилей и катеров таежного гнуса, налаживали торговлю автомобилями, хлебом, пианино и яблоками. Поторопился уехать со стройки тайшетский

плотник! Гнус исчезал, а в ларьках появились яблоки.

Но, конечно, наиважнейшим делом оставалась плотина. Вместе с сотнями других рабочих Евгений Перетятько с радостью оставил теплый цех завода, хорошо оплачиваемую знакомую работу и в канун долгой зимы стал в котловане монтажником, чтоб принять участие в укладке бетона в тело русловой плотины.

Как на грех бригадир самовольно бросил монтаж, уехал в Коршуниху. Встал вопрос — кого поставить бригадиром?

— Евгения Перетятько! — сказали монтажники.

Теперь уже не гостем, а хозяином каждое утро Евгений приходил в котлован.

Ниже низовой перемычки вялая вода разочарованно тыкалась в песок дамбы, угодливо выносила дохлых рыбешек, брюшком вверх. Зато у продольной перемычки, в оставленной ей трети русла, Ангара яростно бесновалась. Вода тут уже не текла, а стремительной тугой лавой прорывалась вниз, вскипая белыми бурунами, лихорадочно облизывая тысячетонные ряжи, срубленные из вековых сосен, всхлипывая от злобы, ища хоть крохотную лазейку, оставленную человеком. Четыре тысячи кубометров воды ежесекундно проносились в горловине, созданной людьми в Падунском сужении!

Из толстой трубы, выступавшей из ряжа, в реку падал водяной поток: днем и ночью мощные насосы откачивали воду, тоненькими струйками просачивавшуюся в котлован. Коварные лазутчики Ангары казались совсем невинными, но Евгений хорошо знал, как легко они могут превратиться в ревущие лохматые валы...

Там и сям работали бурильщики. Исходя малярийным ознобом, бурильные молотки сверлили разрушенные слои диабаза, осыпая каменной мукой лица и одежду рабочих. Неподалеку лежали высверленные геологами, похожие на слоновьи туши, серые керны. Среди грифельных скал белела свежая опалубка. Над выступающими из мокрого бетона прутьями арматуры вспыхивал дымок электросварки. «Большой бетон» близился!

В обеденный перерыв Евгений любил постоять в створе будущей плотины. Отыскав известные ему от геодезистов ориентиры на Пурсее и Журавлиной Груди, Перетятько выходил на осевую линию и стоял, наслаждаясь значительностью момента. Ведь это тут через немногие годы поднимется ввысь бетонная громада, о которую разобьются волны Ангары, тут загрохочут поверху железнодорожные поезда, закрутятся турбины, высекая жаркое электрическое пламя из студеной воды!

Первые свои шаги бригадир ознаменовал стычкой с начальником управления основных сооружений. Перетятько отстаивал создание специализированной бригады по монтажу металлической опалубки. Начальник управления не хотел принимать десять готовых комплектов этой опалубки, считая всю затею ошибочной.

Бригадира поддержали начальник участка Яковлев, главный инженер управления Владимиров, и Евгению поручили монтаж металлической опалубки.

Иначе пошло дело!

Раньше опалубщики прославленной комплексной бригады Никиты Хотулева ставили деревянную опалубку в один ярус и за один прием им удавалось принять не больше 240—250 кубометров бетона. Когда же монтажники бригады Перетятько выставили лес металлических колонн, забрали их в три яруса деревянными щитами, получилась емкость на 800 кубометров бетона.

Никита Хотулев влез на борт опалубки, глянул вниз и расцвел в улыбке:

— Вот это посуда! У-у... А удобство! Ни тебе стяжек, ни закоулков. Да с такой посудой мы два плана по бетону дадим. Жми, Женя!

В декабре 1958 года монтажники узнали, что соседняя бригада Бориса Гайнулина решила бороться за звание коммунистической. Только этой искры и недоставало еще.

— Созывай собрание, — потребовали монтажники от бригадира и партгрупорга Владимира Хмелинина.

Постановили: выполнить свою семилетку за четыре с половиной года, снизить на пять процентов себестоимость монтажа, всем получить среднее образование, освоить по второй профессии, взять шефство над детсадом № 2 Правого берега.

Работали хорошо, стали работать еще лучше. Перестали складывать в штабеля детали опалубки, совместили ее монтаж и демонтаж башенным краном, взяли на учет каждый грамм кислорода, электродов, крепежного материала.

К новому году бригада срубила, привезла из леса и поставила у своих маленьких подшефных, в детском саду, разлапистую красавицу елку. Заодно помогли ребятишкам украсить ее. Потом отремонтировали детскую мебель, починили заводные игрушки.

Так текла жизнь бригады. Много было в ней трудных минут. Но особенно врезался в память всем эпизод с опалубкой на двойном

33968
ЧУВАШСКАЯ
РЕСПУБЛИКАНСКАЯ
БИБЛИОТЕКА

спаренном блоке бычка водосливной части плотины.

День начался как всегда. Непривычным было только то, что монтажники выставили сразу два комплекта металлической опалубки: двадцать колонн с их ригелями, прогонами и кронштейнами. К концу смены сварили все соединения, на совесть затянули стяжки, выверили по уровню кронштейны. Геодезист проверил нивелиром точность установки колонн. Монтажники начали собирать инструмент.

— А что, ребята, если подежурить сегодня в ночь? — вопросительно сказал Перетятько. — Как ни говори — на двойных блоках мы еще опалубку не выставляли.

Бригадир отлично видел, что люди устали после целого дня напряженной работы. Не хотелось приказывать. Может быть, кто-нибудь вызовется сам?

Первым решительно вышел вперед голубоглазый украинец монтажник Иван Кучерук, бывший матрос с Балтики.

— Я останусь.

Сейчас же к Кучеруку присоединился сварщик демобилизованный артиллерист Роман Мамалыгин.

— От Ивана не отстану.

Третьим вызвался остаться на ночь Николай Сторублев. Скуластый черемховец, в брезентовой куртке, весело ударил шапкой по колену:

— Куда ни шло! Пропадай мои билеты в кино. Для ассортименту: флот, артиллерия есть, а где же пехота?

Бетон в спаренный блок пошел ночью. Два крана с обеих сторон подавали бадью за бадьей. Тонны зеленоватой зернистой массы лились в опалубку. Монтажники отдыхали в своей будочке, поочередно выходя в обход для проверки крепления колонн и щитов.

В полночь, когда опалубка заполнилась бетоном уже наполовину, в очередной обход отправился Кучерук. И через пять минут прибежал запыхавшийся:

— Ребята, блок распирает!

Мамалыгина и Сторублева как ветром выдуло из будочки. Да, Кучерук не ошибся. В пронзительном свете прожекторов отчетливо виднелась щель в одном из углов опалубки. Стальные стяжки не выдержали страшной тяжести бетонной массы. Авария! Не только сорвется целая смена, но и уложенный бетон затвердеет уродливыми наплывами. Попробуй потом сруби их!

Не сговариваясь, монтажники бегом кинулись к будочке за инструментом, электродами, запасными стяжками.

Всю ночь под мохнатыми звездами шла ожесточенная борьба с взбунтовавшимся бетоном. Слышались только отрывистые фразы:

— Николай, прибавь току!

— Брось мне электрод.

— Ломиком ее, затягивай ломиком!

Трудно пришлось в эту ночь рабочим, а все же предотвратили беду! Усилили крепление колонн, успели приварить дополнительные стяжки. К пяти часам утра коммунистическая бригада в лице тройки монтажников выиграла бой.

Наступил март. Из-под колес дизельных грузовиков хлестала пенная вода. Пренебрегая деревянной лежневкой, отчаянные шоферы на предельных скоростях гнали свои машины по почерневшему льду Ангары (так быстрее!). Автобусы боязливо останавливались на берегу — ехать с людьми опасно. Там и сям на льду Ангары образовались озерца. Истончились, стали хрупкими грани торосов. На густо-синем безоблачном небе по-южному пылало солнце. Уже и тут, в Братске, оно торжествовало победу над зимой.

Проходя на работу, Евгений с тревогой поглядывал в сторону Падуна. До поры до времени старик затаился подо льдом. Вмерзшие торчком в торосы вековечные сосны казались спичками в его зубах. Перетятько чудилось, что Падун злорадно ухмыляется, наблюдая за муравьиной суетой людей. Скоро-скоро он взломает лед и тогда покажет, на что еще способен старик!

Но люди знали силу Падуна. И поэтому ни днем ни ночью не смолкал грохот новостройки. В три смены, ночью при слепящем свете прожекторов, шла подготовка к решающему штурму — перекрытию левобережной части русла Ангары.

В котловане сплошным хороводом, как заведенные, кружились «мазы» и «ярославцы». На тонких ногах высоко встала малая бетоновозная эстакада. Еще выше полоскался на ветру красный флаг, укрепленный на стреле портального крана. И уж совсем в немыслимой подоблачной выси выдвинулись с Правого берега звенья большой бетоновозной эстакады. Уму непостижимо, что делал здесь человек!

Подстегиваемые общим быстрым ритмом, монтажники бригады Перетятько работали как одержимые. Скорее, скорее, в обгон Ангары!

С высоты конструкций Евгений видел все. Вон тяжело ворочается четырехкубовый «уралец» красавца осетина Бориса Цораева. С Терека — на Ангару! Земляк, тоже с Кавказа. Вон подошел «маз» Павла Федорова. Кузов

до краев полон жидким бетоном. Сейчас Юра Трясоголов подхватит бадью с бетоном крюком своего портально-стрелового крана и опрокинет ее в блок. А уж там бетонщики Никиты Хотулева не подкачают. Вон-вон как орудуют. Бетон оплывает на глазах, как тесто. Не подумаешь, что вибратор весит два пуда — играючи работают!

Возвращаясь домой, Евгений Перетятько по-хозяйски осматривал сложенные на площадке у Левого берега диабазовые глыбы. Говорят, только такие тысячепудовые махины удержатся в проране, когда начнут перекрывать левобережную часть русла. Все может быть. Вон как она ярится под льдом, Ангара, ходить страшно. Интересно рассказывали инженеры на лекции: перекрытие поведут с металлического моста, сначала взорвут лед ниже и выше, чтоб пропустить его под мостом; на перевозку глыб поставят двадцатипятитонные «мазы»... То-то, наверное, корреспондентов понаедет!

Идут месяцы. Все монтажники в бригаде Перетятько подтянулись до шестого разряда. Освоен монтаж башенных кранов. С честью выполнена своя доля работы на перекрытии Ангары. Как ни бесилась сибирская красавица, как ни свивалась клубом в проране, а покорилась-таки воле гидростроителей.

Впереди новые славные дела: перекрытие донных отверстий, наращивание опалубки бетонной плотины вплоть до головокружительной наивысшей отметки.

Вместе со всей бригадой отмечает большие перемены в своей жизни и Евгений Перетятько. Давно ли стоял он перед дверью отдела кадров, ютился в маленькой засыпнушке? Сегодня вместе с женой Евгений живет в отдельной, благоустроенной, полностью меблированной квартире. Он — член президиума объединенного постройкома, кандидат в члены горкома партии. Молодой рабочий побывал в Москве, на третьем съезде профсоюза работников электростанций, съездил в Корею, Китай...

Обыкновенная история? Да, в Братске сотни рабочих имеют подобную же биографию. Но именно эта обыденность крутого подъема, на который взошел молодой монтажник из Нальчика, лучшее свидетельство огромных возможностей, открытых в нашей стране перед всеми честными тружениками.

Леонид Огневский

СЛОВО О ТРУЖЕНИКАХ ДЕРЕВНИ

Уж так бывает с хлеборобом в страду: едва проснулся, еще не открыл глаз, а чуткое ухо насторожилось и ловит каждый звук, доносящийся с улицы. Наперебой чирикают хлопотливые воробьишки, перелетая с места на место, — быть хорошему дню! Монотонно шуршат о тесовую крышу мелкие капли дождя... Нет досадливей чувства, рождаемого этим шуршанием!

Небогатой солнечными теплыми днями была минувшая прибайкальская осень. Дожди хлестали с начала уборки, то затяжные, на много дней и ночей, то короткие, с грозами. Два-три ведренных дня, и небо снова затянуто низкими грузными тучами.

И вот в таких невероятно трудных условиях — уборка.

Больше месяца мне довелось быть в деревне, и я отчетливо представляю, какие испытания держали труженики полей, особенно северных районов области. Побеждали упорство и выдержка, прежде всего упорство и выдержка колхозных и совхозных механизаторов.

И сейчас, когда на дворе зима, дуют холодные ветры и беснуются вьюги, как-то особенно ярко вырисовываются в памяти и зелень кукурузы, и бронза пшеницы. И как живые, перед глазами — лица людей, тех самых, трудолюбивых и упорных, которые убирали богатый, замечательный урожай первого года семилетки.

Не могу не вспомнить того, что я видел, чему радовался в баяндаевском колхозе имени Сталина. Был на редкость яркий солнечный день. Среди желтеющих перелесков клонилась к югу пшеница, легонько позванивала на слабом ветру. По массиву, разбитому на загонки, ходило с полдесятка комбайнов, одни подбирали валки, другие жали и молотили хлеб напрямую.

Особенно бодро и энергично двигался по своей загонке огненно-красный самоходный комбайн. Вот он обогнул прямой угол поля, взял направление на дальние кустики и в низинке застрял. Хлеб успел обсохнуть на солнце, а земля была вязкая, в низинке колеса глубоко закопались в грязь.

Широкоплечий, плотного сложения комбайнер — это был Николай Петров — попытался вырваться из ловушки задним ходом — не получается, снова вперед, на газу — не берет. Он долго бился. Сколько мог! И сказал спокойно штурвальному:

— Беги быстренько, Миша, гони трактор от бати.

«Что еще у них тут за «батя»? — подумал я. Мне почему-то пришло на ум, что «батя» — старший группы и потому особенно уважаемый. А им оказался родной отец Николая, тоже механизатор, водивший по соседству прицепной комбайн «Сталинец-6». Вскоре пригнанный от него трактор проворно развернулся и выволок комбайн на сухое.

— Поедем на другую загонку, там без низин, здесь сожнет батя, — опять сказал комбайнер, — или Виктор, у него тоже прицепная машина, сильней...

И Виктор был из семьи Петровых, младший брат Николая. Комбайнеры отец и два сына в одной колхозной бригаде, на одном поле, в одной группе машин!

Вообще-то ничего исключительного в этом нет, и в других местах можно встретить, что работают на машинах отцы, братья и сыновья, а групповая работа комбайнов — общепризнанный метод уборки. Я заговорил о семье Петровых потому, что уж очень трудолюбивая,

хорошая эта семья. И не одна она такая в колхозе имени Сталина. Здесь не только свои, постоянные, но фамильные кадры механизаторов, когда дети получают мастерство вождения машин от отцов по наследству. И примечательно: что ни комбайнер, то одновременно тракторист, а то еще и механик; нет такой машины в деревне, на которой бы не смогли работать Петров-отец и его сыновья.

Влечение к машинам, к труду сельских механизаторов Николай и Виктор Петровы почувствовали давно, в детстве. Кто знает, с чего именно началось, но мальчику Коле, еще семилетнему, на всю жизнь врезалось в память: война! Тракторист-отец отправлялся на фронт. Он уезжал из деревни на тракторе. Рядом сидели: он, Коля и Виктор, совсем еще кроха. Отец уезжал воевать.

А когда вернулся домой — и снова за руль трактора, а потом — за штурвал комбайна, рядом сидели дети, но не просто сидели, а учились отцовскому мастерству, пока не стали механизаторами!

С Петровым-отцом, пожилым человеком с русой бородой я встретился в обеденный перерыв. Обедал он прямо на поле, у комбайна.

— Страда, — только и сказал с придыханием комбайнер, а означало это куда шире и больше: уборочная страда, когда день год кормит, когда подбивается итог полугодовых трудов в поле.

Колхоз имени Сталина первым в районе и с большим превышением выполнил план продажи зерна государству. Раньше многих других закончил он и жнитво. В этом основная заслуга механизаторов, и в их числе семья Петровых.

С чувством восхищения трудом сельских механизаторов ехал я к северо-западу от Усть-Орды, в Байтогский совхоз. Еще стояли нетронутыми бескрайние массивы пшеницы, до конца уборки было еще далеко, а там, в Байтоге, объявился комбайнер, убравший пятьсот гектаров хлебов. Вернее, в тот самый день он, комбайнер Александр Данханович Даглаев, переваливал через эти полтысячи.

«Кто он такой? — размышлял я дорогой.— Наверно, механизатор со стажем. Каким секретом владеет он?» Во всяком случае было непонятно: у одних комбайнеров полторы-две сотни гектаров на личном счету, у Даглаева половина тысячи, а ведь техника у людей одинакова, с одних и тех же советских заводов, и уж одна и та же для всех комбайнеров погода!

И вот обыкновенное поле, немного покатое к сухому ручью, обыкновенный комбайн, не старый, но и не новый уже, и обыкновенный человек в пропыленной тужурке, с открытым добродушным лицом. А вот трудовая биография комбайнера не совсем обыкновенная. В уборочную страду он комбайнер, в остальное время года кооператор. Да, да, торговый работник, заведующий торговым отделом рабкоопа в совхозе.

Уж так повелось, что каждый год в августе Александр Данханович закрывает свой стол в рабкоопе, препоручает служебные обязанности другим, сам становится к штурвалу комбайна и убирает рожь, пшеницу, овес, пока они есть на полях.

После жатвы, он ставит под крышу комбайн и сам его ремонтирует, тщательно подгоняя каждый болтик, каждую гайку. До нового сезона хлебоуборки чуть ли не год, а машина готова, наступила страда — садись и веди.

— Но все же, — не мог не спросить я комбайнера, — все же, как удалось вам столько убрать? На корню половина хлебов, а вы уже дали полтысячи?

— Не стою без дела, в том и есть весь секрет. Из-за комбайна нынче не стояли и часу. Ну, и знаем со Степой, — он кивнул в сторону штурвального Ильясевича, — надо жать, жать и жать, чтобы не перестояли хлеба, не раскрошилось зерно, чтобы было с чем подойти к декабрьскому Пленуму.

Предстоящий Пленум ЦК... О нем говорили, ждали его. Ждал и коммунист-комбайнер Даглаев. Чего именно ждал, он ответил не сразу, подумав, разровняв в бункере намолоченное зерно.

— Многого,—сказал он.—Уверен, что прибавится по колхозам и совхозам разных машин, удобных в управлении, надежных. Вон пришли нынешним летом навесные жатки, тяжелые, неуклюжие, с быстро изнашивающимися полотнами, без единой запасной гайки, — какой из них толк? Пришли и стоят. Не такой технике будет рада деревня.

Уверен, что Пленум поможет и в деле подготовки новых механизаторских кадров, их кое-где не хватает, в том числе и у нас. Отдельные комбайнеры перешли на животноводческие фермы, работают скотниками.

— Почему, вы спросите? Скажу. Скотник зарабатывает в месяц 700—800 рублей, комбайнер — в сезон уборки по полторы тысячи, в остальные месяцы рублей по 300—400. Значит, надо что-то менять в организации труда, в оплате труда сельских механизаторов.

Говорил это Александр Данханович без досады, спокойно, чувствовалось, что человек твердо верит в те перемены, которые неизбежно произойдут, потому что их подсказывает сама жизнь.

...Жизнь, работа, трудовая практика механизаторов настойчиво требует: надо лучше, полней использовать мощность машин, особенно тракторов. Ведь дизельный трактор вполне может вести два лафета, только сумей их сцепить... Этим занялись в колхозе имени Свердлова, Эхирит-Булагатского района.

Как сейчас вижу: бескрайнее ячменное поле, только что разрезанное на загонки, и три машины гуськом. За рулем трактора подвижный молодой человек в коротенькой кожаной куртке, Алексей Мальцев, на одном из лафетов опытный комбайнер Петр Емельянович Травников, на другом — Володя Захаров, курсант.

Тракторист сперва едет тихо и осторожно. Кто знает, как поведут себя спаренные лафеты на ячмене. Рожь, даже густую рожь, жали неплохо, особенно, когда убрали скатные доски, а ячмень, пшеницу, овес?.. Ведь никто же в колхозе и целом районе не проделывал ранее этого опыта.

Алексей то и дело оглядывался назад: вдруг какая поломка? Вдруг оплошает Володя Захаров, угодит под лафет? И только выпрямился на сидении, переключил скорость, раздался условный сигнал. Остановился и выглянул из кабины.

— Что там?

— То же самое, что всегда, — не сразу ответил с задней машины Петр Емельянович. Он уже очищал валик под полотном от накрутившихся на него ячменных стеблей.

— Ну, это нестрашно. — Мальцев облегченно вздохнул.

Снова сигнал, когда подъезжали к краю массива. На этот раз лафетчики предупреждали, что впереди край. В голубых глазах тракториста вспыхнули смешливые искорки. А он-то не видит! Да он уже столько думал об этих чертовых поворотах! С одной жаткой описать прямой угол и то сложно, а вот с двумя... Тут надо иметь под руками машину, которая бы обжинала края, как это было на ржище, или валить хлеб только с двух сторон поля, разрезая его на узкие длинные полосы. Длинные гоны нужны!

После обеда ячмень обдуло и подсушило, и спаренные лафеты пошли быстрей, без задержки. И Алексей на длинных гонах под шуршание соломы, стрекотание мотора и дуновение ветерка размечтался. Вот он, крестьянский сын, управляет трактором, водит на прицепе две жатки. А что за машины будут годиков через пять? На каких, к слову, будет ездить взрослым человеком Володя Захаров? Дух захватывает, только начни размышлять!

— Ничего, порядочно сделали, — сказал Травников, когда возвращались домой, — скосили тридцать гектаров. И ведь, считай, за полдня!

— А разойдемся по-настоящему, выйдем на огромные массивы пшеницы?! — воскликнул Алексей. — Сорок-пятьдесят гектаров за световой день будет наша средняя норма. И главное — за два трактора управляется один! Да мы, хозяева полей и машин, еще не такое придумаем!

Вместе с хозяевами полей всю осень трудились шефы, посланцы рабочих поселков и городов. Свой достойный вклад внесли во всенародное дело уборки богатого урожая студенты. Никогда не забудут, например, колхозники сельхозартели имени Кирова, Баяндаевского района, той неоценимой услуги, которую им оказал студент третьего курса Иркутского сельскохозяйственного института Иосиф Штри.

Будущий инженер-механизатор попытался узнать, разобраться, а какой техникой располагает колхоз, вступая в трудную пору уборки, в каком она состоянии, хорошо ли подготовлена, не надо ли сделать что-то еще.

Оказалось, что тракторы у колхозников есть, довольно крепкие, мощные, комбайнов, тех маловато. И в то же время один прицепной стоит за деревней, его даже не начинали чинить.

Вечером Иосиф был у председателя колхоза.

— Это почему же брошен за деревней комбайн? Или у него хозяина нет, никому он не нужен?

— Хозяин есть — РТС. Только списанный это комбайн, как его называют, утильный. Списать списали, а в утиль никак не сдадут.

На другой день Иосиф лазил по утильному комбайну, заглядывал в его внутренности, прикидывал, нельзя ли машину как-то восстановить. Была она раздета, разута, обобрана до последней нитки, но... Нет таких трудностей, которые нельзя при желании, при страстном желании, преодолеть! Сердце машины — мотор — еще крепкое, значит, может ожить и весь организм.

Так начались для практиканта-студента хлопотные беспокойные дни. Вместе с колхозным механизатором Владимиром Тарасхановым он корпел на комбайне от темна до темна. Восемь раз они съездили в РТС, чтобы раздобыть недостающие части. Многого не

было и там, пришлось часами бродить по двору, рыться в грудах ржавеющего металла, искать болты, звездочки, шестерни.

Все нашли, все поставили на свое место, не смогли заменить радиатор.

— Ладно, — сказал Иосиф, — на нет, говорят, и суда нет, будем ездить при старом радиаторе, заливать воду почаще, — пойдет.

Я попал на поля колхоза имени Кирова, когда «утильный» комбайн работал вместе с другими. Вел его по овсяному полю сам Иосиф Штри. В соломенной шляпе с продавленным верхом, припорошенный мякиной, он стоял за штурвалом и напряженно следил за подборщиком, гнавшим по полотну хедера шуршащий валок.

На повороте агрегат плавно остановился. Комбайнер сошел с мостика, чтобы проверить ремни, штурвальный, подхватив ведерко, кинулся к бочке с водой.

— Радиатор протекает? — спросил я.

— Течет, — сказал комбайнер. — Надо бы опять пропаять, не хочется отрываться от дела, пока хорошая погода стоит. Уж, думаем, пусть потечет, будем заливать воду на каждом кругу, но не остановим машину, заненастьит — объявим снова ремонт.

Через пять минут, громыхая решетами и цепями, комбайн уходил в глубь поля по другую сторону загонки. Вот уже и хедера не видно, и соломокопнитель скрылся за бугром, видна только широкополая шляпа с продавленным верхом молодого рослого парня, стоящего за штурвалом, студента-практиканта, будущего инженера-механизатора полей.

Недели через две в Баяндае мне встретился секретарь партийной организации колхоза имени Кирова Петр Бутгеевич Ботороев. Я поинтересовался, как там у них «утильный» комбайн.

— Работает! — был ответ. — Самого Иосифа Штри, правда, уж нет, возвратился на учение в Иркутск. Пусть учится дальше! Хороший парень, деловой! Ведь, можно сказать, подарил колхозу комбайн. Да еще убрал 92 гектара овса и пшеницы, намолотил 1067 центнеров зерна.

Я рассказал и то коротко лишь об отдельных героях осенней трудной хлебоуборки. Их не столько, их и в двух районах, Эхирит-Булагатском и Баяндаевском, великое множество. Это их беззаветным трудом был выращен и собран богатый урожай. Труженики колхозов и совхозов Иркутской области продали и сдали государству 30 с лишним миллионов пудов зерна и были удостоены похвалы Центрального Комитета партии и Советского правительства.

ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ ДРУГ

Было лето. Чудесное лето пятьдесят пятого года. Для Саньки Лалетина оно было дважды, трижды чудесным: ему исполнилось восемнадцать, он стал совершеннолетним, он получил аттестат зрелости, окончив среднюю школу, наконец, он поступал учиться в авиатехническое училище, ему уже прислали из училища вызов.

Отъезд из города, в котором прошло все детство, из молодого сибирского города, вместе с которым поднимался на ноги, рос, было решено отметить вечером — проводами. Думали провести вечер, повеселиться, а вышла попойка: четверо сверстников и друзей так охмелели, что стало тесно дома, с песнями пошли бродить по ночному Ангарску. Где-то кого-то грубо толкнули, кому-то наговорили грубостей, пригрозили побить, в каком-то переулке напали на паренька с девушкой и отняли у них часы.

А утром всей компанией были в отделении милиции. А через несколько дней народный судья зачитывал приговор: за хулиганские выходки, за грабеж — по пять лет заключения.

Восемнадцать лет от роду, десять классов образования, трудовое происхождение и — грабитель... Не странно ли? Если учесть, как воспитывался Лалетин в семье, как прошло его детство. Народная мудрость гласит: воспитывай дите, пока оно лежит поперек лавки, когда оно растянется вдоль лавки, воспитывать уже поздно. Может быть, и не поздно, но уже тяжело! Ведь сделал же подобное заключение и выдающийся педагог и писатель Антон Семенович Макаренко: 95 процентов всех моральных качеств человек получает в возрасте до пяти лет, далее уже следует довоспитание и перевоспитание.

А какое воспитание с рождения мог получать Санька Лалетин, если детство его совпало с невероятно трудными годами Отечественной войны, если отца не было, он умер, получив увечье на производстве, когда мальчику не было и трех лет, если мать день и ночь была занята на работе, чтобы прокормить как-то семью? Можно сказать, с тех пор, как Санька научился ходить, он был предоставлен себе; его воспитательницей была улица. Здесь он рано познал грубость и скверно-

словье, здесь научился курить, отсюда принес еще подростком пристрастие к вину. Хулиганская выходка и участие в грабеже были не случайностью, а логическим следствием уличного воспитания паренька, ставшего юношей.

Представители советского правосудия поняли это, учли. Они изолировали преступника от общества, но дали ему возможность исправиться, искупить вину трудом. И не через пять лет, а через два года четыре месяца Александр Лалетин вновь был на свободе.

Он вышел из ворот колонии и остановился. Как-то не верилось, что можно идти не строем, без конвоира, идти одному. Можно шагать вместе со всеми по тротуару, заглянуть из любопытства в любой магазин. Можно прислониться к сосне, что высится рядом с белокаменным домом, и любоваться золотом солнца и голубизной неба, стоять, любоваться природой и городом десять минут, час, весь день. Свобода!

Лалетину хотелось выкрикнуть это теплое, звонкое слово. В двадцать лет свобода особенно дорога, а ему было двадцать. И он уже испытал заключение... Александр опустил голову и долго не мог поднять ее. Стыдно было посмотреть незнакомым людям в глаза? Да, стыдно. Но еще сильней было чувство обиды, на кого, он и сам не мог разобраться, обиды, что так нескладно, нелепо началась его жизнь.

С чувством радости, — наконец-то свободен, и с другим чувством — затаенной обиды и озлобления он и появился вскоре под крышей матери и сестры.

В Ангарске Лалетина не прописали, и это было для него новым страшным ударом. «За что? — думал он. — Это-то наказание за что?» Нехотя он поехал в один из леспромхозов, попытался работать там — не понравилось: тяжело, скучно, ни товарищей, ни друзей. Поступил на стройку в Иркутске — и на стройке долго не задержался. Все казалось, что люди презирают его, что вокруг него одни недруги. С путаницей мрачных мыслей в голове, с червячком обиды и озлобления в сердце Лалетин пришел на завод имени Куйбышева, поступил обрубщиком в цех сталеплавления.

Здесь работа заинтересовала. Работал неплохо. Получал девятьсот рублей в месяц, — денег хватало. Но коллектива чуждался, никаких собраний не посещал. С получки, как правило, покупал водку и пил. Пил не только с получки. Водка и водка! Все остальное было неинтересно. И зеленый змий, неверие в людей, озлобление довели до новой беды: вместе со своим собутыльником Олегом Гарвишем Лалетин устроил дебош в Театре юного зрителя вновь очутился на скамье подсудимых.

Процессостоялся непосредственно в цехе. Послушать узнать, как решится дело, касающееся судьы члена своего коллектива, собрались сотни юдей, рабочие и работницы, инженеры и ехники. Когда громкий голос оповестил:

— Суд цет!

Люди торсливо поднялись со своих мест. Встал со стла и подсудимый Лалетин. Хотел гордо поднгь голову, мол, ничто его здесь не устрашит, в только смущенно потупился. Его смутили эт сотни глядевших на него глаз. Что они выажали? Лалетин видел в них только ненавись, осуждение. И суд затеян на заводе, чтобь все видели, знали и могли презирать. Что ж на милость коллектива он не рассчитывал.

И вдру ему вспомнилась та история в ТЮЗе, из-за которой вновь придется идти в лагеря... Ог тогда получил деньги за первую половину месяца и пригласил Гарвиша выпить. Сперва купили пол-литра и распили водку в заодской столовой, пряча в коленях бутылку. Птом опорожнили с помощью каких-то парней литр, уже где-то на рынке, в закусочной. Поздно вечером, сунув по бутылке с пивом в карманы, пробрались в ТЮЗ, на вечер студентов горного института. Там, в театральном буфете, попойка была продолжена.

И опять, как когда-то: одного, появившегося около столика, грубо толкнули, другому показали кулак, а женщине, сделавшей замечание, мол, нехорошо себя ведете друзья, ответили сквернословьем, а на директора ТЮЗа, предложившего освободить помещение, Лалетин бросился с поднятым стулом:

— Убью!

Вскоре появилась милиция. Задержали. Составили протокол...

Все это предстало перед глазами Лалетина, как на экране кино, в быстро сменяющихся кадрах, пронеслось за какую-то долю минуты, пока судьи шли через зал и устраивались за широким столом, накрытым красной материей. А сейчас начнутся расспросы, как, почему, зачем. Уж зачитывали бы без промедления приговор и вели, сажали в тюрьму, ведь конец все равно будет таким!

Из-под черных нависших бровей Лалетин глядел на судью Квитинского, искал сердитое, злое в его светлом открытом лице и... не находил. Сбоку сидел общественный обвинитель председатель цехового комитета Малышев. И его лицо было спокойное, доброе. И секретарь партийной организации Влади-

мир Иванович Ипатов, сидевший в зале, в окружении формовщиков, выглядел добрым, больше того, озабоченным. И все эти примолкшие люди... Неужели могут не только обвинить, но и протянуть дружески руку?..

Не знал в то время Лалетин, сколько хлопот и волнений было из-за него у членов цехового профсоюзного комитета, у комсомольцев цеха, у секретаря парторганизации. Владимир Иванович после того, как узнал о хулиганстве Лалетина, дважды побывал в прокуратуре и суде. Хотелось знать все подробности начатого следствием дела, попытаться не обелить преступника, но как-то помочь в его молодой жизни, нескладной судьбе. За тридцать лет работы на куйбышевском заводе Ипатов перевидел немало всяких людей. Здесь были рабочие-юноши, которые потом стали специалистами, героями Отечественной войны. Были и трудные парни, вроде Лалетина, им помог стать на правильный жизненный путь коллектив. Сталеплавильщики могли бы воздействовать и на этого, молодого еще, неглупого, исправимого.

Судья Квитинский внимательно выслушал представителя заводской общественности и сказал:

— Прекратить дело, сами понимаете, я не могу. Если коллектив завода возьмет Лалетина на поруки... это можно испробовать.

— Вот к этому я и клоню разговор! — искренне обрадовался Ипатов. — Попытаемся взять. Во всяком случае, обсудим этот вопрос у себя в коллективе.

Через несколько дней собрался цеховой комитет. Заступаться или нет за Лалетина? Мнения сразу же разошлись. Двухсторонний диалог получался примерно такой:

— Где гарантия, что Лалетин не плюнет в лицо коллективу?

— Почему обязательно плюнет?

— Напьется снова с дружками и выкинет номерок. Ему же не привыкать. Он уже однажды судился, а человеком настоящим не стал.

— Это если через плохое на человека взглянуть. А у него есть и хорошее. Производственник он неплохой. Еще не было случая, чтобы он не выполнил задания. В прошлом месяце у него вышло 120 процентов к заданию, в текущем месяце — 287.

— Работа, она еще ничего о человеке не говорит.

— Нет, показывает лицо человека. Кроме того, за все время работы на заводе у Лалетина было одно преступление, никаких замечаний, даже замечаний по дисциплине он раньше не получал.

— Зато раньше, до нас, он был в заключении за грабеж. Так что горбатого могила исправит!

— Никогда не ставь крест на человека, пока он жив!

Подавляющим большинством голосов было решено заступиться за Лалетина, взять его на поруки, дать ему возможность исправиться...

А суд тянулся уже три с лишним часа. И чем внимательней вслушивался Лалетин в простые и ясные слова судьи и свидетелей, защитника и прокурора, тем больше убеждался: они не умаляют, но и не преувеличивают его вины, они ищут правильную меру наказания. Никакого зла, какого-то личного зла в отношении его у них нет, нет этого зла даже у свидетелей — директора, женщины-администратора и артистов ТЮЗа, которых он в тот день оскорбил, они говорят так, как было.

Особенно справедливым ему показался судья. Он тактичен и выдержан, он говорит ровным голосом, взвешивая каждое слово. Да и поступки его, Лалетина, он, кажется, определяет на вес. Оказывается, у него, судьи, тоже есть старая мать, тоже пенсионерка. Во время войны она работала здесь, в этом цехе куйбышевского завода. Ее сын не пошел по пути преступлений, сам вершит справедливый суд, а вот он, Санька Лалетин... Сделалось муторно на душе. Стало жалко родную мать, жительницу Ангарска, столько потерявшую сил и здоровья из-за него, непутевого сына.

То, что говорил общественный обвинитель, Лалетина удивило и, конечно, обрадовало: может поручиться весь коллектив! А он-то считал, что все от него отвернулись! Александр Дмитриевич Малышев только произнес это слово: «На поруки», как в зале дружно захлопали. Теплота улыбок и свет, свет множества глаз... Какие же это враги человеку, это друзья, только сам будь человеком достойным!

Последнее слово подсудимого было тихим, прочувствованным:

— Прошу не лишать меня свободы, а я постараюсь оправдать ваше доверие.

И суд поверил ему. Суд удовлетворил просьбу коллектива сталеплавильного цеха. Лалетин был приговорен лишь к одному году исправительно-трудовых работ с вычетом десяти процентов из заработка. Его взял на поруки цех. Контроль за его дальнейшим поведением был возложен на цеховой комитет.

Взять преступника на поруки... Теперь это стало обычным явлением в жизни. Но что это означает? Жалостливость? Всепрощение вины? Не то и не другое, конечно. Товарище-

ское участие людей в судьбе отдельного человека, наш советский, социалистический гуманизм. У нас нет социальных причин для преступности, остались пережитки проклятого прошлого; мы обязаны быть суровы к преступнику, но не можем быть мстительны и жестоки. Коллектив подает руку помощи тем, кто свихнулся... Это в высшей степени благородно, если, конечно, делает шаг навстречу коллективу сам провинившийся.

Теперь вернемся к Александру Лалетину. Со дня последнего суда над ним прошло ровно полгода. Как же взятый на поруки молодой человек работает и живет?

Живет в рабочем общежитии (раньше он жил у родственников). Работает хорошо. В сентябре месячное задание им было выполнено на 137 процентов, в октябре — на 166. Раньше всегда ходил хмурый и нелюдимый, теперь выглядит веселей, посещает собрания, хлопочет о поступлении на курсы по подготовке в горнометаллургический институт.

Хулиганские выходки, воровство? Нет, об этом и упоминать не хотелось бы, этого за Лалетиным теперь нет.

Есть, осталось другое, что дважды привело его на скамью подсудимых, — пристрастие к вину. Месяц не пил, два месяца стойко крепился, на третий не выдержал и сделал прогул. Это было в конце лета. Покачивающегося, с красными хмельными глазами, Лалетина остановили в контрольно-пропускной будке завода.

— Пьяным нельзя.

— Да какой же я пьяный, я и выпил-то...

— Выпившим вход на завод воспрещен!

Что делать? Проштрафился. Снова проштрафился, обманул коллектив! Лалетин вышел из пропускной будки и опрометью кинулся вдоль заводской стены. Обязательно попасть в цех, стать на свое рабочее место! И он, обдирая до крови пальцы, вскарабкался на заводскую стену.

Проскочил в цех и скорее ухватился за пневматический молоток. Но руки не слушались, они были, будто чужие, они не могли держать молотка.

Это заметил старший мастер Филипп Иванович Ляпин, требовательный и не прощавший оплошностей человек. Он отстранил Лалетина от работы. В табеле перед фамилией обрубщика появилась запись «прогул».

Вскоре подобная история с Лалетиным повторилась.

В цехе сталеплавления насторожились. «Сегодня выпивка и прогул, завтра пьянка и хулиганство? Нашли, кому доверять!» «Попробуем еще говорить по-хорошему, с окончательными выводами никогда не поздно».

И с Лалетиным вновь разговаривали. Начальник цеха Мармонтов. Секретарь партийной организации. Новый председатель цехкома. Рабочие. Что он им отвечал? Ломает себя, но не может сразу переломить.

Чем кончится эта ломка? Сумеет ли Александр Лалетин выйти с помощью коллектива победителем? Думается, что сумеет. Должен суметь. Обязан! Потому что другого выхода у юноши нет.

Мы встретились с ним в коридоре заводоуправления, когда Лалетин возвращался со смены. Невысокий, но крепко сложенный, черноглазый, бровастый.

— А я хотел написать о вас в радио, — сказал я, когда мы познакомились, — написать, что был Лалетин таким, а стал вот таким. Исправления-то настоящего, оказывается, нет.

— Нет, — вздохнув, признался он. — Все водка.

— Кто же вас заставляет пить? Может, старая мать, вечная труженица?

— Мать только и твердит, как приеду в гости: «Санька, не пей». Столько она намучилась со мной...

— Коллектив цеха потворствует пьянкам?

— Что вы! И коллектив немало повозился со мной, больше, пожалуй, не захочет.

Да, может сказать: «Хватит! Предел!» Ведь тот, кто взял человека на поруки, может и сложить с себя эти высокие обязанности. Не так ли?

— Конечно.

— Что же о вас написать? Ничего?

— Нет, напишите. Напишите, как есть. Пусть горькая, зато чистая правда. И еще упомяните... исправлюсь. Ведь исправляется же Олег Гарвиш, хулиганивший вместе со мной. Женился на хорошей девушке, оба работают, живут дружно, как все хорошие люди.

— И вы думаете с женитьбы начать? — спросил я, сдерживая улыбку.

— Пока нет. Я должен поступить в горнометаллургический институт.

Вот и вся наша беседа. Лалетин уходил по длинному коридору заводоуправления, подняв воротник полупальто. Рабочий парень, молодой, невысокий, но крепкий. Я мог представить его завтрашним мастером, техником, инженером, но только не правонарушителем. Он же на поруках своего коллектива, доброго и строгого, отзывчивого и терпеливого. Он гражданин страны, где человек человеку друг.

Лариса Тихонова

СЛЕД НА ЗЕМЛЕ

Человек, влюбленный в свой труд, человек, для которого труд это творчество, увлечение, цель жизни, всегда оставляет свой след на земле. Иногда он неглубок и его умеют различать лишь родные да друзья; иногда же по нему идут с благодарностью еще десятки, сотни, тысячи людей и одинокая его цепочка превращается в торную тропку или даже в широкую дорогу, уходящую далеко, далеко вперед, в ту удивительную, манящую даль, что зовется будущим.

По одной из таких дорог мы и решили вновь пройти по первому следу.

...Хорошо укатанная, сверкающая лента шоссе, выходя из Иркутска, вьется над крутым, поросшим редким сосняком склоном. Если посмотришь отсюда вниз, будто с высоты полета распахивается перед глазами широкое раздолье. Темный лес уходит к самому горизонту. Буйно зеленеют травы. Поблескивает на солнце синяя извилина Иркута.

Под самым же склоном, неподалеку от заводских корпусов очерчен небольшой участок земли, разбитый на ровные клетки. Что это? Сад. Еще один молодой коллективный сад под Иркутском. Даже проезжая мимо на машине, можно различить внизу тонкие хлыстики яблонь, трогательно крошечные на фоне всего окружающего. Робко, как детские руки на первом уроке, тянутся вверх нежно-зеленые веточки, покрытые чуть заметным серебристым пушком. Малы еще, неуверены в своих силах саженцы-первогодки.

Но хозяева сада наверняка уже мечтают о том времени, когда зашумят эти яблоньки густой кроною, нарядятся в белую кипень по весне и отяжелеют под бременем золотистых плодов к осени. А знаете, для того, чтоб воочью увидеть все эти заманчивые картины, стоит лишь вскарабкаться вверх по склону, пересечь шоссе и одолеть еще один крутой подъем на вершину Кайской горы. Здесь в одном из старейших коллективных садов, заложенных рабочими-железнодорожниками еще в 1938 году, созрел нынче богатый урожай. Янтарные, румяные, пурпурно-красные ранетки и яблочки-полукультурки уродились так щедро, что почти не видно на деревьях зеленой листвы. Каких только здесь нет сортов: душистый кисло-сладкий «Тунгус», рассыпчатая «Тетушка», крепкий, будто лакированный «Ермак»...

Начинают желтеть мелкие, но сладкие сливы, дозревают гроздья канадской вишни, золотится крыжовник, алеют в кустах ягоды малины.

Как раз в горячие дни сбора урожая, в Центральном парке им. 40-летия Октября открылась городская выставка охраны природы и озеленения. В ней участвуют садоводческие товарищества и садоводы-любители, Восточно-Сибирский филиал Академии наук СССР, сельскохозяйственный институт и университет, горзеленхоз, десятки школ и даже коллективы детских садиков. Щедрыми горками высятся на стендах сибирские плоды, банки с вареньями, благоухают вокруг ярчайшие букеты цветов. И наслаждаясь видом этого осеннего изобилия, очень трудно поверить, что всего полвека назад сама мысль о садоводстве в Восточной Сибири считалась пустой, несбыточной фантазией. Много сил, энергии горячего энтузиазма потребовалось, чтобы победить это прочно укоренившееся мнение и вырастить на суровой сибирской земле первый плодоносящий сад.

Он был заложен вначале в кадках из-под фикусов и роз. Кусты лесной малины, облепихи, черемухи да несколько диких яблонь вконец загромоздили небольшую квартиру маляра Августа Карловича Томсона. А когда по воскресеньям невысокий, чуть сутуловатый жилец, надвинув на лоб мягкую фетровую шляпу снова уходил в сторону леса, хозяйка и соседи провожали его все одним и тем же ироническим словцом: «чудак»...

Он шел, не оборачиваясь, спеша к окруженной березами и соснами опушке, что начиналась под самой Иннокентьевской. Там, в чуткой лесной тишине хорошо, покойно было думать о своем, заветном.

— Что же все-таки получится, если выносливые, неприхотливые дикие яблони и ягодники, перенести из леса в условия сада?...

Конечно, один только хороший уход не сделает горько-терпкие мелкие плоды дикой яблони крупными и вкусными, как в то наивно верил Кузьма Чумаков, его сослуживец, простой железнодорожный рабочий, тоже увлекшийся садом. Нет, Август Карлович недаром всю юность проработал в саду богатого немецкого барона. У него был опыт, он много читал, он уже успел обменяться подробными письмами с любителями-опытниками Западной Сибири.

А здесь, в Иркутске, не было ли таких опытников? Только много лет спустя Август Карлович узнал о садах учителя Еличева. Кстати, у Еличева было посажено несколько гряд дичков сибирской яблони. И на них были и привиты ранетки. С какой же стороны подступиться к дичкам? Ведь как ни ломай голову — путь к сибирской яблоне начинался от этих упрямцев. Нежные среднерусские и южные сорта — сколько ни делалось попыток — неизменно гибли в наших краях. Значит, выход один — воспитать в дикой сибирячке благородные качества. Август Карлович знал, что работа эта требует годы, и его неудержимо тянуло начать опыты скорее, не откладывая. Но лицо его от этих мыслей мрачнело.

— А земля? Где взять землю для своего, уже взлелеянного в мечтах сада? Ее нужно было купить. А это далеко не по карману простому маляру. Лишь спустя годы, скрупулезно экономя во всем, Томсон смог купить небольшой клочок земли вместе со старым амбаром. В амбаре пришлось поселиться. На усадьбе Август Карлович заложил свой первый питомник. Путем долголетнего отбора он решил улучшать качества сибирских дичков.

И снова, теперь уже вплотную, встал перед ним спорный вопрос, какой все-таки выбрать привой.

«Если бы я знал тогда о трудах Ивана Владимировича Мичурина, мои сомнения разрешились бы очень просто», — вспоминал Томсон много лет спустя. Тогда же задачу пришлось решать без помощи учителя.

После долгих испытаний и раздумий Томсон использовал в качестве прививочного материала морозоустойчивый ранет, уже разводимый в Западной Сибири. И хотя большинство растений погибло, три года спустя две яблони, выращенные на дичках, дали наконец сладкие, добрые плоды. Это была первая победа.

Практика выдвигала все новые и новые мысли. Их хотелось проверить, но маленький участок был уже переполнен и растения стали заглушать друг друга. Тогда Август Карлович решил попросить помощи и, главное, земли у губернских властей. Купцы, заседавшие в земской управе, отказали грубо и прямо: земля-де для выгонов нужнее... В том же духе ответил и его высокоблагородие господин правительственный губернский агроном. Красивым каллиграфическим почерком он написал на заявлении Томсона: «Землю можно выделить в тайге, но к чему это? Никаких средств на дурацкие любительские затеи не даем. Маляру надлежит быть маляром и не совать свой нос в науку».

Помощь пришла с неожиданной стороны: в 1914 году землю Томсону выделили крестьяне Подгородно-Жилкинского сельского общества. «Может, и мы сады разведем с его помощью», — говорили простые люди; среди которых было немало переселенцев из России, еще тосковавших по родным хатам, утопавшим в зелени старых яблонь.

Каждый свободный час, а то и ночи напролет работал Томсон на новом участке: вместе с женой корчевал кряжистые пни, вырубал хилый березняк, поднимал целину, рыл лунки и точно младенцев переносил на руках деревца из старого сада.

А потом были засухи, были суровые зимы, и каждая такая беда обнаруживала просчеты в опытах и все приходилось начинать сначала. Ни у кого из власть имущих эта поистине огромная работа не вызывала интереса. Томсон вырастил в своем питомнике несколько сот саженцев и предложил их агрономам губернского управления — берите, хоть бесплатно, сажайте. От яблонь отказались, еще раз терпеливо объяснив упрямцу, что природа сибирская создана богом и человеку все равно не сделать из нее Крыма.

В своей книге «Сорок лет опытной работы в саду» Томсон пишет: «Меня, как садовода, как человека, занявшегося делом изменения природы, спасла революция».

В самые тяжелые годы гражданской войны и разрухи молодая рабочая власть заботилась о саде Томсона, считала его не частным предприятием, а делом большой общественной важности.

Сибирь в огнях электричества, в гигантских стройках и... яблоневых садах — об этом, казавшемся таким далеким, мечтали бойцы у партизанских костров и на привалах после горячих боев. Сад Томсона напоминал этим пропахшим порохом людям маленький трогательный росточек далекой мечты. Его оберегали, молва о нем пошла гулять по Сибири.

В 20-е годы Тулунская опытная станция организовала у Томсона свой филиал. В сад одна за другой приходили экскурсии: учителя и школьники, любители и ученые. О работе Томсона писали в газетах и журналах. О нем с высокой похвалой отозвался Мичурин. В статье о перспективах развития сибирского садоводства, опубликованной в номере «Восточно-Сибирской правды» за 5 мая 1935 года, Мичурин писал: «Особый интерес для края представляют работы одного из лучших опытников Иркутска — Томсона».

И действительно, сад Томсона стал удивительным, будто заколдованным уголком, где в условиях сурового сибирского климата зрел белый налив, боровинка, синап, апорт, росло много других сортов и видов плодовых и ягодных растений. Здесь можно было встретить дерево белой шелковицы, и дальневосточный абрикос, и уссурийский виноград, и еще многих пришельцев из дальних и ближних краев.

Даже дубки и ясени растут в одной из тенистых аллей сада.

Своим многолетним опытом Август Карлович был всегда счастлив поделиться со всеми, кто брался за трудное, но благородное дело опытничества.

В 1938 году он передал основную часть своего сада советскому государству, и участок этот стал государственным питомником. Тысячи саженцев разошлись отсюда во все края Восточной Сибири, легли в основу почти всех колхозных и индивидуальных садов, широко закладывавшихся перед войной на сибирской земле. Посылки с саженцами шли отсюда и в Якутию, и в Красноярск, и в Приморье, и на Урал.

В последний предвоенный год Август Карлович Томсон был удостоен чести представлять сибирское садоводство на Всесоюзной сельскохозяйственной выставке и получил за свои достижения в этой области Малую золотую медаль.

* *
*

Скромный, горячо влюбленный в свое дело человек оставил на холодной сибирской земле чудесный сад. Много людей пошло по его следам и теперь уже не один, а тысячи садов в городах и селах Сибири наливаются каждую весну молодыми, буйными соками.

Старый садовод до последних дней жизни лелеял свое самое дорогое детище. Страстно мечтал он о том, чтоб опыты по акклиматизации в Сибири лучших фруктовых растений были продолжены в его саду, он завещал его Восточно-Сибирскому филиалу Академии наук СССР.

На территории этого сада была создана экспериментальная база биологического отделения. Сейчас под руководством доктора биологических наук профессора Федора Эдуардовича Реймерса здесь ведутся интересные опыты и наблюдения. Например, здесь уже пять лет выращивают рассаду помидоров, капусты и других овощей без парниковых рам. Можно считать, что этот метод, основанный на свойстве закаливания растений, дал положительный результат и в дальнейшем сулит серьезную экономию колхозам и совхозам.

Интересны эксперименты по акклиматизации в Сибири таких нежных и малоизвестных у нас овощей, как брюссельская капуста. На опытных делянках выявляются также наиболее урожайные в Сибири сорта кукурузы, ведутся научные наблюдения за кормовыми травами и зерновыми.

— А что же сад? Как выглядит сейчас сад Томсона? Что в нем нового? Какие ведутся там опыты?

Мы идем по широкой центральной аллее, вдоль которой стоят высоким коридором дикие яблони, усеянные мелкими пуговками плодов. Это и есть тот исходный материал, к которому обратился Томсон полвека назад.

Сильные, выносливые дички все тянутся и тянутся вверх, и широкие их кроны сплелись в шатер. Садовые же деревья, трудом долгих лет полученные от этих дичков, начинают сохнуть, выходить из строя. Да, они стары. И все же очень жаль, что новые хозяева этого самого старого в Восточной Сибири сада ограничиваются лишь тем, что содержат его в относительном порядке и время от времени делают подсадки на месте погибших деревьев.

И не случайно сад этот стали забывать. Не стучат теперь у его ворот ни школьники, всем классом собравшиеся на экскурсию, ни любители-опытники, которые прежде с таким интересом приходили к Августу Карловичу посмотреть его диковинки, расспросить о том и другом, ни колхозные садоводы, нередко пользовавшиеся и саженцами, и добрым советом Томсона.

Правда, нам могут сказать, что обслуживать подобные экскурсии совсем не входит в задачу филиала Академии наук. Но думается, что проблема сибирского садоводства — это его кровное дело. Жаль, что на экспериментальной базе в бывшем саду Томсона этой немаловажной и для науки и для практики проблемой до сих пор никто не занялся.

А разве мало здесь живых загадок, на которые нет еще ответа. Взять те же дубки. Два из них, посаженные желудями еще в 1917 году, сейчас являются уникальными экземплярами в Восточной Сибири. Они подрастали под густым прикрытием соседних деревьев, долго набирали силы и вдруг вышли из-под защиты, почувствовали себя совсем как на родине. Что это? — редкая удача? Или, быть может, дубы при соответствующих условиях могут расти в Сибири? К сожалению, сорокалетние сибирские дубки, выращенные Томсоном, оказались на соседней территории сельскохозяйственного института. Они попросту беспризорны и один из них уже искалечен.

Незавершенными остались у Томсона опыты с дикорастущим сибирским абрикосом, а ведь и Мичурин писал о том, что «В условиях Иркутска вполне возможно добиться на основе селекционной работы широкого разведения культуры абрикоса...» Это его подлинные слова. И наверное, сибиряки были бы очень благодарны ученым, взявшимся за эту практическую задачу.

Да мало ли еще сложных и увлекательных задач стоит перед сибирским садоводством... Об этом — особый разговор. Мы же вновь хотим вернуться к мысли о следе, оставляемом человеком-творцом на земле.

В нашей стране принято увековечивать память о людях, о их труде в названиях площадей, улиц пароходов, в золотых надписях мемориальных досок, в стихах и песнях. Как жаль, что в том доме, где работал пионер сибирского садоводства Август Карлович Томсон, в доме, под окнами которого шумят посаженные им деревья, нет даже его простого, скромного портрета. А все ли из молодых рабочих, которые трудятся ныне в этом саду, знают его трудную историю? Нет. А ребятишки, что пробегают мимо высокого зеленого забора, — они не знают даже имени основателя этого сада.

Шумят в Приангарье все новые и новые сады. Под тенистую сень их вступают молодые хозяева, горячо влюбленные в жизнь, в труд, в свой родной край.

— Цвесть садам на сибирской земле, — убежденно говорят они и неутомимо ищут новое, заботливо пестуют каждую яблоньку, каждый куст. — Все это для человека, для будущего!

И нужно, чтоб эти молодые, пытливые люди знали о пути, пройденном их предшественниками, помнили о таких самородках из народа, как садовод Август Карлович Томсон.

Марк Сергеев

СИБИРЬ

Она была не только каторгой,
Не только лютою каргой.
Она была пунктирной картою
И неоткрытою тайгой.

Она была землей немерянной,
Мечтой для тех, кто бос и наг,
И новой долей непроверенной
Для хлебопашцев и бродяг.
Она манила неизвестностью,
В снега упрятана по грудь,
И люди из обжитых местностей
В далекий уходили путь.

Шли в Зауралье, в Прибайкалье ли,
В кедрач врубались топором.
И вот, за падями, за далями
Вставал в распадке первый дом.
А рядом — на полянке крошечной,
Что у тайги отторжена, —
Зерно в сырую землю брошено,
Земля рожает, как жена.

И перед мужиками строгими
Лес отступает навсегда:
Дома становятся острогами,
И вырастают в города.

Но, поклонясь России-матери,
Что утвердилась здесь навек,
Шли дальше первооткрыватели
Туда, где не был человек.

Она была не только дебрями,
Не только вотчиной царя —
Была мятежными деревнями,
Что уходили к бунтарям.
Она дорогой-первопуткою
Шла Колчаку наперерез,
Она скуластою якуткою
С обрезом уходила в лес.
А после поднималась срубами
Среди колхозного села,
Заводов трубами и клубами,
Землею пахотной была,
Текла дорогами железными,
Вдевала реки в постромки,
И разговаривала песнями,
И открывала тайники.
Уже — прославлена героями —
Звалась жемчужиной страны,
Уже в ней города построены
И реки в ней покорены.
Но, поклонясь отчизне-матери,
Как повелось из века в век,
Шагают первооткрыватели —
Таков уж русский человек!

ДОРОГА

Трое ушли в тайгу,
Оставив следы на снегу,
Цепочкой — за следом след,
Но это не тропка, нет.
За ними отправились сто, —
Тропа пролегла меж кустов,
Тропа, не какой-то след,
А все же не дорога, нет.

Дорога пройдет напрямик,
Навеки тайгу расколов,
Смешав паровозный крик
И осенний лосиный зов.
Дорога пройдет пряма,
Как совесть у тех, троих...
Она расставит дома
В дебрях вчера глухих,

Она под себя подомнет
Все тропы и все следы...

Трое идут вперед
По самому краю беды.
Уже последний кусок
Разделен на сто частей.
Трое идут на восток,
И никаких гвоздей!
Затянуты пояса,
Надежд на спасение нет...
А в дневнике — Бирюса,
Трасса ведет на Тайшет.
Расчеты туннелей, мостов
Рядом в дневник легли
С тяжестью гордых слов:
«Сделали все, что смогли...»

Трое ушли в тайгу,
Оставив следы на снегу —
Цепочкой — за следом след,
Но это не тропка, нет.

Зато на веки веков
Разбудит предгорья Саян
Пронзительным криком гудков
В таежных просторах глухих
Дорога «Тайшет — Абакан».
Как память о тех — троих.

БУКСИР

По воде темно-серой, с накрапами,
Отряхнув водяную пыль,
Пароходик зашлепал лапами,
Точно лапчатый гусь поплыл.
И такая в его движении
Горделивость была видна,
Что качала его с уважением
На ладонях своих волна.
И под небом, иссеченным бурями,
Там, где тучи нахмурили лбы,
Он один себе плыл, покуривал,
Дым выталкивал из трубы.
Резал ветер над рябью нервною,
Разговаривая с рекой...
И казалось ему, наверное,
Он один на земле такой.

Виктор Киселев

УЕЗЖАЮТ ГИДРОСТРОИТЕЛИ

Коль на празднике
Грустный встретится,
Знай,
Ему не грешно расстроиться:
Со своим,
Вставшим на ноги первенцем
Расстается
Семья ангарстроевцев.
Вот шагают бетонными тропами
Над ангарскими струями чистыми·
Приезжали сюда
Землекопами,
Уезжают
Бульдозеристами.
Горячо рукоплещут с трибуны им,
Проходящим сменами целыми.
Приезжали
Горячими, юными,
Уезжают
Горячими, зрелыми.
Полюбуйтесь
Огнями-строчками,
Над сибирской
Тайгой зажженными.
Приезжали сюда
Одиночками,
Уезжают
Молодоженами.
Ясно слышим
С высокой плотины мы
Шаг чеканный
Рабочей гвардии.
Приезжали сюда
Беспартийными,
Уезжают
Членами партии.

БЕЗЫМЯННЫЙ РУЧЕЙ

По корневищам кедрачей
И по листве от прели пряной
Катился жиденький ручей,
Безвестный людям,
безымянный.

Весной он становился смел,
Пни корчевал,
Ворочал камни,
И металлически звенел,
Перекликаясь с родниками.
Он шрам прорезал вдоль земли,
Нанес гранитным скалам раны.

А на пути ручья нашли
Тугие зерна колчедана.
В костровом кедровом дыму
Берет ручей преграды штурмом.
И люди кланялись ему,
Встав на колени перед шурфом.
Геолог юный,
Подпись чья
Стоит разборчиво под планом,
Придумал имя для ручья:
Его назвал он...
Безымянным.

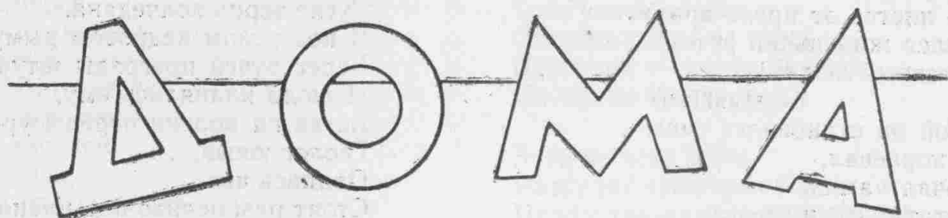
„МЕДВЕЖИЙ УГОЛ"

С проектировщиком приезжим
Пришлось в тайге мне ночевать.
И он назвал
«Углом медвежьим»
Еловую глухую падь.

Сплелись в зеленых кронах ветки,
Встал на пути барьер крутой.
Мы были первыми в разведке
За молибденовой рудой.

«Медвежий угол», —
Прямо скажем: —
Поспешный вывод,
Ерунда.
В такой глуши
Медведи даже
Не появлялись
Никогда.

Михаил Кривоноженко



Рассказ

В том, что Федор объявил о предстоящей свадьбе, неожиданного было мало, но Ефимыча больно уколола легкость, с какой сын уходил из отцовского дома. А тут еще неприятность на работе.

— Перевожу вас на компрессор, — сказал новый начальник цеха. — На дизелях теперь имеют право работать только дипломированные.

Случись такое год-полгода назад, нашел бы Ефимыч дорогу в инстанции повыше и не уступил бы, но на этот раз нанесенная обида настроила его на другой лад. Старик загрустил, ожесточился, окаменел во внутреннем, никому не высказанном протесте и все думал, думал, напряженно думал.

Савельевна почуяла неладное лишь много времени спустя, когда у старика уже созрело решение.

— Что случилось? — с тревогой спросила она, подметив выражение молчаливого вызова в его взгляде. — Что ты такой смутной сегодня?

— А, ничего особенного, — беспечно вскинул Ефимыч костлявым плечом. — В Сибирь желаю податься.

— Чего? — не поверила своим ушам Савельевна. — Не болтай попусту... Затемнение нашло, не иначе.

— Ничего не попусту, — не отводя немигающего взгляда, спокойно ответил Ефимыч. — Надо ехать.

На этом, казалось, разговор и окончился. Старик продолжал исправно ходить на работу, начальник цеха больше не возвращался к щекотливой теме. Савельевна не стремилась напоминать, да и осень была на носу, когда и перелетные птицы на север не летят.

На исходе августа степной Крым по-летнему все еще изнывал от безветрия, полуденного зноя, от безысходного томления по ночной прохладе, но крымское лето все же заметно, хоть и медленно умирало. В затянутом пыльным заревом небе, в звонкой сухости убранных полей, в длинных вечерах, в усталой опустелости садов явственно проступали приметы близкого угасания. Неделя-другая, и Ефимыч и вовсе угомонился бы, а там, гляди, смягчился бы и начальник цеха, но нежданно-негаданно привелось встретиться с другом детства, с которым не виделся он без малого лет двадцать.

Когда-то проходили вместе выучку на заводе, жили вместе и компанию водили одну, потом укатил друг в Восточную Сибирь, на золотые прииски, и с тех пор не стало слышно о нем. И вдруг заявился. Накопленный полугодовой отпуск проводил он в переездах от сына к сыну, от дочери к дочери. Оказалась родня у него и в Симферополе.

— Рассчитывал по меньшей мере месяцев пяток прожить у детей, — рассказывал он Ефимычу, — так тянуло в Крым, так рвался к морю, солнцу, изобилию фруктов. А теперь, видать, раньше срока вернусь в Сибирь... Ей-ей, там лучше!.. Это во-о... — делал он восторженный жест. — Гигант, махина! Нигде такого нет! Тут тебе и лес, и золото, и пшеница, и металлы всевозможные, и реки, что море! А охота, батюшки-светы, охота! Зверя, птицы — миллионы миллионов! А рыба! Один таймень чего стоит... В Крыму только и разговору: север, север, Сибирь, морозы... А что они в этом понимают! Скажу одно: климат там, какого не сыщешь нигде — сухой, здоровый, целебный! Ну, морозы, конечно, тут уж ничего не скажешь, морозы бывают крепкие.

Зато жарищи такой, как здесь, духоты такой не бывает.

Ефимыч жадно ловил каждое слово, и было у него ощущение, будто снова выросли молодые, готовые к взлету крылья и от холодного слова «север» внезапно повеяло теплом.

С неделю терпел старик сладостный гнет неожиданно нахлынувших чувств, потом, втихомолку, раздобыл адрес «пункта оргнабора рабсилы».

С уполномоченным по оргнабору рабсилы разговор был коротким:

— Предлагаем на выбор,— сказал уполномоченный,—большое железнодорожное строительство в Восточной Сибири или лесоразработки в любом месте Советского Союза.

Ефимыч высказался за строительство:

— Давайте на железную дорогу. Механику, пожалуй, там будет сподручнее.

Когда старик принес домой копию трудового соглашения, Савельевна, еле справляясь с сердцебиением, переменилась в лице.

— Стало быть, опять! — яростно выкрикнула она. — Опять повело!

— Да, опять! — с вызовом ответил Ефимыч.

— Пятнадцать годов прожили! — неистовствовала старуха. — Жить бы да жить около детей! А он выдумал — в Сибирь! Ведь ты уж старый! И куда только ты не летал, — стала она надсаженно выкрикивать, — в Сталинграде на тракторном был!?

— Был! — подтвердил со зловещим хладнокровием Ефимыч. — Еще чего?

— На Магнитку увозил нас?

— Увозил! Еще чего?

— В Днепропетровск, Горький, Астрахань!.. Рехнулся! — вне себя вопила Савельевна. — Рехнулся! Один поедешь! Понятно? Один!

— Никак не рехнулся! — по-прежнему не отводя немигающего взгляда, энергично тряс головой Ефимыч. — Не рехнулся! И имей в виду: я хозяин семьи!

Так и не добилась уступок от мужа Савельевна, как не распалялась, как не уламывала старого упрямца, и решилась наконец на последнее средство — подалась к детям, чего никогда не делала.

У старшей, Софьи, технорука консервного завода, старуха, как ни крепилась, расплакалась навзрыд.

— Ведь ему через четыре года уж и на пенсию выходить! Слыхано ли, из Крыма в Сибирь! Из Крыма!

Софья тотчас же принялась за дело, которое ей казалось нетрудным. Поговорила с братьями. Все, кроме младшего Федора, проявившего непонятную и неожиданную уклончивость, согласились с ней. В один из вечеров заявились к родителям и стали в один голос внушать отцу, что в таком возрасте никто в отрыве от детей не живет, что Крым всегда был Крымом, отрадой для стариков, что те, которые, соблазняясь ерундой, кидались сломя голову в неизвестные края, неизменно возвращались назад разочарованными и, утративши право на жилплощадь, немало терпели горюшка.

Илья и Николай, оба горторговские товароведы, на другой день привели с собой очевидца отдаленных мест. И хотя уроженцев Сибири в городе проживало немало, братья, руководствуясь своим выбором, призвали в свидетели детсадовского сторожа, сухонького, вежливенького старичка, в молодости побывавшего где-то на Лене.

— Знаю те места, — говорил он с многозначительной ужимкой, — очень хорошо знаю. Только после революции оттель вернулся. Якуты, буряты, тунгусы, разные нерусские нации там проживают, да еще ссыльных тьматьмущая. Озеро Байкал там есть. Большое, что тебе море. Вода в нем сладкая и чистая-пречистая, но студеная ужасно. Зимой стужа. Морозы, упаси боже!

Ефимыча стали уж грызть сомнения. Но все же устоял. Однако ж пообещал вернуться, если не оправдаются ожидания.

— Но имейте в виду, — предупредил, — навряд ли. Предчувствие меня редко обманывало. Это говорю я, у которого ума и соображения никак не меньше, чем у вас всех вместе взятых. И это вы старики, а не я, которому шестой десяток лет пошел! Вы старики!

В конце концов Савельевна, казалось, примирилась с предстоящим отъездом. Только слишком уж часто и настойчиво напоминала Софье и сыновьям относительно закрепления прав на жилплощадь, хотя пока их квартире ничто не угрожало. Временно в ней должен был жить Федор с молодой женой.

В невеселые дни сборов в дальнюю дорогу Ефимыч не услышал от жены ни слова упрека. Ожидание предстоящих и теперь уж неотвратимых испытаний, как и в молодые годы, родило безотчетный подъем духа. Что-то неподатливое и гордое замкнулось у Савельевны в груди и укрепляло силы. На вокзале, прощаясь с детьми, с горькой подавленностью крепко обняла она всех и даже не всплакнула. Так было всегда, так было всю жизнь.

В вагоне, наедине с невеселыми своими думами, старухе взгрустнулось до слез. «Каково там будет? — заглядывала она в будущее. —

Стоило ли расставаться с насиженным местом, с родными детьми?».

И за окном вагона было невесело. Пятый день шел дождь, затяжной, моросящий, но теплый. Неторопливая крымская осень делала свои первые шаги.

Мимо проплывали пресыщенные теплом крымские степи. Все темнея и темнея, ненасытно пили падающую с неба влагу участки распаханных полей, издали казавшиеся совсем сухими. Утягивающийся вдаль целинный солончак постепенно окрашивался в цвет изрядно потускневшей, с прозеленью, бронзы.

В просторе необозримых полей все казалось похожим одно на другое — овраг на овраг, курган на курган, проселок на проселок—и что-то невыразимо трогательное, крепко бравшее за душу было в этом повторении одних и тех же блеклых красок, неглубоких ложбин, высоких скирд с не успевшей потемнеть соломой.

Ефимыч дотемна не отходил от окна. По лицу трудно было определить, что у него на душе. Только однажды, глядя в окно, он с сожалением пробормотал:

— После дождей хорошая охота должна быть.

В Харькове агент по вербовке рабочей силы, тучный, но очень подвижной и расторопный сибиряк в устрашающе величественной меховой шапке помог сесть в теплушку эшелона железнодорожников, с семьями переезжавших на новостойки Сибири.

Среди чужих, чересчур говорливых и любопытных молодух, заметно побаивавшихся высокой сутулой старухи со строгим недоверчивым взглядом несколько запавших глаз, Савельевна не могла перебороть себя, свои черные мысли и почти открыто дичилась людей.

Зато Ефимыч чувствовал себя как рыба в воде. Все эти киевские и полтавские сцепщики, путевые обходчики, машинисты, дежурные по станции, добродушные и вместе с тем насмешливые, способные прикинуться простачками, были его братьями по духу. Всю дорогу сражался он с ними в «козла» и, кажется, никому не уступал в острословии, выдумках, дорожных шутках. Его так и прозвали — «полудед».

На одиннадцатый день выгрузились на большой станции, недалеко от Иркутска. Притихли молодухи, дорожная веселость сменилась озабоченностью, думами о завтрашнем дне. Всем хотелось поселиться непременно вместе.

В отделе кадров строительства разговаривали с каждым порознь. Ефимыча опрашивал деловитый паренек в полувоенной одежде.

— Фамилия, имя, отчество? — не глядя, задавал он вопросы, записывая ответы в анкету. — Профессия?.. Так!.. Из Крыма? — искренне удивился он и наконец-то поднял голову. — Из самого что ни есть Крыма?

Он недоверчиво покосился на невзрачного большеносого старика, с жесткими складками морщин на лбу, прошелся зорким взглядом по потрепанным охотничьим сапогам и после недолгого размышления спросил:

— Должно быть, водочку попиваете, батя?

Не ожидая ответа, мелькая начищенными до блеска черными крагами, он сбегал в смежную комнату и—Ефимычу хорошо слышно было — доложил начальству:

— По всему видать, что специалист. Подозрительно одно — из самого Крыма. Не был бы горьким пьяницей, как Степашкин, которого, помните, пришлось выгнать. Он ведь тоже был из тех краев.

Вернувшись, он сказал:

— Предлагаем вам должность заведующего электростанцией. Это на подходе к Лене, точнее, на 546 километре. Будете там в одном лице. Один движок с генератором.. Как вы относитесь к этому?.. Только, папаша, честно: водочку сильно любите?

И впоследствии мало кто верил, что расстались старики с Крымом по-хорошему.

На Лену прибыли в начале зимы. Сибирской зимы. Короткий день, сумрачные тона неба, морозная дымка в стылом воздухе, гулкая твердость промерзшей земли и лес, будто к чему-то прислушивающийся, притихший лес. Лес без начала и конца. Все это угнетало Савельевну.

Ефимыч старался не унывать, внешне бодрился, но в глубине души испытывал подавленность и что-то похожее на угрызение совести.

Первое письмо детям было умышленно коротким. На краткости настояла Савельевна. Избегала плакаться на судьбу, скрытно щадила самолюбие старика и еще потому, что твердо верила в скорое возвращение домой.

Написали три строчки: «Можно сказать, устроились сносно. Надеемся, скоро будет лучше. Тятя работает по специальности. Уже ходил на охоту и убил глухаря, большую птицу. Их здесь много».

Чем больше углублялись в зиму, тем меньше было надежд, что удастся устроиться хоть сколько-нибудь сносно. Слишком угнетали морозы и никак не клеилось с получением отдельной квартиры. Наконец старику на скорую руку построили сруб рядом с электростанцией.

В начале весны, истомившись ждать возвращения, внезапно взбунтовалась Савельевна. Едем домой — и все тут. Из дому к тому же, одно за другим, приходили известия о том, что домоуправ принюхивается к опустевшей квартире и не раз спрашивал о дне возвращения жильцов и что Федор проявляет равнодушие к отцовской жилплощади.

Ефимыч и на этот раз отмолчался, немало выстрадав в душе.

Еще раз Савельевна загорелась нетерпеливым желанием немедля вернуться домой в разгаре лета, когда появился комар и стала бешеной мошка. Уже и вещи увязала, уже и пирогов напекла в дорогу.

— Стало быть, оставляешь меня одного? — уныло спрашивал Ефимыч, встревожившись не на шутку.

— Одного! —запальчиво отвечала Савельевна. — Одного! Раз ты такой, то одного!

Но опять это была лишь кратковременная вспышка. К тому же и здесь лето постепенно легло на сердце с теплой лаской. Лето как лето, как и повсюду, безудержно щедрое, временами знойное, хоть и скоротечное, хоть и погруженное в прохладу коротких ночей.

Потом пришла хлопотливая пора ягод, грибов, кедровых орехов. Особенно обильно уродилась в этот год малина вдоль лесных троп и на взлобках, у ключей было полно смородины. Но исполненная дикого плодородия тайга, преображенная, пахучая, нарядная, не всякому открывала свои тайны, к ней надо было приложить руки.

Случалось, в сушь горела тайга. Тогда горьким и сухим туманом дым окутывал землю, застилал солнце, и день оказывался погруженным в странные, голубовато-серые сумерки, вселявшие в душу чувство беспричинной тревоги. Мужчины, а с ними и Ефимыч, на сутки-двое уходили в лес тушить пожар, и Савельевна всякий раз негодовала в душе: «Почему одни только мужчины? Всем бы надо!»

Сушь, как и в Крыму, иногда стояла неделями. Тогда никли жадные на воду березы, у сосен шелушилась кора, отвисала шелестящими на ветре лоскутиками. Из-за этого временами казалось, что в лесу кто-то нескончаемо шепчется.

Ефимыч все свободное время пропадал в лесу, охотился, удил хариуса, удивительно похожего на черноморскую кефаль. Работа станции, по общему признанию, была образцовой. Но для этого старику приходилось вставать спозаранку, кое-когда и обедать урывками. Потом удалось подобрать старательного, способного подручного сменщика, затем поставили и новый двигатель. Постепенно складывалась как будто тихо плещущаяся, но на самом деле очень напряженная жизнь большой стройки в глухой стороне.

Дети писали регулярно и, по всему видно, охотно. Письма были исполнены любопытства. С плохо скрытыми намеками отвечала Софья. Всего больше намеков было в приписках: «Да, забыла: ваша внучка Раечка вчера расплакалась. Когда же, спрашивает, дедушка с бабушкой вернутся домой... Илья собирается сделать ремонт в вашей квартире, чтобы вам было больше удобств».

Письма перечитывались по нескольку раз вслух, пока не заучивались наизусть.

В начале октября пришла телеграмма: «Немедленно выезжайте или высылайте справку броне квартиру. Дело суде. Подробности письмом».

Савельевна глубоко задумалась, работа валилась из рук. Пришло время сказать последнее слово. И сказать его было труднее, чем прежде.

Ефимыч и на этот раз решил благодушно отмалчиваться. Крым ему теперь был нипочем. Он по-настоящему врос в неспокойную, быстро текущую жизнь вновь осваиваемого края. К тому же лестным было, что его избрали делегатом на областную профсоюзную конференцию. В гущу общественной работы в прошлом он погружался не раз, но именно здесь, где повсюду заправляли молодые, образованные и исполненные созидательной энергии люди, он по-настоящему испытал чувство гордости за себя. А тут еще и такая необыкновенная удача: на охоте удалось добыть крупного медведя, о чем грезилось всю жизнь.

Но Савельевну и медведь не порадовал. Беспокоилась об оставленной квартире. К тому же, после той тревожной телеграммы, что-то необычно долго не было писем.

Не выдержала Савельевна, попрекнула старика:

— Не болит, вижу, у тебя сердце. Отправляйся на станцию! Может, письмо с подробностями уже прибыло. Уж в точности узнаем, что там.

Станция на трассе — это средоточие производственных новостей, пускай не особо достоверных, но захватывающих дух слухов, и Ефимыч охотно бывал здесь. На счастье, мотодрезина-«калужанка» привезла почту.

— Скоре́нько, скоре́нько! — на сей раз почему-то особенно торопился парткомовский рассыльный. — Вам что? Ага, «Правда», областная и еще письмо!

В обещанных «подробностях» ничего нового не было. Те же слова, те же известия о том, что домоуправ возбудил дело о выселении. Но в приписке оказалось необыкновенно важное. Рука Софьи торопливо приписала: «Не пойму я нашего Федю. Ведь он прописан был с вами. Шел бы хлопотать за себя. Вчера же сказал мне: передай тяте, что есть охота переехать к нему, если работа подходящая найдется. Почему он так сказал — не знаю».

«Калужанка» давно утонула в зеленом ущелье трассовой просеки, но Ефимыч с письмом в руке еще долго глядел ей вслед. Приписка поразила до крайности. Казалось, обок стоит живой Федор и не на бумаге, а наяву, живым словом, повторяет то, о чем написала Софья. Пусть кто бы другой, но Федор...

Из раздумья вывел знакомый голос:

— Здорово, полудед! Опять письмо! Часто тоби пышуть! — «Главный» балластной «вертушки» вышел из товарного вагона без колес, приспособленного под вокзал, и стал пристально всматриваться то в одну сторону путей, то в другую. — Вертушка ось задерживается. А тут, як на грих, насос на водокачке обратно не став качать, а механика из района хиба дождешься.

Издали доносился приглушенный лязг металла. Где-то за лесом выгружали рельсы. Широко распахивалось, ниспадая в сизой дали к буро-зеленому подножию тайги, уже по-осеннему блеклое небо. Впору было перекинуться добрым словом, но «главный», подобрав губы, молчаливо смотрел вдаль и, казалось, не проявлял желания продолжать беседу. И вдруг с добродушным спокойствием, будто запнулся на слове, обронил просьбу:

— Как бы допомочь, полудед?.. Га!

Обстоятельства не раз складывались так, что «допомогать» Ефимычу приходилось не один раз и он никогда не избегал этого. Но сейчас он испытывал постыдные колебания. До водокачки неблизко, дома старуха заждалась его возвращения, и он после длинной паузы решил отделаться уклончивым:

— Завтра...

— Завтра! — с горьким удивлением сказал «главный». — Завтра! А «вертушка», значится, поки должна стоять?

Со стальным клекотом подошел состав. Бодрая, не стареющая «овечка», с важностью, как гусыня лапами, переступая красными дышлами, подтащила балластный порожняк.

Пока паровоз медленно проплывал мимо, машинист высунулся из окошка и рассерженно допытывался:

— Вы, друзья, вода будет или нет?.. И что это такое происходит! Убей бог, зараз самому министру телеграмму отобью! Кругом воды хоть залейся; ушами надо шевелить!

«Главный» с выражением полной непричастности к происходящему, казалось, не замечал ни машиниста с его яростью и угрозами, ни Ефимыча, ни «вертушки».

— Ладно! — с добродушным отчаянием взмахнул рукой Ефимыч. — Сейчас уж пойду на вашу водокачку! — И по-стариковски осторожно спустился с насыпи к высыхающему болоту, в надежде мимоходом выйти к старице, где летом кормилось несколько утиных выводков.

Птица, оказалось, улетела. Недаром после первого заморозка косячок их кружил над домом. Это было прощание.

На возвышенности, у крутого изгиба берега реки, Ефимыч постоял несколько минут. Отсюда видно было болото, с уснувшим озером посредине. Издали озеро было похоже на большое зеркало без рамы, уложенное на блеклый, порыжелый ковер.

Всюду и во всем: в безмолвии набегавшего к старице леса, в застывшей глади омутов, в опаленной заморозками траве пряталась устойчивая таежная тишина.

У далекого обрыва склонилась над водой подмытая ель. Дальше, за елью и во все стороны, раскинулся все тот же лес, знакомый, исхоженный, уже подвластный человеку.

Внезапно, будто вытолкнутый лесом, к берегу вышел сменщик паровозного машиниста с одностволкой за плечом.

Ничуть не удивившись встрече, машинист вгляделся вдаль и озабоченно спросил:

— Не знаете, батя, паровозу воду дали?

Ефимыч с завистливым восхищением разглядывал ржаво-пеструю гроздь рябчиков у бедра машиниста и стал допытываться:

— Не иначе как на свисток?.. Далече? Глухарей не видал?

— Глухаря много! — пренебрежительно оттопыривал растрескавшиеся губы машинист.— Трех поднял! Что там глухари, — сохатого видал! Во-о, бычище! Реку переплывал за Каменной падью. Вот это добыча! Эх, выправить отстрелочный билет да взять бы его, батя! Он где-то поблизости шатается.

У насоса оказались пустяковые неполадки, с которым не сладил молодой слесарь из ремесленников, и Ефимыч засветло был дома.

Савельвна не высказала недовольства опозданием старика. Только и того, что поглядела с немым вопросом: «Принес?»

Письмо читала с таким видом, будто рассматривал рисунок. Уставилась неподвиж-

ным взглядом в лист бумаги, и нельзя было различить — перебегают ли глаза от строчки к строчке.

Все, что касалось внучат и Федора, произнесла вслух, с чувством, заучивая. А своего мнения так и не высказала.

Ефимыч и отужинал молча и по хозяйству хлопотал, не заикнувшись о письме, будто его и не получали. Все, о чем надо было сказать, было ясно сказано в Крыму. Но все же сдержанность жены несколько беспокоила старика. Можно было ожидать всякое.

Чтобы заглушить томление, Ефимыч послонялся у сарайчика, сложил напиленные дрова в поленницу, потом без особой надобности пошел к ручью за водой.

Всюду его сопровождал медленно подкрадывавшийся вечер. Величие таежной осени оттенялось именно в эту пору дня. Сизый сумрак плотно окутывал вдруг далеко отодвинувшийся лес, заслонял даль и только чистое небо озарялось холодным, льдисто-зеленым светом. Из-за этого холодок, от которого зябли руки, казалось, скатывался откуда-то сверху.

У деревьев постепенно сглаживались очертания. Все отступавший и отступавший лес представлялся высоким валом, надежно отгородившим от чужого глаза электростанцию и домик с ярко освещенным окном.

Где-то над головой зыбкими, еле видными паутинными нитями бесшумно проплывали стайки гусей. У дымного облака над будущим паровозным депо, где жгли порубочные остатки, гуси беспокойно загоготали и, чувствовалось, полетели в обход. Что-то обидное для притихшего леса, для всего живущего здесь было в отлете птиц, и Ефимыч не дошел до ручья, так с пустыми ведрами и вернулся домой. К тому же и старухе пора было заговорить.

Савельевна с загадочным выражением лица наливала в пузырек с высохшими чернилами воду, когда верхом к дому на рысях подъехал начальник стройучастка, в границах которого был и пристанционный городок.

— Как хорошо у вас, — сказал он, войдя в комнату. — Заметно, что у хозяйки золотые руки. — И как это часто случается у прямодушных и впечатлительных натур, сразу отвлекся на свое, наболевшее: — К великому сожалению, я лишен таких элементарных условий, как уют, чистота в доме. Между тем, всю жизнь мечтаю свое гнездо устроить совершеннейшим образом. Не странно ли?

Широкоплечий, могучий, еще не старый мужчина огляделся и устало присел на предложенный ему табурет. Ефимыч и Савельевна несколько растерянно следили за каждым его движением. Дельного и толкового инженера, его знала вся стройка. Имя его нередко и притом с лучшей стороны мелькало в строительной газете. Все знали о том, что счастье и согласие обошли его семью и что супруги нередко живут врозь.

Гость был небрит, воротник его поношенного офицерского кителя заелозили сальные полосы, что-то тревожное вдруг проскальзывало в его взгляде, и Ефимычу в душе, как сына, было жаль этого человека.

Разговорившись, начальник участка переходил с одного на другое, Ефимыч деликатно поддакивал и терпеливо ждал той минуты, когда, наконец, откроется секрет неожиданного посещения.

— Может, закусить нам дашь? — подмигнул он Савельевне.

— Медвежатина? — поразился гость, когда подали пропахшее черемшой мясо на стол. — Рислинг? — еще больше удивился он бутылке вина с яркой этикеткой. — Да еще крымский! Сурож!.. Я, признаться, предпочитаю беленькую.

Для гостя нашлась и беленькая.

— Да, Крым замечательное место, — сказал он, нюхая корку хлеба после полустакана водки, выпитой одним глотком. — Но, представьте, здесь мне больше по душе. И как ни сложно складывается в семье, как ни прижимают меня жизненные обстоятельства, я остаюсь верен ему, этому исключительно интересному, притягивающему к себе краю. Простите, — вдруг спохватился он, — ведь я приехал к вам по очень важному делу. Новой марки дизель пришел на участок, а старший механик в отпуске. На полдня дела.

Не закусывая, гость выпил еще полстакана и стал прощаться. У порога с благодарной и вместе с тем виноватой улыбкой долго тряс старикам руки. Он был рад тому, что привелось согреться у чужого огонька.

Ефимыч вышел провожать, помог сесть в седло. Долго глядел вслед галопом ускакавшему начальнику участка.

По краю неба все еще растягивалась алая лента затяжного заката. Легкая седина изморози заметно опушила увядшую траву. Скованный тишиной лес уже слился с теменью и только зазубрины выдвинувшихся вперед деревьев все еще выделялись на фоне вечернего неба. Слышно было, как работала электростанция:

— Чу-чах! Чу-чах!

«Третий выхлоп глухой, — вслушиваясь, подумал Ефимыч. — Не подвел бы напарник».

Старики обычно рано ложились спать. Но сегодня Ефимыч то брал в руки ружье, продувал, просматривал стволы, звенел медью гильз, то снова и снова выходил во двор. Все выжидал, когда же выскажется старуха.

— Хороший человек этот начальник, — заговорила наконец Савельевна, — да счастье свое не нашел. Хорошую бы ему жену.

— А все потому, что в разлад муж с женой пошли, — немедля подхватил Ефимыч. — Видите ли, его мадама хочет жить только в столице... Разве это правильно? Чем, спрашивается, не жизнь здесь? Да через год москвичи или кто там завидовать будут нам!

Точно ввязываясь в беседу стариков, стенные часы-ходики с жестяной хрипотцей торопливо отстукивали свое: Тик-так! Тик-так! От жарко натопленной плиты растекалась изнеживающая теплынь.

— Домой писать собираешься? — с притворным недовольством промолвила Савельевна. — Хотя бы Феде поскорее ответил. Пускай уж едет с Фросей. Работы для них тут невпроворот. Потом уж всех перетянем.

Порешили старики на том, что Федору вызов надо дать по телеграфу. Почему-то казалось, что так будет не только быстрее, но и надежнее.

АЛЕКСАНДР БАЛИН

К одной из интересных страниц истории сибирской советской поэзии относится творчество Александра Ивановича Балина (1890—1937 гг.). Его литературная деятельность началась в 1908—1910 годах, когда поэт, будучи студентом Казанского университета, печатался в одних сборниках с Павлом Радимовым, Петром Дравертом, Георгием Вяткиным.

С первых дней Великой Октябрьской революции Александр Балин — среди той лучшей части интеллигенции, которая отдала свои силы и знания народу. Участие в общественной и литературной жизни страны, непосредственное общение с народом благотворно сказываются на развитии поэтического таланта. Для стихов А. И. Балина, созданных в двадцатые—тридцатые годы, характерны философская глубина, устремленность в будущее, жизнерадостность, романтическая приподнятость.

Одним из первых, еще в самом начале тридцатых годов, воспел поэт грядущие «Огни ангарских порогов». В те же годы взор поэта предвидел и «станцию планет на освещенном Небострое», созданную руками нового, советского человека. Властно входят в его стихи темы современности.

Более двадцати лет не переиздавались произведения Александра Балина. Книга стихов, вышедшая при его жизни, — сборник «Берег» — стала библиографической редкостью.

Стихотворения «Тропою будущих дорог...», «Какой бесстрастный небовед...» публикуются впервые.

Р. Смирнов

* *
*

Тропою будущих дорог
Иди вперед зимой и летом,
И песню звонкую поэта
Не заглушит мятежный рог.

В пути, размытом непогодой,
Деля опасность под огнем, —
Будь ночью звездным небосводом
И не ропщи ненастным днем.

Познай в минуты откровенья
Единство в строе мировом.
В годину грозного смятенья
Не оставляй свой отчий дом.

В борьбе неравной год за годом
Звездой немеркнущей гори
И заодно с родным народом
Ты победи — или умри.

1929 г.

ОГНИ АНГАРСКИХ ПОРОГОВ

Не ветер саянский подул,
Пролетая столетья не впрок,
На Похмельный,
На Пьяный порог
И на грозный
Ангарский
Падун...
Там, где каторжник,
Путь бороздя,
По таежному следу бродяг,
Укрываясь в ущельях скалы,
Острым камнем сбивал
Кандалы...
Там, где искрится
Волчий глаз,
Путь к лесам новой жизни крут,
Станет светиться воля масс,
Будет искриться жаркий труд,
Там по выступам
Горных пород
Перейти через Пьяный порог,
Чтоб не с пьяной, а с трезвой горы —
Заиграли
Огни
Ангары...
Над лесами дремучими свет,
Обращаются ночи в дни,
Электрических солнц и комет
Над Шаманским
Порогом
Огни...
То не ветер саянский
Подул,
Пролетая столетья не впрок,
На Похмельный,
На Пьяный порог
И на грозный
Ангарский
Падун...

1931 г.

* *
*

Какой бесстрастный небовед —
Ученый нового покроя —
Откроет станцию планет
На освещенном Небострое?
Чтоб, проторяя Млечный Путь
К мирам, доселе не открытым,
Часок на Марсе отдохнуть,
В кольцо связав метеориты...
И, завершив полет ученья,
Перелетая на Нептун,
Настроить аэромечту
На безвоздушное теченье...
Затем опять к мечте земной,
Как в межпланетную деревню,
Вернуться вовремя домой,
Любуясь Днепростроем древним.

1930 г.

СКОЛЬКО ВАМ ЛЕТ?

— Вам сколько лет? —
Спросили вы меня...
Сказал в ответ
Я, овладев собою:
— Хотя, как в песне, в сердце перебои,
Мне восемнадцать, смелые друзья...

Песнь повторив
И руку мне пожав,
Поверит ли республики ровесник,
Что в зеркале не очень моложав,
Кто молодость
Переложил на песни.
Но если все-таки
Вы спросите меня,
О чем и спрашивать
Без метрики не стоит, —
Пусть седина, пусть в сердце перебои —
Мне восемнадцать, юные друзья!

1936 г.

БРАТСКАЯ МОГИЛА

Памяти бойцов за Октябрь

Это ты мне рассказывал или кто-то другой
О безвременно сгинувшей силе...
Что здесь прах схоронили, прах дорогой
В этой братской тесной могиле.
На рассвете, чуть дрогнул за решеткою мрак,
До зари семерых разбудили,
Повели под конвоем в соседний овраг —
Семерых к раскрытой могиле.
Шли березовой рощей, чуть брезжил рассвет—
Не для них это солнце всходило,
Сколько скрылось ночей, сколько дней,
сколько лет
Скрылось в братской тесной могиле...

По команде у края могилы сырой
На рассвете шеренгою встали...
Это ты мне рассказывал или кто-то другой,
Как у темной могилы прощались...
Есть у времени вечность, у вечности миг,
А над рощей уж солнце всходило,
И никто не услышал прощальный их крик,
Крик сырая земля схоронила...
А над городом спящим, над сонной тюрьмой,
Над могилою солнце всходило.
Это ты мне рассказывал или кто-то другой,
Или братская шепчет могила...

1931 г.

К сороковой годовщине освобождения Сибири от колчаковщины

Алексей Зверев

Далеко в стране иркутской

роман

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Гора, за ней опять гора
Сомкнули плотно плечи —
И мчится, стонет Ангара
Совсем по-человечьи.

И. Молчанов-Сибирский

Фронтовики

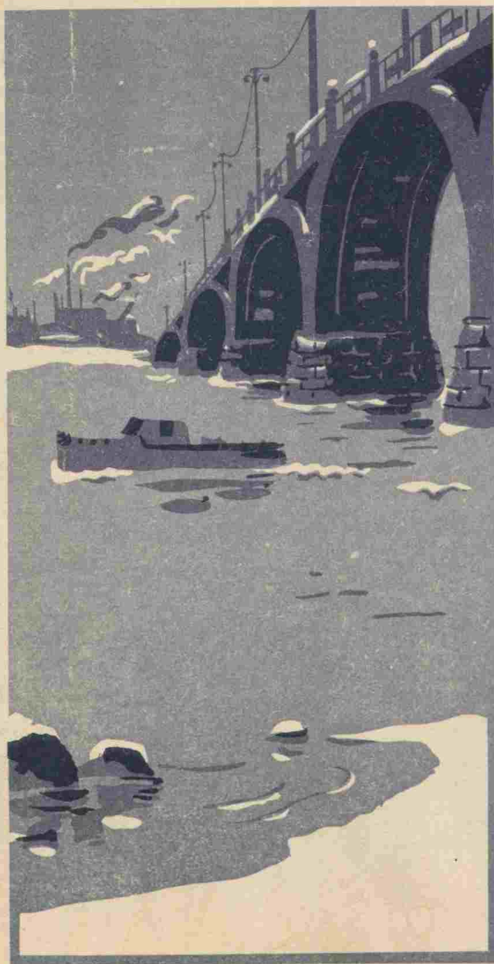
1

Если вам придется плыть вниз по Ангаре, то в двадцати верстах от города, сквозь кусты лозняка, чахлых березок и прочего разнолесья обязательно увидите белую церковь и темную сосновую рощу вокруг нее, а по взгорью рассыпанные избы с белыми наличниками и колодезные журавли — это село Подкаменное. Почему оно так названо? А посмотрите-ка вправо: к вам будто на всех рысях мчится тройка; крутая гора с густой гривой леса — справа, такая же гора слева, посередине чубатая рощица, а ниже — широкий каменный лоб. Неведомый ямщик круто приостановил коней, заломил им шеи; стукнули кони копытами и провалились в бездну по самую грудь да́ так и застыли на века. Гора та зовется Каменные Кони. Взгляните влево: перед вами растет, дыбится другая гора — Камчатник — это голова великана в бобровой шапке густого соснового бора. Шумит бор, будто тихо вздыхает голова, погрузившись в свой непробудный сон. Укрылось Подкаменное от ветров в долине между горами. Разбрелись кривые улицы, переулки вдоль речки, подле рытвин и оврагов. У каждой улицы села свои слава и история. «Соповщина» славится красивыми домами и богатыми мужиками. «Тунка» — наоборот, отмечена ветхостью строений и непролазной нищетой, табуном Грихи Бунчикова с выводком голопузых ребятишек. Славу «Бурлевщины» составляет знахарь Косой Гурьян да повитуха бабка Груня. «Подцерковщина» известна лавкой грузина Катышвилля. В последнее время в

Р2
А 64
339628

АНГАРА

Иркутск



№ 1
ЯНВАРЬ
МАРТ
1960

Л

на старую мать и прятал свою изуродованную кисть правой руки в расстегнутый ворот гимнастерки. Круглый, краснолицый, топтался в толпе Степанко Сопов и, когда увидел бегущих по переулку родных, радостно хлопнул руками и, сняв фуражку, замахал ею над головой. Он поцеловал жену, ребятишек, мать, а перед братом Алешкой удивленно остановился:

— У, парнюга какой!

В лодке сидел немолодой солдат. Куря папиросу, он маленькими черными глазами на скуластом и темном лице прощупывал толпу.

— Ванюша! Ванюшенька! Да что с тобой? — надрывно крикнула баба, расталкивая толпу и подбегая к лодке. За ней вереницей подошли четверо парнишек — один другого меньше, и, насупившись, они таращили глаза то на мать, то на уже забытого отца, то на костыль, который валялся на дне лодки.

— Ну-ка, не мешайте. Мы и сами с усами, — бодро сказал солдат, когда жена его, прыгнув в лодку, попыталась помочь. Ветлов Иван (так звали фронтовика) быстро поднялся. На его груди звякнули два георгиевских креста. Прыгая на одной ноге, он ловко перескочил через борт и подхватил костыли. — Который, Мотя, тут малышок-то наш?

Жена схватила с земли трехлетнего пузана и подняла его к лицу мужа. Иван, не опуская костылей, поцеловал сынишку, и семья, испуганно смеясь и плача, пошагала от берега.

Вечером в лавочке Катышвилля собрались приехавшие фронтовики. Они просили водки в долг. Лавочник морщился, нехотя доставал припрятанные бутылки, резал на прилавке омуля. Солдаты, кряхтя, пили сивуху и закусывали рыбой.

Василий Ярин, крепкий старик с коротко подстриженной рыжеватой бородкой, в картузе с плюшевой тульей, привалился к прилавку и плакал.

— Никиту я похоронил собственными руками, дядя Вася, — рассказывал ему хмельной Ветлов, — в Карпатах, у деревни Рици. Сам крест березовый сколотил, сам вырезал на нем: «Ярин Никита Васильев». Плакал, тосковал по нему, словно по родному брату! Старше я его на добрый десяток лет, а какая дружба была у нас с ним! Эх!

Василий, хлюпая носом, доставал из кармана старое, затертое письмо и совал его Ветлову.

— Читай, читай, Ванюха. Про сынка тут, про Никиту. «Геройски погиб...» Эх!

Маленькая лавчонка Катышвилля полна дыма, скрипит прилавок, над кадкой с патокой летят стаи мух, шарахаются к окну и опять облепляют кадку. Катышвилль таращит смоодинно-черные глаза, лицо белое, без морщинок, без улыбки.

— Оула нэт, эсть сэлодка.

— Н хитри, Катышвилль, на кой черт нам тв ржавая селедка, подай омуля, — кричит ерткий Степан Сопов. — Давай-ка еще бутлку, родню надо угостить.

Это тепан увидел Кешку Чака. Среди наступиней тишины долго, как собачье лаканье, втакан льется водка.

— Пі, Кеха. В гроб! В крест!

— Свозвращением, братуха, — поздравил Кешка. (аркими черными глазами он обежал пьяных юдей, одним длинным глотком выпил воду и звонко поставил стакан на прилавок.

— Чсверть, слышь, Петр Николаич, четверть по печатью. И пару омулей, — сказал Кешка і расстегнул верхние пуговки рубашки.

— «Гроически погиб от руки подлого германца», — читал по слогам Василий Ярин.

— Ддя Василий опять о своем кавалере четырх степеней, — насмешливо заметил Кешка. — Вот два года твердит одно и то же, как помешанный. Ха!

— Эт кто помешанный? Я-то? А? Эх, ты, сопля келтая... — заикаясь, крикнул Василий.

Стукнв враз обоими костылями, к Чаку подошел Ветлов и смерил его глазами с ног до головы.

— Эт не Трошин сынок? Ого! Ему и геройская мерть земляка нипочем. Ванюха! — обратилс Ветлов к Вознесенскому. — Кажись, твй сверстничек? А с какого фронту, а где воеал, браток?

— У евки под юбкой. Ха! — ответил за Кешку Взнесенский.

— Нука, допроси его, Ветлов, как он тут за тетерами охотился, — задорно крикнул кто-то изальнего угла.

— С ебя не четверть водки, бочку надо взять. Отрутился-таки от войны. За деньги болезню упил. Ну, как, грыжа-то не урчит? Дядя Вая, мы его подержим, а ты грыжу его пошаь.

— Нн-нно! — сказал Чак, и в этом «но-но» слышлась сила. И с этого «но-но» и началось. Иан Вознесенский подошел к Кешке и здорові рукой забрал ворот рубахи, а изуродованую руку поднес к самому носу Кешки.

— Ты видишь эту штуку? До войны, помнишь, как я тебя поддевал? Забыл? Теперь я так левой могу. Смотри, — и опустив ворот, Вознесенский без размаху ткнул в лицо Кешке. Черная, как головешка, Кешкина голова стукнулась о косяк.

Только две гири десятифунтовые успел сбросить за прилавок Катышвилль, остальные, как волной, смыло с прилавка. Кешку, который хотел дать сдачи, кто-то толкнул к двери. Зазвенели стекла. Взметнув вверх короткие руки с растопыренными тупыми пальцами, кричал Степан Сопов:

— Братана бьют, в крест... в веру...

Но тут же от увесистого кулака он шлепнулся на землю, офицерская фуражка покатилась по крутому обрыву к речке и мягко легла на воду.

С разбитым носом и блестя белками глаз, Кешка стоял в кругу солдат и, не подпуская никого близко к себе, размахивал ножом.

— Зарежу! Зарежу! — вопил он.

— Попробуй-ка! Зараз кишки выпустим, — орали служивые.

Но на выручку Кешке уже бежали Ванька Филонов и Серьга Тонский, его закадычные дружки. За ними с колом несся Кешкин отец. Видя подкрепление, Кешка метнулся на Ветлова, но сильный и стремительный удар Вознесенского опрокинул его навзничь, а нож, блеснув сталью, вылетел из рук и упал в зелень огорода. Опасаясь вступать в драку, Кешкины дружки забежали за угол. Один Трофим, матерясь, поднял сына и, обхватив его обеими руками, повел домой. Перед крыльцом лавки на одном костыле стоял Ветлов, другой костыль на крыльце лежал сломанный.

— Душу вишь, гаденыш, растравил солдатам. Ах ты, подлое буржуйское отродье!

2

Один за другим в Подкаменное вернулось еще несколько фронтовиков. Тут были и калеки и не тронутые пулей.

В жаркие дни июня улицы села перешли в полную власть вернувшихся солдат. Грабежа не было, но бражничали они похлеще Кешкиных дружков. Те только из окошек глядели на буйный разгул солдат. Расстегнув гимнастерку до последней пуговицы, сбив фуражку на самое ухо, фронтовики плотной стеной проходили по селу, пели солдатские частушки, пьяной ватагой вваливались в лавку Катышвилля и бросали на прилавок сорванные с груди кресты и медали.

— Водки, водки, сволочь!

Лавочник отталкивал от себя солдатские награды и, с дрожью в голосе, советовал:

— Вы бы, господа солдаты, с крестами-то в волость. За них государство по два рубля платит, а за медаль по рублю. Вот и деньги.

— Сам за нас получи, а нам, господам, теперича не дают. Нету денег, говорят, — вот она власть-то какая!

— За наши кресты и медали пинком под задницу дали.

— Водки!

Грудку тусклых знаков с лоснящимися от грязи лентами Катышвилль свалил в отодвинутый шкаф, подал фронтовикам две четверти водки, кляня себя за слабость. Ведь эти железки и половины того не стоят.

Злоба и озорство пьяных были направлены против Филонова, Трохи, Тонского, против других богатых мужиков. Иван Вознесенский в табуне поймал филоновского жеребца и, взяв у табунщика седло, целый день на глазах хозяев разъезжал верхом. Он горячил коня, подымая на дыбы, рвал удилами губы. Конь фыркал кровавой пеной, падал на колени и, раздувая алые ноздри, ржал тоненько и обидно. Только одним фокусом и остались солдаты довольны: одичавший конь слепо метнулся на прясло, развалив его, залетел в филоновский огород и истоптал луковые гряды. Вконец взбесившись, он взлетел на дыбы и со всей мочи так ударился о землю, что Иван, сделав переверт, столкнул огородное чучело и запутался в его лохмотьях. Жеребца же потом три дня ловили в табуне, чтобы снять с него седло.

Вечерами солдаты, окруженные детьми, женами и матерями, до полночи орали песни. Тонкоголосый Иван Вознесенский запевал:

Я винтовку наведу...

нестройный хор пьяных и хрипатых голосов неистово орал:

Сережа!
Прямо в сердце попаду!

тянул тонко Ванюша.

Ну дык что же?

отвечали ему пьяные голоса.

Ты рассукин сын начальник.
Сережа!
Будь ты проклят, командер.
Ну дык что же!

— Тятя, домой, ну, — просил тихонько парнишка.

— Степанушко, хватит бы, а? — робко звала домой жена Степана Сопова.

Но Иван Вознесенский начинал новую песню, звонко и высоко взметнувшуюся в небо.

Артиллеристом я рожденный,
В семье бригадной я учился...

Закинув головы, сколько есть силы в груди, друзья подхватывали и эту песню.

Огнем картечи я крещенный,
И черным бархатом свился...

3

Иван Ветлов, хоть и был старше всех пришедших с фронта, но от молодых не отставал; раза три возвращался в избенку не помня себя и мертвецки засыпал, вздернув коротенькую и сухонькую култышку. Утром, страдая от похмелья, Ветлов виновато смотрел на бледных детишек, на пару картошек и пучок луку, оставленных для него. Но прибегал однополчанин Вознесенский, теребил:

— Пойдем! Пойдем!

— Нет, брат, ша, хватит, — заявлял Ветлов. — Не до гулянки, брат, смотри, — кивал он на ребятишек.

— Да ты что, на моей свадьбе гулять не хошь? — обижался тот, и Ветлов выскакивал из дома, провожаемый тоскливым взглядом жены.

Было что-то непривычное и смешное в летней свадьбе. Зерна овса падали не в снег, а на сухую землю. Ехали к невесте и от невесты на телеге. Кони бились в поту, глухо звенели колокольчики. Пахнущая навозом пыль клубом обволакивала свадебный поезд. Широкий двор Вознесенских был полон народу. Через забор глядел Василий Ярин и ворчал:

— Свадьба! Да будьте вы неладны! Овсы-то со ржой жабрей задавил, а они свадьбу-гульбу затеяли.

Пьяная Вознесенчиха, что-то приговаривая, метала пригоршней овес, он желтым дождем падал на черную голову сына, на хлеб-соль. Столы были накрыты прямо на дворе. Известный всему селу колесник дядя Гриша, обняв Ветлова, советовал:

— Брось ты эти костыли, ну их к богу! Приходи — я тебе деревягу смастерю. Не первому делаю. Приходи!

Еще два дня гулял Ветлов, сверкая новой березовой деревягой, пытался плясать, целовал колесника за подарок.

Утром поднялся под вой жены:

— Хватит, Иван, чертомелить, не видишь, жрать совсем нечего!

— Ша, Мотя, ша.

— Да ведь и вчера было ша.

— Говорю — ша, значит, ша.

— Иди ищи хоть с пуд муки. Изголодались совсем, — плакала жена.

Утро было хмурое, собирался дождь. Иван вышел из избенки и навалился на прясло. С задов, где стояла хатенка Ветлова, в открытую огородную калитку, виднелось крашеное крыльцо в ограде Трохи, к амбару привалены заготовки вил, бастрыков. Сажен на пять вдоль всего огорода размахнулся новый коровник. Все — амбар, коровник, конюшня, дом — крыто тесом. Иван отвернулся от дома Трохи, скрипнув зубами. А с другой стороны на него пялятся постройки Тонского. Голубые с белизной резные наличники, добротный пятистенок. Ветлов покосился на окна своей развалюшки. Где уж наличники — стекол-то нет, в двух-трех местах рамы забиты дощечками, а то и просто дыры зияют.

«Нет, к этим я за хлебом не пойду», — подумал Ветлов.

Теперь, после недели пьянки его все удивляло, будто с глаз сошла какая-то пелена. На улице он увидел новый колодец у дома Трофима Сопова. Журавль гордо взбросил тонкую шею. На крепком канате и новом шесте висела кованая бадья. А в просвете между журавлем и бабой на отшибе — истлевшая изба. Гнилые дранины лежали на ее крыше вперекос. Ограды нет, стоят одни столбы, они кланяются красивому под железной крышей дому Филоновых, будто просят милостыни.

— Да ведь это избенка-то Степанки Сопова. Эх, ты, унтер!

Четыре года не видел Ветлов родной деревни, а гляди — какие перемены.

Война будто растрясла деревню: что было гнило — рассыпалось в прах, что крепко было, еще крепче стало.

В Тунке Иван встретил Гриху Бунчикова. Мужик стоял подле своих ворот, закинув ногу на ногу и привалясь к верее. Чирки на нем — заплата на заплате, рваный картуз, полуседые волосы клочьями вырывались из-под него. Под стать ему были развалины — ворота, ветхий дом, раскрытые стайки. Просторный двор зарос травой.

— Здорово, Гриша, — приветствовал мужика Ветлов.

— Здорово, Ваня, Эх, как тебя тряхнуло-то. Без ноги остался.

— Вас тоже тут трахнуло, не легче моего.

— Трахнуло, да не всех. Видел, как расширился Троха, как раздулся Филонов? Тут последнюю коровенку ведешь на базар, а Троха с базара привел да какую-то еще заморскую, да еще не одну.

— А ведь ты ладно будто жил? — царапает Иван Гришкину душу.

— Ладно жил, да не хватило жил. Ты-то как жить думаешь? — перевел разговор Гриша Бунчиков. Он не любил говорить о своей бедности. Наоборот, нет-нет да и прихвастнет где-нибудь; но сарай был настолько ветх, штаны, рубаха и особенно чирки так были стары и латаны-перелатаны, что теперь язык не поднимался сказать солдату хвастливое слово.

— Да, вот так, Гриха. Пошел хлеба искать. Жрать нечего! У тебя нет?

Ветлов спросил шутя, но Гриша принял всерьез.

— Ржишки мешка два есть, да ведь молоть-то когда? — соврал Бунчиков. — Да ты вон к Ваське Ярину сунься.

«Будь ты неладен, брехун. Какая там ржишка у тебя, Гришка!» — подумал Иван и пошел к Яриным.

У Ярина Ветлов достал пуд муки. Матрена на скорую руку напекла лепешек. Ребятишки наелись, стали веселее. И Ивану стало легче. Но, как нежданный гость, хлынул вдруг дождь. С потолка побежала грязная струя воды. Старший парнишка Афонька, привычно схватив из угла лохань, подставил ее под струю, и все четыре брата, смеясь и толкаясь, стали умываться. Иван угрюмо смотрел на потолок, на ребят и не заметил, как в избу ввалился медвежьей походкой Трофим.

— Здорово, сосед, — сказал он и подал тяжелую руку.

— Проходи, садись, — мрачно ответил Иван.

— Бежит избенка-то, эко ведь, — уставился Трофим на тоненькую струйку, а потом словно заторопился: — А поди-ка возьми у меня пять-шесть дранин да закрой дыру-то.

— Ладно, ранний дождь до обеда, — тихо и хмуро ответил Иван.

— Ну, так как жить-то думаешь? — спросил Трофим, не глядя на Ивана.

Иван посмотрел на гостя и прикинул: «Нисколько, черт, не постарел». Красные под редкими волосами щеки с оттопыренными, похожими на большие пельмени, ушами, гладкая шея, широкий бычий лоб — все в его лице будто застыло в своей крепости и свежести тех лет, когда Ветлов еще батрачил у Сопова. Разве в бороде да в усах редкие сединки — вот и все. А пальцы эти, что обхватили коленки, Ветлов хорошо помнит. Однажды они чуть не задушили батрачонка Ваньку, когда бык Трофима, по недосмотру парнишки, сломал рог.

— Помочь хошь, что ли? — спросил наконец Иван.

— Да ведь руки-то у тебя золотые, Иван. Мне позарез человек на мельнице нужен.

— Работник?

— Ага. Там у меня избенка есть. Живи на здоровье.

Иван поднялся со скамьи, уперся в нее деревягой.

— А как я мешки таскать буду? А как колеса ставить? А коуз кто мне поправит? Как я побегу к хозяину, коли вода мельницу ломать будет? Ты об этом подумал? Нет, Трофим Парамоныч, плохой я нынче для тебя работник. Да и зачем? Может, та мельница скоро моя будет.

Трофим в первый раз продолжительно и пытливо посмотрел на Ветлова.

— Это как твоя? — тихо, растягивая слова, спросил Троха.

— Да так вот. Слышал, поди, царя к черту, ну и богачей скоро к черту.

— И мельницу, стало быть, тебе?

— Нам! — резко ответил Иван.

Трофим поднялся и сначала тихо, потом все громче и громче стал хохотать.

— Смешно? Ну, ничего, посмейся, посмейся, — багровея, произнес Иван.

Сопов подошел к Ветлову ближе и, теребя его за пуговицу гимнастерки, утвердительно сказал:

— Никогда тому не бывать, милай. И не думай. И не жди того времечка.

Ветлов оторвал Трохину руку от пуговицы.

— А по-моему будет, и скоро! — а потом наблюдал, как Троха, все еще хохоча, шел через двор, поливаемый щедрым дождем, и уж сам себе сказал:

— Нет, будет, гад, будет, будет на нашей улице праздник!

В проливной дождь Ветлов на единственной коленке ползал по крыше, поправлял дранье. Оно все изгнило и, политое дождем, ярко зеленело бархатом мха, зыбилось под тяжестью человека. Наконец крыша не выдержала и, слабо треснув, рухнула. Падая, Ветлов крепко стукнулся коленкой о потолочную доску, которая оказалась гнилой и, брызнув крошками гнилушек, угодила в избе в лохань и опрокинула ее. Еле удержавшись за балку и взвыв от боли в ноге, Иван услышал раскатистый хохот у Трофимовой калитки.

— Подлюга, еще смеется! Нну — ничего, ничего, Троша! — все еще корчась от боли, выкрикнул Ветлов. Сквозь дыру он увидел страдальческое лицо жены и, успокаивая и

себя и ее, добавил: — Там никого не прихлопнула доска-то? Ладно, Мотька, черт с ней, с избой. На Камчатнике землянку поставлю, лодку куплю, рыбу ловить стану. Проживем, небось. А этому гадюке мы еще покажем!..

Троица

1

— К-е-енк-а-а! — приложив ко рту ладони рук, кричал Петька Ярин. — Берегись! — Внизу, на зеленой лужайке, фертом стоял Кешка Чак и гремел в ответ:

— Не боюсь! Пущай! Да смотри, землянку хромого не провали.

Серый камень, похожий на точильное колесо, поставленный Петькой на ребро, сорвался с места и, увлекая за собой десятки мелких камней, поднимая пыль, понесся по крутому скату вниз, высоко подпрыгивая.

— Врешь! Убежишь! — орал Петька.

А камень летел прямо на Кешку. Случайно вильнув влево, он пронесся в двух шагах от него и, обдав вихрем серой пыли, ударился внизу у берега о гранитный выступ и разлетелся на мелкие осколки.

— Не убег ведь! Ах, чертило! — удивился Петька. Он сорвался с места и, раздувая розовую рубашку, помчался вниз, пиная мелкие камни хромовыми сапогами.

А к Кешке уже бежали ребятишки, девки.

— Скажу вот, ей-богу, скажу дяде Трофиму,— верещала Устя Ярина,— эко ведь отличился. Вот скажу и все.

— Ну, говори, говори, — добродушно отвечал Кешка, показывая белые зубы.

— А ну, как в тебя бы грохнул, — подбежал к нему Петька, — разнесло бы вдребезги, тут бы тебе и могила.

Кешка вынул синий с каемочкой платок, подарок Усти, и осторожно смахнул с голубой рубашки пыль.

— А я бы его поймал, как мяч.

— Го-го-го! Ух, геррой!

— Поймал бы! Гы-гы-гы! — кричали собравшиеся. — Девки! А яйца-то переварились! Чего вы пялите глаза?

— Вот скажу и скажу! — грозила, убегая, Устя, а глаза ее были теплые, радостные и чуточку обиженные, может, за короткое без взгляда слово, может, за страх, который она испытывала сейчас.

— Кешка, отец! — крикнул Петька.

В синей косоворотке, подпоясанной шелковым семи цветов пояском, широкий, сутуловатый, пряча в лохматых бровях злые глаза, Трофим шел не торопясь.

Девки и ребятишки спрятались в кусты, парни скопом отошли в сторону. Подойдя к Кешке, Трофим с силой ударил сына по лицу. Тот мотнул кудлатой головой, вишнево загорелась щека. Гурьяк Косой, сидевший на валуне, прошамкал:

— Мало разбойнику!

Трофим подошел к Петьке и так же молча, не делая взмаха, хотел было ударить и его, но тяжелая рука мужика вдруг застряла в кремнево твердых пальцах парня. Трофим вырывался, Петька не отпускал.

— Загубить парня вздумал, подлец!

— Обоих, Троха, обоих, — учил Гурьяк.

Трофим рванулся опять, но Петька схватил его в охапку и еще сильнее сдавил в обручах рук.

— Ничего не выйдет, дядя Трофим.

— Пусти, подлец! — взревел Сопов, и в голосе уже слышалась досада.

— Не тронешь?

— Пусти, говорю!

Проходя мимо Кешки, Трофим дал ему другую затрещину и расслабленной походкой пошел к берегу, в заросли, а из-за куста выскочил Алешка Чуб, Трохин работник и, улыбаясь, крикнул:

— С праздничком, Кеха!

Кешка люто посмотрел на Алешку, а тот, гладя щеку и качая светло-рыжей головой, страдальчески и с издевкой говорил:

— Ноет щечка-то, а? Верю, верю, ох, больно!

— Вон отсюда! — взвизгнул Кешка, подскочив к работнику.

— А мне и тут хорошо. — Алешка даже сел, подвернув ноги и расслабив широкие покатые плечи. — А ты уходи, коли надо. Вот чудак! Отец его подрумянил на обе щеки, а работник виноват. — И Алешка насмешливо сощурил веселые голубые глаза.

От таких обидных слов Кешка даже вскочил, побегал вокруг, но работника не тронул: свеж был в памяти недавний случай на заимке.

Было так. Алешка допахивал загон в Каштаке, когда прибежал на пашню Кешка и ударил работника длинным кнутом по спине.

— Ослеп... что-ли! Спусти чересседельник!

Рядом был почти отвесный спуск к Ангаре. Алешка подошел к молодому хозяину, мигом взбросил его на плечо, орущего, брыкающегося, дотащил до крутояра и швырнул вниз. Ладно в полугоре Кешка зацепился за сосенку, а то бы выкупался в Ангаре до слез.

Петька постлал белую скатерть и, нарезав на нее хлеба, высыпал из котелка горячие

яйца, только что сваренные на костре. Рядом с закуской была поставлена четверть самогона.

— Давай-ка лучше выпьем, чем ссориться, — пригласил Петька. Жестяной кружкой он обносил самогоном всех. Алешка заломил руки за шею; рукава ситцевой рубахи сползли к локтям, обнажив белые крепкие руки, широко расставил стоптанные сапоги, кулацкие обноски, ждал: позовут или не позовут? Потом снял с себя ремень и, сложив его вдвое, стал метать камни. Ремень развертывался и хлопал, камень, свистя, улетал вверх и глухим коротким звуком посреди Ангары напоминал о себе.

— Пей, Алеха!

Парень будто не слышит, ремень, снова щелкнув, развертывается во всю длину, камень поет, чмокается с волной.

«Что ж хозяин не зовет?» — думал Алешка.

— Ну, просят — садись, чего ломаешься, — примиряюще кричит Кешка. — Пей, а то, слышишь, девки запели — яйца съели, к ним надо.

Алешка взял кружку, разом, не морщась, выпил до дна, взял со скатерти корку хлеба и зеленого луку — яиц его на столе нет, да и охота пуще захмелеть, чтобы стыд долой, чтобы забыть обо всем, выйти в круг и выкинуть такие колена, от которых парни схватились бы за животы, а девки попрятались в кусты.

На верхнем уступе горы заиграла гармонь. Ее заливчатые голоса плавают над Ангарой, над островом, умолкают, затаившись в кустах, вновь взмывают и парят, парят в воздухе. А с горы, сшибая пахучую богородскую траву, скользя сапогами по сухим сосновым шишкам сходят парни-фронтовики. Пьяным ломким голосом подхватили «Подгорную».

Ангара-река глубока,
Кину голову туда.

— Доедай, ребята, и к большому камню, — крикнул Петька.

Он свернул скатерть, и сунув ее в корзинку, бросил все под куст. У камня, похожего на диван, стеной стоят силинские и поповские парни. Тункинские и бурлевские становятся стеной против. Только девки не знают вражды, сгрудившись, сидят на траве.

Устя Ярина кружится в восьмерке. В серых глазах озорство. Она выбивает желтыми ботинками дробь и, склонив красивую голову к плечу, подхватывает подруг, легко кружась и подпевая:

Через быстру реченьку
Подай миленок, рученьку.
Через тоненький лесок
Подай, миленок, голосок.

Устя ласково поглядывает на Кешку. Тот, прихлопывая руками, высоко и звонко подхватывает частушку:

Ой, девки, беда:
Балалайка худа.
Надо денег накопить —
Балалаечку купить.

— Ух! и-их! — взвизгивает Кешка. В круг входит Алешка Чуб. Девки всполошились, разбежались по сторонам.

— Фулиганить опять!

— Фу, срам смотреть!

Алешка машет широкими рукавами, вызывая девок в хоровод, те не идут, толпятся поодаль. Тогда он силой выталкивает одну. Девушка, стыдливо закрыв лицо, закружилась, а Алешка поднял свои белесые брови, взбил светлый чуб и, смущая плясунью озорным взглядом, запел:

Пошла плясать,
Дома нечего кусать.
Сухари да корочки,
На ногах опорочки.

И лихо ковырнул траву носком старого сапога, — пошел метать землю из-под себя. Потом близко наклонившись к лицу девушки, он подмигнул ей, даже потянулся влажными губами к ее губам, но вдруг отвернулся и вызвал плясать другую.

— Ай и Чуб, а ведь рукава-то обжеваны!

— Побереги подошвы, Рыжик. Троха других сапог не даст!

— Ничего! Троица один раз в году, — кричит вспотевший и запыхавшийся Чуб и, продолжая озоровать, хлопает ладошей по спине замешкавшейся плясунье. Потом он, едва переведя дыхание, шепчет Петьке:

— Богатеи Тунку бить собираются.

— Ты за хозяина, небось? — спрашивает тот.

— За вас, за Тунку. На кой мне черт Кешка нужен?

С некоторых пор у Петьки Ярина пропало желание заводить драки и, пожалуй, с тех пор, как Кешка стал гулять с сестрой. С кем же, кроме этого забияки и драчуна, остается теперь драться из поповских? Не с кем. Остальных на один кулак смотать можно. Кешка и сам изменил отношение к Петьке и однажды пьяный назвал его шурином.

— Драться сегодня не будем, — сказал Чубу Петька и, сплюнув в сторону, прищуренными глазами посмотрел вокруг. Его по-

чему-то привлекал незнакомец, стоявший поодаль. Несильный на вид, он был выше парней и отличался от них какой-то строгой подтянутостью. Судя по одежде, можно было догадаться, что пришел он сюда на троицу не праздновать, парень заметно стеснялся коротких рукавов своей синей блузы и, будто вспомнив, прятал темные кисти рук в карманы засаленных брюк. Воротник черной косоворотки был слишком просторным для суховатой его шеи. Черные волосы, аккуратно подстриженные под польку, раскололись на две стороны и на лбу завернулись рожками. Незнакомец глядел на игрище с крайним любопытством. Улыбка удивления и удовольствия гуляла на его лице, светилась в прищуренных и насмешливых глазах.

— Чей это? — спросил Петька у Чуба.

— Первый раз вижу. Городской будто.

Парень постоял с минуту, скромно улыбнулся, заметив пристальные взгляды и, закинув руки за спину, пошел к реке.

— А ну-ка, узнай, кто таков, — крикнул Петька, — кулаки чешутся, а заречных бить не хочу. Может, этому всыпать?

— Один миг! — и Чуб, таинственно подмигнув, скрылся за обрывом.

2

На берегу незнакомый парень подошел к Ганьке, братишке Петра. Тот держал в руках не по росту длинное удилище и не сводил глаз с поплавка.

— Ну, как ловится? — спросил незнакомец Ганьку.

Мальчишка посмотрел на него, нахмурил брови и отвернулся.

— Клюет, спрашиваю?

— Клюет, а тебе-то что?

— У, какой сердитый! — весело произнес парень. — Дай я поужу.

— Поучиться прежде надо.

— Я умею, — приставал парень.

— Ну, дай, дай ему, увидим, какой из него рыбак, — стоя на камне, сказал Алешка Чуб.

Парень оглянулся на Чуба, взял у мальчишки удилище, осмотрел снасть и захохотал:

— На такую удочку ты и малявку не поймаешь! Эх, рыбачок!

Парень оборвал крючок и, вынув из кармана блузы банку, долго рылся в ней наконец сказал:

— Попробуем вот на эту, — и искусно привязал к поводку желтенькую мушку с бронзовыми усиками.

Затем привычно взмахнул удилищем, предупредил Алешку:

— Отойди-ка подальше, зацеплю, как налима.

Алешке понравился парень. Он спрыгнул с камня, с силой пустил по воде голышок, а затем, не утерпев, подошел к незнакомцу.

— Откуда, слышь, не из города?

— Вишь, неспокойный какой, — ответил тот. — Камень-то зачем бросил? А еще на Ангаре живешь. Эх!

— Ладно, не буду. А чей ты?

— Говорить нельзя. Сам знаешь, — приглушенно сказал он, — рыба боится шума. Ага, смотри, клюнуло.

Незнакомец вел к берегу крупного хариуса, который, серебристо блестя на солнце, всплывал, но упирался. Тогда парень чуть отпускал лесу и шел вниз по берегу. Когда рыба была у берега, Алешка не вытерпел, забрел в воду и, загребая обеими руками, выбросил хариуса на сушу.

— Дома скажи — сам поймал. Скажешь?

— А зачем мне врать?

— Молодец! Врать не надо, а ты вот сейчас и сам поймаешь, бери-ка удочку.

Поправив настрой и обдув мушку, парень передал удилище Ганьке.

— Ловко ты, брат! Раз и готово. Мастак! — сказал Чуб.

— Умею малость. А что у вас троица всегда такая веселая?

— Кому как.

— А тебе? Ты-то выпил?

«Какой прыткий», — подумал Чуб.

— Подали, — ответил он, почесывая затылок.

— Подали? Надо свое пить.

Это обидело Алешку, но не рассердило.

— А коли своего нет, тогда как?

— Нет, так не пить.

Алешка вздохнул. Парень всплеснул руками.

— Зарობленные! «Подали»! Не понимаю. Заработал — твое, ты сам можешь кого угодно угостить. Ну, вот, например, меня.

Парень захохотал и Алешка захохотал.

Ганька тащил хариуса, беспокойно топчась, удилище упер в брюхо.

— Вот видишь — наука впрок пошла. Тащи смелее — не оборвет, — поучал его незнакомец. — Этот небольшой. А у берега полегше, снимай с крючка, да и на кукан. Вечером уху придем есть. Хорошо?

— Ну и что? Приходи.

— Так говоришь в работниках? У кого? — обратился вновь парень к Алешке.

— Не знаешь ты, у Трофима.

— У Сопова? За сколько подрядился?

— За пару вороных. Ха-ха! А как ты знаешь Троху-то? Чего не скажешь — откуда? кто ты? — приставал Алешка.

— Вот пристал. Легче тебе будет? С железной дороги я. Ну, еще! Кочегар. Вашу гору, как вы ее зовете — Камчатник? часто вижу с паровоза. Все охота было побывать — красива она у вас. Думаю, эх и весело там жить! Приехал — и вправду весело. Пляшут, поют, дерутся. Дерутся ведь? То-то. Красивый уголок, черт возьми, этот Камчатник ваш. Охота взобраться вон под самую щетку леса, выше этого каменного лба, да посмотреть на свою железку.

— Давай заберемся, — подхватил Чуб.

— А девки? Да и подадут тебе еще поди, — шутил городской.

— Ну их, полезли!

Они почти бегом забежали на первый уступ, отдышались, — и торопко — на второй. В гору лезли, опираясь на палки. По каменистой тропе поднялись на вершину и, тяжело переводя дыхание, сели.

— Высоконько, черт возьми, — радостно произнес городской.

— А вон и железка твоя, поезд тащится.

— Где? — схватил Алешкину руку парень. — Ведь и верно, вон как по лесу навинчивает. Ух, как летит!

И с лица парня долго не сходит улыбка. А внизу шевелится маленький голубой комочек, взмахивая удилищем. Мелькает яркая одежда парней и девок, слышится гомон, взвизгивает гармонь.

— Весело живете, радостнее нашего. У нас ныне не особо весело. Как тебя? Алексей? Да, Алеша, не до жиру нам, быть бы живу. Продукты все дороги — не подступись.

— Не менять ли что принес? — поинтересовался Чуб.

Парень посвистал тихо, не ответил, а Алешка подумал: «Тоже, брат, житьишко-то, хоть и храбришься».

Как-то неожиданно парень спросил:

— Не покажешь, где у вас живет Ветлов Иван?

— Ветлов? — удивленно переспросил Чуб. — А тебе он зачем?

— Знакомый, дружок отцов. Говорят, с фронта вернулся, а к нам и ноги не кажет.

Чуб показал под гору, где тесной грядкой, прислонившись друг к другу, на берегу стояли несколько землянок.

— Вот первая с краю землянка, там и живет Ветлов. Тут у нас самые что ни на есть «богатеи» проживают. Смотри, на березовом тыну флаги-то вьются. Это они онучи да пеленки сушат. Иван-то Ветлов большаком объявился. Ха! Штаны продраны, в заплатах, рубаха с плеч слезает. Картуз распорот. Из доброго-то всего-навсего березовая деревяга вместо ноги. О нем даже песня есть, о Ветлове.

У Ванюхи-большака
Ни коровы, ни телка.
Под заплатами блоха,
Вошь под ошкуром лиха. Ха!

Парень посмотрел на Чуба, покачал головой.

— Над кем смеешься? Ты богаче?

— Ничего, Троха обует и оденет. Да ты куда? — крикнул Чуб, когда увидел, что парень решительно встал и, цепляясь за камни, стал спускаться вниз.

— Ивана ведь сейчас дома нет. Давеча он вниз уплыл, на рыбалку. Теперь скоро не жди.

Парень снова присел подле Чуба, глаза его погрустнели.

— Значит, плохи дела его. Без ноги, говоришь, вернулся. Да?

Они пошли по склону горы к деревне. Внизу из березняка выбежала стайка девок. В руках одной — березка. На зеленом деревце, растопырив рукава, как огородное чучело, висела белая кофта. Девки кружились в хороводе и медленно уплывали к селу.

Некому березку заломати,
Некому кудряву завивати.
Люли-люли заломати,
Люли-люли завивати.

— Ну так ладно, Алеша, — сказал городской, когда они вошли в деревню, — будем знакомы. Меня звать Федором. Федор Шульга, значит. Верно, я принес кое-что обменять на хлеб, на картошку, да... поди сыты ваши Трофимы?

— Кое-кто понажился — это верно. За войну Троха шибко сундуки набил. Не горюй, и твое барахлишко функты найдет.

3

Федор до вечера ходил по селу, стеснительно предлагая обноски. Бабы лениво подходили к нему, брезгливо скосив губы, растягивали поношенные отцовы брюки, материну кофту, юбку, шарфик. Федор краснел, когда у него спрашивали цену.

— Сколько дадите, — говорил он.

Бабы грызли орехи, щурили глаза на статного черноволосого паренька, озорно замечали:

— Брось-ка ты свое барахлишко вон хоть к нам на поветь да иди к девкам, у нас их на

каждой улице по дюжине, а парней нет.

— Варвара, а мы што, хуже девок-то? Смотри, какие гладкие да сытые.

— Куда он тебе такой поджарый. Слаб он до тебя, ему вон только с девками.

В Тунке самое большое игрище. Девки здесь в два круга пляшут восьмерку. Немного поодаль от них, за грудой бревен, неловко кружатся девочки-подростки, ребятишки бегают вокруг них, получая затрещины. Парни нарядными снегирями сидят на бревнах. Только чубатый Кешка Чак стрижом порхает среди девок, подхватывает одну, другую, кружится, широко раздувается подол его голубой рубахи. Ремень у него для форса захлестнут через плечо, с лица катится пот, ноздри короткого носа расширены, на лопатках темные пятна.

Федор присел на конец бревна. Ганька тут как тут. Он весело сверкает глазами.

— Фартовый ты, паря. Как ушел, так уж я начал таскать, аж не успевал на кукан рыбу сажать. Ей-богу! Вот Ванька не даст соврать. Хошь, покажу, — и Ганька понесся, сверкая голыми пятками. Вот он уж снова выскочил из ворот, в руках ведро — едва тащит. Принес, стер рукавом новой рубахи пот с лица и выпалил:

— Глянь-ка, ельцов вовсе мало, все хариус. Вот этого ты поймал. Он всех больше. Тут еще не все, мама жарить взяла. Хошь — угощу!

— А отец не попрет такого гостя? — сказал Федор.

— Тятя-то? Нет, он у нас добрый.

Сидевший рядом Алешка Чуб посоветовал:

— Ступай. Василий Ярин — хозяин хлебосольный. Да живее приходи, я тебе такую девку сосватаю!

Когда Федор с Ганькой вошли в избу, лысый старик Василий Ярин бросил взгляд на незнакомого гостя и догадливо улыбнулся.

— Не этот ли твой учитель, Ганька?

— Ага, тятя!

— Ну, сади его за стол, угощай, чем бог послал. Мать, дай-ка сюда бутылочку.

В избе пахло парным молоком, щами, свежим хлебом, в тарелках на столе были румяные пирожки, рыба, в большой эмалированной чашке — щи. За столом лестницей сыновья: Петька, Ганька, Гошка, Лешка. Самый младший, не обращая внимания на гостя, изображал из себя коня: он спрятал руки за спину и тянулся пухлыми губами к картошке, лежавшей у кромки стола горкой.

Федор сразу вспомнил своего младшего брата, который, наверное, ждет сейчас его с картошкой, с хлебом, а он тут сам еще крошки во рту не держал. Ганька вынес из передней стул и поставил к столу.

— Садись с нами щи хлебать.

— Так ведь я уху пришел пробовать, — как бы шутя сказал Федор и покраснел.

— Уху завтра варить будем, завтра и пробовать приходи, — сказал Василий.

Федор решительно сбросил узелок с коленей, подсел к столу. Самогон обжег горло, желудок. Не успел он хлебнуть две ложки щей, как в лицо ударил жар, выступил пот, тело ослабло.

— У, как тебя рюмка-то развезла! Слабенек! Да и откуда силе? У вас теперь все в полбрюха да недосыта. Вчера посадили в весла одного вашего городского. С виду ладный парень, а махнул раз, махнул два и едва дух переводит. А сперва хвалился: «Машинист я». Еще выпьешь?

Федор отказался. Слабость, волной пришедшая, схлынула, он ел все, что подкладывал хозяин, и отяжелевший вылез из-за стола.

Старая Татьяна проводила его недобрым взглядом, и спросила, когда парень, поблагодарив, сел к углу.

— Не крестишься?

— Нет, отвык, хозяйка.

— И где это вы моду такую взяли? — ударила она себя по коленям. — Ох, гневите бога, ох, гневите, не к добру.

Федор чувствовал на себе гневный взгляд хозяйки и думал: «Эх, не сообразил!»

Было смешно и непривычно видеть, как ребятишки один за другим выскакивали из-за стола, торопливо повертывались к маленькой иконке на стене, заносили руку для креста, поспешно молились и исчезали в дверях. Из передней вышел парень в синей сатиновой рубашке. Днем Федор видел его в розовой. Не бедно живут.

— Пойдешь, городской, на игрище? — Федор почувствовал, как сильная рука Петра, положенная на плечо, перебирает его кости. — Или спать хочешь? Так залезай на сеновал. Дело твое такое, брат.

— А какое мое дело? — возразил Федор.

— А такое, что не до девок.

Федор посмотрел на хозяев, смущенно опустил глаза, потом невеселым взглядом проводил Петра, загородившего на миг собою дверь, а когда за ним стукнула калитка, спросил:

— Старший?

— Нет, старше годком дочка. Сынок был, Никита, полный кавалер. Убит. Второй год

уже пошел...— с дрожью в голосе произнес он.

Федор слышал, как в передней хлопал ящик, шумело платье. Старик продолжал:

— В городе дочка живет, в стряпках на постоялом дворе, на праздник к нам приехала. А ты чей будешь?

Бросив короткий взгляд на гостя, шумя юбкой, пробежала девушка.

— Я Шульги Ивана, с Иннокентьевской.

— С первой улицы? Каторжанин-то? Знаю. Дров ему возил, чай пивал у него, уважительный был человек, а тебя не видел.— Старик замолчал, чмокнул губами, почесал лысину, еще раз посмотрел на парня.

— Кажи, что у тебя в узле.

«Этот купит», — подумал Федор и вынул отцовы брюки.

— Ну, эти не пойдут: гачи на выпуск, а нынче к галифам большая тяга. Наш вон, видел, какие выменял в городе у кавалериста, Ангару закроет, ха-ха!

— Себе возьмите,— уговаривал Федор.

— На выпуск-то? С ума спятил, парень.

— Ну, вот кофта, юбка.

— Это другой коленкор. Не старой бы моды, а то Усте возьму. Она у меня, ух, щеголиха, насмотрелась в городе разных фасонов — беда. То ей дай, другое купи, а у меня сопливых полна лавка — видал?

Федор заметил, что старику приятно говорить о дочери. Черную шерстяную юбку, хоть длинна, и белую шелковую кофту взял. Пригласил с собой в амбар. В мешочек, который Федор предусмотрительно взял с собой, высыпал три совка, прикинул на безмене — десять фунтов.

— Хватит?

Федор пожал плечами, посмотрел на мешки, на сусеки зерна.

— Больше никто, парень, не даст. Ну, вот еще за чай отцу. Хороший человек был,— и хозяин поддел совок, стряхнул с него половину и высыпал в мешок.

4

От мычания коров, от скрипа колодцев, от пиликания гармоник во всех концах села, от пьяных голосов, от песен — сплошной гул. Он повис над селом, прижатый тяжелыми хлопьями облаков. Федор и Василий Ярин сидят на крыльце. Старик расстегнул рубаху, почесывает белую безволосую грудь.

— Велика наша амперия, — чмокнув губами и зевнув, говорит Василий.— Говорят в Петербурхе революция, переворот властей, а у нас тут никак не значится. Война вот только. Людей губит, а так жили мирно и живем мирно. Нас никто не трогает, мы никого. И никаких революциев не ждем. Российские — оно другое дело. А тут? Зачем переворачивать? Вот я бы вздумал свою избенку перебрать. С братом рубил тридцать лет назад. Раскатал бы по бревнышку, начал собирать, глядь — тут подгнило, там плохо, вези бревен, моху, пили тес — разорение! А так не трогай, не переворачивай — стоять ей еще сто лет. Да.

Старик хитро сощурил глаза, захохотал тоненько.

— Вот вам, верно, хуже, туговато, да: в деньги веры мало. Давай натурой, а какая ваша натура? Последние штаны?

Федор слушал старика, молчал. Оттого, что променял вещи, на душе было спокойно. Его клонило спать. За тесовыми воротами шум, суета. Пьяные голоса то и дело слышатся то рядом, то издали.

— Вы о перевороте сказали складно, да только неверно, — заметил Федор.

— А твоя вера какая? — передернулся, взъерошился старик.

— Дому нужен ремонт. Гнилушки к чертям, теплее будет в нем, а?

— Так-то оно так, парень, а беспокойство, а заботы? Ты думаешь, эти перевороты не ударят по карману? Уж и теперь в городе того нет, другого нет. Вот и открывай коммерцию, находи друзей, а эта дружба вот она где у меня, — Василий большим кривым пальцем постучал себе по горбу.

— На днях обратился к одному такому другу железа на сошники достать — пуд пшеницы. А этому железу в доброе время цена гривенник.

Федор оглядел тесный двор Василия — баня, сарай, амбар, скотные дворы окружили маленький клочок земли, силятся его задушить.

— Хорошо живете. Не все, хозяин, так живут, как вы, — сказал Федор.

— Есть лучше, чего и говорить.

— А хуже есть?

— Хуже? А без лентяев да дураков не будет и добрых мужиков. Где зерно, там и мякина, парень. Далеко не пойдем — напротив живет Гришка Бунчиков — Закатай нос, так его кличут. Живет зимой без дров, летом без травы. Май вот кончился, а его Сивка-бурка все на веревках под сараем висит. Загляни-ка завтра. Через забор — другие лентяи Вознесенские. Пять братьев, один другого здоровше. Земли сколько хошь — паши, а они на Ангару-матушку понадеялись, целыми неделями берега обивают. Ангара — она не мать, а мачеха. А вот через другой забор —

Роидины — дальняя родня, при одной кляче пять лбов, один машет, другой пашет, третий вожжи подает. Хлебишка — ни в горсть, ни в сноп.

— А у вас сколько коней?

— Слава богу, два, да в табуне жеребчик по третьему году, коровка, свиньи вон. Все вишь надо, хозяйство!

— А ведь тоже четыре сына — мало?

Старика это задело.

— Ну да уж не при одной кляче. Да и кони — я те дам!

Где-то среди шума-гама звякнуло стекло. Старик насторожился.

— Вот уж не люблю этих драк. Татьяна! — крикнул он в окно. — Узнай-ка, где Петруха, не ввязался бы в драку.

Но в это время калитка широко распахнулась. В вечерней полутьме выросла могучая фигура Алешки Чуба.

— Где тут городской?

— А перед тобой кто? Или не тот?

Алешка пригляделся, узнав, улыбнулся, тяжело присел на нижнюю ступеньку крыльца.

— Вот что, городской, пришел я к тебе жаловаться. Видишь — к едрене-фене, — он потряс рукой, на которой болтался почти совсем оторванный рукав. — А я хозяину новую рубаху пополам.

— Что у вас с ним? — спросил Василий.

— А то, что запретил на игрище сидеть. Иди, говорит, и не грязни места. Я говорю: «Что, я грязню место? Повтори-ка!» Он пятится и одно: «грязнишь!» Я его и тяпнул по носу. Петруха ваш за него заступился, я и его тяпнул.

— Петруху! — соскочил старик с места.

— Да, Петруху!

— Ах ты, подлец!

— Стой, дядя Василий, не до конца сказал. Они выломали колья и на меня. Кешкинто я выхватил да в огород забросил. А Петруха — тот смотри-ка, что сделал?

— Ну и поделом! — успокоенно крякнув, сел старик.

Алешка развернул копну волос — голова была залита кровью.

— За что? — взревел Алешка. Обнял Федора и заплакал, обдавая его винным перегаром.

— Вот-вот, пожалуйся, штаны тебе подарит, хе-хе-хе! — злорадно засмеялся Василий и пошел в избу.

Федор посмотрел вслед старику и покачал головой. Алешка бешено бросился к калитке.

— Нну, берегитесь!

5

Ночью пошел тихий дождь, и смолкли песни, звуки гармони, гомон. Под длинными концами крыши, у колодца, сидят Устя и Кешка Чак. Слышно, как на дворе Василия, тяжко вздыхая, жуют жвачку коровы, а на сеновале возятся мыши.

— Бросай, Устя, город. Я тебе говорю бросай, — приглушал Кешка голос до шепота. — Сейчас посватаю, а осенью женюсь.

— А если обманешь? — Устя смеется простодушно.

— Заживем, Устя, хорошо. Отец, знаешь, как живет? Половину отдаст, ей-богу. Да и сам я привез с приисков немало.

— А то много? — пытает Устя.

— Я-то! Эх, Устя, всю деревню прокормлю.

— Ну и взял бы вон Грихе Бунчикову дал, Роидиным, Гурьяку. Дашь?

Кешка знает норовистый, вольный характер Усти и тихо смеется.

— Сказать тебе, сколько привез?

— Для отца секрет сбереги. А я ведь не жена.

— Десять тысяч! А? — Кешка заглядывает в лицо Усте. — Мало? Да еще самородками, да россыпью.

Он сунул руку в карман.

— Держи-ка.

В руку Усти упал тяжелый угловатый самородок, такой тяжелый, словно кто на него давит сверху.

— Это тебе, Устя, бери.

— Мне-то зачем?

— А платьев купишь, башмаки, пальто-сак.

Тяжелый самородок в сжатом кулаке колет ладонь, пальцы, на миг это приятное ощущение туманит голову, питает какими-то неясными надеждами, но Устя решительно берет широкую руку Кешки.

— Возьми, Кена, не надо мне, ты добывал, ты ему и хозяин.

Но Кешка руку отстранил.

— И ты будешь хозяйка.

— На воде вилами писано, — и опять озорно хохочет.

— Завтра же к дяде Василию пойду. Скажу — сватать пришел.

— Отдай-ка самородок-то ему — он живо согласится. Ух, жадный!

— Не смейся, Устя, я ведь всурьез.

— И я не шучу.

Дождь, посыпавший с черного неба, гулко застучал по крыше и по лужам. Холодок про-

никал под легкую кофту Усти, она вздрогнула. Кешка потянулся к ней.

— Эх, как я стосковался по тебе.

— И кто же целый день шары-то пялил на меня, от девок стыдно!

— Где бы только не пришлось быть — везде думал о тебе. Бывало, сидишь в шахте, ешь — наверх пожрать некогда вылезти, и думаешь: «Где Подкаменная моя, Ангара-река глыбока, где моя зазноба?» Эх, полгода, как черт, работал. Скопил деньжонок, золотишка, рассчитался — и домой. Раз проснулся на пароходе на Киренге, хвать — ничего нет, с потрохами вырезали. Скрипнул зубами, погоревал и назад катнул. Злее стал, хитрее.

Не стал Кешка рассказывать, что с ним дальше было. В шахту он больше не полез. Знал, что золото лежит и в карманах. Нашел он ухаря дружка и в глухой тайге ухлопал с ним китайца-старателя.

— Рассказывай, Кеша, рассказывай, — вернула Устя Кешку от воспоминаний.

— Ну, это само, заробил опять денег, и порешили мы с дружком бежать. А кто бежит — тому дорога не торна. Месяц шли тайгой, весна пришла. Наткнулись на речонку— бурлит, кипит, а знаем — она и нужна нам: на ней, душегубке, наш брат-прискатель, не мало сложил буйных голов. Сколотили плот, и пошел он летать от утеса к утесу. Как только бог проносил нас меж камней да скал! И так не одну сотню верст отмахали. Раз уснули, а проснулись в воде, и плот наш по бревну разнесло. Я метнулся к правому берегу, он к левому. Выгадал я, выплыл, отдышался, смотрю — не видать товаришка.

Страшновато показалось одному, успокаиваю себя: река большая скоро, а там и на пароход — и дома. Шел берегом, нашел шапку, рукавицы, а потом и самого дружка: в кустах он застрял. Тут же и груз выбросило. Еле-еле выбрался из гиблых мест.

— А с Митей ты от самых приисков?

— Нет. С Митькой в Качуге повстречались.

Металл в кулаке Усти согрелся, обжигал руку, сама же она тряслась то ли от холода, то ли от рассказа Кешки.

— Кена, а ведь что говорят на селе, будто это ты Митю-то... — у Усти даже перехватило горло.

— Э, враки все. Пьяные были. Лодка перевернулась. Ну и... — не закончил Кешка.

Дождь перестал. В небе рассыпались звезды, светила луна. На Ангаре из-за Камчатника вышли огни и медленно-медленно крались от его черной тени — это пароход, натужно вздыхая и издавая чуть слышный стон, тащился из низовий к городу.

— Ох, поздно, Кена. Пора. — А когда Устя поднялась, Кешка сказал:

— Все это, Устя, между нами.

— Нет, вот возьму и раззвоню.

Устя пожала холодную и цепкую руку Кешки, в другую положила теплый и тяжелый комочек и торопливо заскочила в калитку, тихо прошла по двору. Огромный серый пес Лапка вылез и, зевнув, потянулся длинным телом, взвыл, ожидая ласки, и обиженный полез обратно в гнездо. Устя легко забралась на сенник. Здесь ли Петр? Нащупала постель — здесь. Осторожно, чтобы не разбудить брата, подняла конец одеяла, подлезла под него и прислушалась к дыханию Петра — спит. Сама Устя долго не могла заснуть. На заре увидела сон: Кешка плывет по реке, лицо испугано, страшно, он зовет ее и вдруг тонет, скрывается под водой. Всхлипывая, Устя проснулась — уже светло. Рядом с ней, разметав худые руки и открыв рот, спал вчерашний гость. Как ужаленная, вскочила Устя с постели, застучали доски сеновала под ее ногами; трясясь, сбежала вниз, забила кулаками в сени.

— Да ты с ума сошла что ли, девка? — встретила ее перепуганная мать.

— Открой, мама, озябла, холодно на сеновале.

Прижалась к матери и долго еще не могла заснуть, смеясь над тем, что ночь проспала с незнакомым парнем.

6

Федор вздрогнул и проснулся.

— Эй, городской, хватит валяться. Ведь ухи хотел отведать — вставай.

Устя стояла на лестнице, и видна была голова, поднятые руки, которыми она поправляла косы.

— Быстро, быстро. Ведь уха перепреет.

«Похоже в гостях, — подумал Федор про себя и отбросил одеяло. Было прохладно. На сеновал солнце бросало косой луч. В луче бились пылинки. Тревожно щебеча, сквозь сноп света пролетела ласточка. Пели петухи, гоготали гуси, во дворе неистово визжала свинья, окруженная десятком розовых поросят. Рядом за стенкой скрипел колодец, и около него судачили о вчерашнем дне бабы.

Второй день Троицы начинался ярко, солнечно, весело. Один Федор не радовался, праздник не для него. Вспомнил опять семью, братишку Андрюшку, сестренку Варю. Он — один работник в семье. Вот он работник: жи-

вет второй день в деревне и не может променять штанов, будь они прокляты.

Деревня ему не нравилась, вся в косых переулках, дома есть новые, а вокруг такие высокие заборы, словно за ними сидят хищные звери. Вот Камчатник — да! Федор едва пробрался по грязному двору, в окне увидел Устю, она улыбнулась, а у двери избы встретила с полотенцем и водой. Молчать было неудобно, и он спросил:

— В достатке живете, а что же вас заставляет в городе в стряпках горе мыкать?

— Тятя все, — кивнув в избу, тихо сказала она, — третий год в людях, пять рублей платят, и все он берет.

— Где же веселее?

— Мне везде весело. У них там скучать-то когда? Гости каждый день, стряпай знай.

Из избы крикнул отец:

— Устя, ты что баснями своими кормить хочешь? Зови-ка того.

Федор понимает значение слова: «того»: не знаю имени, да и знать не хочу. Неужели в этом приглашении к завтраку заключена какая-то хитрость? Хозяин, встречая, крякает, чешет лысину, глуповато улыбается и чмокает губами.

— Старая, по рюмочке бы нам.

Татьяна косо смотрит на нехристя, нехотя идет в переднюю. Сердито там стучит в шкафу, рывком подает бутылку и, подперев щеку ладонью, торопясь, пьет чай — ей не глянется этот гость.

Федор отказался от самогона, выхлебал чашку ухи и, поблагодарив за ночлег и угощение, вышел.

На крыльце его остановил Василий.

— Ты вот что, парень, сошники у меня, того, поистерлись. Железа бы, а, не смекнешь?

— Железа, а какого? — спросил Федор.

— Эх, ведь не пахивал, как тебе втолковать.

Через минуту он выскочил из сеней с сошником.

— Вот такого бы.

Федор вспомнил: дома под сараем лежит вагонная рессора.

— Такое найдем, будет железо.

— Вот и поладили, парень, да как тебя звать-то?

— Федор.

— Петро, вот Федор железа обещает, съезди-ка на днях да возьми.

— Вы брюки-то взяли бы. Вам они подойдут, — вовремя напомнил Федор.

— И то верно, давай их.

7

Теперь в мешочке муки с пуд. Федор сейчас улетел бы домой, но перебраться на ту сторону реки можно только под вечер. Он занес мешочек в избу и от нечего делать вышел на улицу.

На срубе, начатом Вознесенским три года тому назад и все имевшем лишь три венца, сидели парни и мужики, играли в лото. Кешка Чак, посверкивая белыми зубами, бренчал в мешке кубиками, тряс их и лихо выкрикивал:

— «Вороновы ноги!» «Два стульчика!» «Как свиньи спят!» «Закатай нос — Гриха Бунчиков», «Гурьяк Косой», «Ангара-река глыбока»!

Федор плохо разбирался в названиях цифр, но видел с какой серьезностью мужики закрывали клетки с числами.

— «Гриха Бунчиков» кватеру дал!

— А сам на заимку?

И Кешка, тряся мешок, грохотал бочатами, в золотой его рубахе гуляло солнце, плисовые шаровары, как юбка, разостлались на бревне.

— «Очко»! «Лысый Василий»! «Дедушка»!

Гришу Бунчикова упоминал Кешка раз пять. Звались какие-то цифры и именем его Аксиньи и бунчиковыми воротами, и гришкиными катанками. Кешка метнул хищный взгляд на Федора, хохотнул и крикнул:

— Городская вошь, куда ползешь?

— А это что за цифра? — кто-то нетерпеливо спросил.

— Единица — понял? — и опять косо посмотрел на Федора, которому ничего не оставалось, как под хохот мужиков шагать вдоль села.

Разгорался второй день троицы. Мимо Федора прошел парень в синей рубахе. В открытых воротах блеснул голубой платок девушки. В переулке парни играли в городки. С засученными рукавами они изо всей мочи бросали палки, которые ударялись о землю и городки, и сухо звенели.

— Федя!

«Кто бы это?» — подумал Федор и оглянулся.

На двух конях, запряженных в телегу и в плужный передок, ехал Алешка Чуб. Федор его не сразу узнал. Глаз и голова были перевязаны красным платком, он был в той же ситцевой рубахе в горошек, на ногах были старые ичиги с потертыми и залатанными голенищами.

— Не узнаешь?

— Вот тебе и троица, Алексей!

— Да, будь она неладная, — добродушно сказал Чуб. — Садись, прокачу на чужих вороных.

Промелькнули последние дома: справа и слева начались огороды, картофель зелено топорщился крепкими ветками. Конь отфыркивался, возбужденный бегом.

— Смотри, ни одной собаки в огородах нет, — сказал Чуб.

— Понятно, а я, мол, вот еду работать. Так?

— Да вроде так, Федя. Не охота, так бы вот вожжи и бросил куда попало.

— Послал-то сам?

— Нет, Кешка — гад. Я еще в завозне спал, а он уже над душой стоит: «Марш на заимку!» За рубашку мстит. Я им напашу сегодня! Коней на остров сгоню, а сам храпака задам.

— Прогонят.

— Пусть гонят, того и хочу. Надоело! Да и Кешка — собака. Месяц как вернулся с приисков, а ровно год тебя тиранит. В тузы полез. А старик-то как разошелся: «Лавку в городе открою!» И откроет, верно. А мне у них не жить, хоть и родней прозываются. Тоскливо как-то у богатства этого онучками трясти.

— А куда пойдешь?

— Филипп переманивает. И к тому не пойду. Все равно что сменять волка на рысь. Вольную бы работу какую. Возьми меня, Федя, в город, на дорогу кочегаром. Ух, летели бы мы с тобой мимо Камчатника. Паровоз гудит — Камчатник вершинами сосен кланяется. Здорово!

— Работы нет, Алеша. Сам вот побаиваюсь, как бы не уволили.

Федор, помолчав, спросил:

— Сколько лет работаешь у Трохи?

— Десять уже годов.

— А условия какие?

— Это что такое?

— Ну, сколько он платит тебе в год?

— Сперва жил лишь бы кормили. А вот уже года три уговор имею с Трохой: к Илье-дню подай одно, а к Покрову другое.

— Что ж он тебе обещал к Илье-дню?

— Чирки со старыми голяшками, два пуда муки, рубаху сатиновую — синюю али голубую.

— И за это полгода надо трубить? Ловко они нас обдуривают. Ну, а дочки у Трохи нет?

— Дочери нет, Кешка один, а что?

— Так ведь если ты умеешь лизать пятки, то и дочь, кабы была за тебя выдал бы.

Алешка вздохнул.

— Кешка, вот все мое горе теперь.

— Горе да ненадолго.

— Это как так?

— Эх ты, Алеша, Алеша. Пошто? Да как, да почему? Как малое дите. Ну, ничего, скоро все поймешь. У нас, брат, в поселке такая заваруха. Ух, все стало ребром. Митинги, ораторы, милиция своя рабочая, суд свой рабочий. Нашим трохам туго приходится. На днях к нам в депо эдакий пузан явился. На тендер залез, сорокой крутится. «Все для войны, все для победы. Грузите, возите!» Кто ты думаешь такой? Хозяин кожзавода. Стащили его с тендера да вон из депо. Вот как.

— Весело у вас — зачем к нам пришли?

— За хлебом, — твердо ответил Федор. — За хлебом. Голодно!.. Жрать нечего. Пока власть не завоевали, штаны менять будем. А потом сами к вашим трохам пожалуем и скажем: давай хлеба или душа из тебя вон. По-рабочему! Ясно! Ты что на меня так смотришь?

— Да, — вздохнул Чуб, — ведь и Троха про свободу эту толкует, да только как поставлю себя рядом с ним — ни одинака нам свобода с ним нужна. Ему одна, мне другая.

— Какая же тебе нужна? — наклонился к нему Федор.

У Чуба вздрогнули брови, он мотнул головой на Карьку.

— А такая, чтобы Карька мой был, потому — я его растил, поил, кормил — вот.

Федор обнял Чуба за плечи.

— Такая и нам нужна, чтобы заводы и фабрики были рабочих. Не мои, нет, а всех рабочих. И чтобы мы имели все законы в руках, власть то есть имели свою крепкую над богатыми. Понятно, Алеша?

Чуб молчал, растроганный смелыми словами Федора, опять удивленно посмотрел на него, а тот уже соскочил с телеги.

— Ну, прощай, Алеша!

Чуб было задержал коня, хотел что-то сказать, но передумал, дернул вожжами и злобно ударил бичом по коню.

— Умерла, что ли, ну!

Федор медленно шел назад. Хлеб! Хлеб! Сколько он здесь принял унижений из-за него? Тряс штанами, юбкой, все расхваливал, только дай, не откажи. «Я — здесь. Другие поехали еще дальше. И все за хлебом, за картошкой, за пшеном». А рядом с заботой о хлебе сердце согревала вера в торжество правды. «Ничего, Федька, наша возьмет». Он шел и смотрел на зеленые в цветах поляны. Огненными кругами пламенеют жарки. Над ними белыми облаками плывут пышные кис-

ти белоголовника. Вот уже и нет цветов — размахнулись по лесным полянам яркие полотнища знамен: «Вся власть Советам!» «Долой войну!»

— У-у! У-у! Долой войну! — мчит среди лугов, среди цветов паровоз. Сила, сила-то какая!

Федя шел быстро и прутом сшибал головки цветов.

И опять вспоминал хлеб в мешочке в избе у Яриных, и волна ярого, бешеного недовольства собой охватила душу Федора. И мешок, и слабость от выпитой самогонки, и его покорность, и нелепый ответ на то, почему он не молится, все это делало его маленьким, жалким перед гордой и сильной Устей. Ему хотелось встать прямо и посмотреть в серые Устины глаза. Когда подходил к дому Яриных, на срубе в лото уже не играли. Зато на бревнах, наваленных к забору Бунчикова, стояла большая толпа и слышались гвалт и смех. Федор тоже поднялся на бревна и взглянул туда, куда смотрели все: на толстой веревке, беспомощно согнув ноги, висел в стайке конь. Голова его была низко опущена, из глаз, глубоко впавших, текла желтая слизь. Клочья шерсти свисали с бедер и брюха. Широкие ребра, как обручи, охватили грязные в плешинах бока лошади. Хозяин его стоял по оборку в навозе и тяжело пыхтел, поднимая лицо к балке, через которую была переброшена веревка. Широкие и черные ноздри курносого носа у Грихи раздулись, руки дрожали. Кешка Чак оседлал забор и, похохатывая, завертывал папиросу.

— Укусит, черт, видишь уши сложил! — издевался он. — А ты, Гриха, бичом его, чтобы он с жиру-то не бесился.

Толпу сотрясал громкий злорадный смех.

— Ну, Гнедко, ну чего ты! — чуть не плачет Гриша Бунчиков, поталкивая коня в плечо и из последних сил держа веревку.

— И, вправду, Гнедко, чего не лягнешь его, мучителя своего.

Лошадь все больше подгибала колени, а веревка в дрожащих руках Гриши все шла вверх.

— Чего он хочет сделать? — вырвалось у Федора.

Ему объяснил Ганька.

— Да конь висит у Грихи уже два месяца. Вот Гриха и хотел отвязать его, думал — конь силу набрал, а силы-то нет, видишь — падает.

Федор в один миг соскочил в зыбкий навоз стайки, схватившись за ту же веревку, потянул, но лошадь все продолжала опускаться.

— Мужики, помогайте, чего вы разинули рты, — метнув гневным взглядом, крикнул Федор.

— А кому охота в навозе пачкаться? Тебе пачкать нечего, вот и помогай, — процедил Кешка и сплюнул за забор.

В это время сильная рука перехватила веревку — это был Петр Ярин. Он опоясал себя веревкой и сделал движение вниз, словно хотел сесть, веревка подалась. Конь выпрямился и тяжело вздохнул, поводя тоскливыми глазами. Гриша спешно закрепил подпруги.

— Спасибочко, Петруха. Чуть я не набедокурил, конь-то, думал, в силе.

— Бутылку с тебя самогонки, — хохотал Петр.

— Горсть шерсти с Гнедка дай ему, Гриха.

А с бревен сердито ворчала Петрова мать:

— Черти тебя связали, Петька, с этим разнесчастным Бунчукаром. Рубаху-то, смотри, всю в навозе извозил. Чтоб она издохла, твоя кляча, Гришка!

У Федора ослабели руки, он весь обмяк. Он еще никогда не видел, чтобы так зло потешались над несчастьем человека и, с благодарностью посмотрев на Петра, пожал ему руку. Вскоре тот перемахнул через забор и исчез. Попытался это сделать и Федор, но обессиленный опускался вниз. «Эх, только бы Устя этого не увидела». Он уже хотел, на посмешище всей толпы, пойти через ворота, да кто-то громко и радостно крикнул с бревен:

— Ну, давай, Федя, руку, помогу.

Федор отстранил протянутую руку и опять стал карабкаться, но тот же голос крикнул:

— Давай же, чертушко Федька, ну же давай подсоблю.

Это грубо ласковое «Федька», слышимое когда-то много раз, заставило Федора поднять глаза и он увидел Ветлова. Волна радости пробежала по его лицу.

— Дядя Ваня! Дядя Ваня! Вот встречато, а? Эх, как тебя...

— Да, да, Федька. Смотри не свали меня. При одной, брат, ноге остался. А ты смотри, каким женихом стал, а? А ведь был-то совсем парнишкой.

На них, возбужденных и радостных, смотрела вся празднично одетая толпа. Кешка Чак, не слезая с забора, разинул рот, удивленно выпучил глаза, наконец, крикнул:

— Вот те и гость, Ветлов.

— Городской, бери с собой бутылку водки да ломоть хлеба, а луковицу Ветлов найдет, небось!

Федор заметил, как лицо Ветлова помрачнело. Маленькими черными глазами фронтовик нацелился на Чака, но ответить не торопился, хотя старый кожаный кисет, покрытый серебром рыбьих чешуек, дрожал в руках, а папироса не завертывалась, и он несколько раз смачивал ее слюной.

— Надо мной зубоскаль, черт с тобой. А вот над родней изгаляться — это подло. Ведь Гришка-то Бунчиков тебе как-никак дядей по матери-то приходится.

— Такому указчику дерьма бы за щеку, — язвит Чак и лихо соскакивает с забора.

— Вот, вот! На этом ты собаку съел. А взял бы да и «на, дядя, золотишка на коня». Не правдой ведь добыл его. А?

— Не тебе знать, как ястреб рябчика сбил.

— Можно знать, а можно и догадываться.

— Ну и догадывайся, черт с тобой, политик бесштанный, — рычал Чак, налившись, как паут кровью.

— Прорвало-таки чирей, — плюнул Ветлов и, обняв за плечи Федора, стуча деревягой, пошел с ним вдоль села к Камчатнику.

Чуб и Чак

1

Чуб подъехал к еланным воротам. Закрывая их за собою, он увидел, что кони пошли по другой дороге, — им не охота было подниматься в гору, за которой Каштак — заимки Яриных, Трохи и Грихи Бунчикова.

— Тпрр! Тпрр! — лениво шагая, кричал Чуб. Кони не останавливались, а Чуб не догонял, завернул папиросу, закурил.

«А! Пускай идут. Поеду через падь: дорога ровнее, да и торопиться особенно некуда. Они там яйца на Камчатнике едят, самогон глушат, девок обнимают, а я им паши. На-ка, вот! Эх, Чуб, Чуб! Вчера тебя колотили, жерди по твоей голове гуляли, а сегодня езжай на заимку и сказать не смей. Хоть меня, заплатника, не особо жалуют, а все-таки обидно. На что Ванька Южатов, работник Тонского, и тот рубаху сатиновую имеет, штаны полусуконные, бродни новые, и тот человек: не гоняют в праздник на поле, а я?» — думал Чуб. Кони шли тихо, жеребец Карько потягивал вожжи, фыркал, прядал ушами и зря: в поле было пустынно, и он успокоенно вздыхал. Вздыхал и Чуб.

«Убежать бы куда. А куда убежишь? В городе Федор говорит — никакой работы. А я бы гору своротил, силы, слава богу, вон сколь, хватит на трех Трох, а нету желанья робить на него. Да и в душу вросли — не выврешь — слова Федора. Вот приеду на заимку и залягу на весь день, а там хоть трава не расти. Чак приедет: «Сколько вспахал?» «Два загона от забора». Драться не полезет, побоится. А грызть будет, ну и паскудный язык у него. Поглядишь, сморчок, а какую девку захватил. И окрутит и ее, и Василия. Василий жадный до золота, а его дивно привез Кешка».

И еще о многом думал Чуб. Думал о Петре, своем дружке, и горько сознавал, что тот повел дружбу с Чаком. Думал о брате Степанке, который совсем замотался со своим тощим от бескормицы меринком, о матери, которая на днях приходила к Трофиму просить «с пудик до урожая», но хлеба у Трохи «не оказалось». Лошади спустились в падь. Пахнуло донником, который обильно рос по обочинам дороги. В глубоких колеях глухо постукивали колеса. Вот и развилок: одна дорога на пашню к Трохе, другая — на заимку брата Степана.

— Ага, тянешь к хозяину, в Каштак, а не быть по-твоему.

Алешка дернул правой вожжой. Жеребец нехотя перешагнул на другую дорогу и лениво потащился в гору, и Чуб вдруг сразу повеселел. Он стал понукать коня. Скоро показалось зимовье и рядом с ним огромные черемуховые кусты. Алешка остановил коня, спрыгнул с телеги, столкнул старенькую фуражку с расколотым козырьком на затылок и присвистнул:

— Мать ты моя родная! Травы-то сколь!

Перед ним была материна полоска. Жниво почернело, ершилось и в нем буйно росла трава. Пышно развернулись дубки осота, бледно-зеленые елочки пестовника поднимали свои острые вершинки, топорщился молодой жабрей. Чуб наклонился, сунул палец вдоль крепкого корешка осота, вытащил длинный, с четверть, белый корень, покачал головой:

— А! чему быть, того не миновать, — решительно махнул рукой и сбросил с телеги плуг.

Через час Чуб поднимал второй загон. Вспаханная земля черной влажной полосой чуть дымилась под солнцем и поблескивала отшлифованными лемехом кусками.

А Чуб пахал и думал:

«Вот приедет Степанко, глянет — вспахано. Что за чудо! Не ошибкой ли кто? Сядет на межу, почешет затылок, закурит, подивится. И потом уж, потом догадается. «Да ведь Алешка плут это удумал, вот герой, вот

смельчак! Будет ему теперь от Трофима. Выручать надо парня, а как?» Не надо, Степанко, сам сделаю, сам и отвечу. Прогонят, пойду к Филонову, к Тонскому, к Прокопу Силину, кто-нибудь да возьмет. Может, мать сама придет, обрадуется, а догадается, чье дело — заплачет. Трофима она считает заступником, кормильцем. А его кормлю я, десятый год работаю. С десяти, считай, годов к его плугу прирос. Это мои ладони так истерли ручки плуга. Я сучил эти вожжи. Вишь как разрисовал Трофим дугу — я ее гнул в тайге. Я косил сено и сеял овес — я выкормил Карьку, лучшего коня на селе. Так пусть он послужит работнику за десятьто лет хоть раз». И пока Алешка пахал, голову его кружила новая, лихая, как ветер над этими соснами, решимость, и все толклись в голове смелые слова городского парня.

Солнце закатилось и повеяло прохладой, когда Чуб вспахал поле. Кони жадно бросились на траву, которая обильно росла по соседству на запущенном поле Гриши Бунчикова. Чуб съел кусок хлеба и лег на телегу. Сумрак густел, блеснули первые звезды. Тело Чуба ныло в приятной истоме, на душе было празднично. «Спать, спать», — просило все тело. «Нельзя спать», — приказывала утомленная дневным жаром голова. «Вот кони поедят, и отправлюсь на Каштак». Чуб нарочно положил голову на передок и бросил ногу на ногу. Но уже через минуту голова сползла с передка и провалилась между мешочком с хлебом и туеском кваса, и послышался ровный спокойный храп.

2

Отшумел третий пьяный день троицы.

Василий связал в узлы сети и, смотря на небо, покрякивал. Татьяне без слов понятно — старик рыбачить собрался, нужен гребец. Под вечер Татьяна обошла Тунку, Подцерковщину, заглянула в Силовщину — нет Петра. Парни зубоскалят: «на протоке видели!» Потащилась туда, а там: «в Соповщине плясал, туда сходи, тетка Татьяна».

— Да что же это я в школу-то не заглянула? — спохватилась Татьяна и, припадая на одну ногу, поплелась с протоки в село.

Хмельной Петр крутил в руках старый разбитый глобус.

— Вера Николаевна, да как же это земля-то наша держится в воздухе? Ни рассошки, ни подпорки — упадет.

— В силу солнечного тяготения, Петя, и закона инерции. Ну, как тебе проще сказать? Две эти силы уравнивают ее движение, — говорит Вера Николаевна и думает: «Какие пытливые эти Ярины».

— Эх, вот и на меня две силы действуют, Вера Николаевна. Одна сила сердце мое полонила, а вот другая сила удерживает меня. Эх!

— Какая сила удерживает тебя, Петя? — Теплыми глазами смотрит на парня Вера Николаевна.

По окну прутом постегивает мать.

— Петя! Эка ведь заставил всю деревню исколесить.

В окно выглянул Петр.

— Что, мама?

— Отец сети собрал. Хватит те, погулял, хватит!

— Скажи, мама, не нашла. А?

Петр чешет затылок, в глазах мечется досада. Мать — ей лучше не перечь.

— Я те что сказала, иди!

У Яриных принято не возражать родителям. Шли рядом — мать маленькая, горбатая, на кривых ногах, сын чуть позади, в синей рубашке, без пояса, опухший от выпитого за три дня вина, сутулая спина вспотела.

— Брось ты, Петя, дурить, — начитывала мать, — пара ли она тебе, да и старше ведь.

— Эх, на год-то, — выдохнул Петр.

— Голь ведь, посуди: что на плечах, то и все. А что грамотная, так тьфу с этой грамотой, читает книгу, а не спечет ковригу.

Дома Петр стащил с себя праздничный наряд. Надел ичиги, старую рубашонку, напялил пиджак и, бросив на весло сети, пошел за отцом.

— Слава те, господи, хоть дети покорны, — шептала, проводив, Татьяна.

3

Рыбалка для Василия Ярина праздник, и бежал он на нее сломя голову. Раньше Петра был на берегу, гулко стучал лодкой, громко сморкался, первым проходя на корму. Течение протоки подхватило рыбаков и вот-вот вынесет на «материк», но они прижимаются к острову и, чуть зайдя вверх по течению, притыкаются к берегу. Ловко выскочив из лодки, Петр подтаскивает ее. Василий смотрит в синюю гладь неба: рано еще, светло.

Ни комара, ни ветра — тишина, и чуть слышны всплески недремлющей волны и дальний гомон уставшего от гульбы села. Там сейчас в разгаре игрища, в клубах пыли кружатся девки, в восьмерках королями ходят парни. А в школе у окна, опершись в подбородок, сидит Вера, Вера Николаевна, недо-

ступная, гордая, все знающая, и от скуки одной хороводится с ним, потому что больше не с кем. «Грамотный парень, не бесшабашный, как другие». Взяла бы да и сказала прямо: «Не пара ты мне». Погоревал бы да и другую нашел. С глазу на глаз тает, при других заморозится. Эх!

Хороша Ангара ночью.

Запад еще озарен, но медленно и неудержимо с востока ползет мрак. Лодка стала черней и больше. В борт едва слышно постукивают волны. Все сильнее охватывает Петра тоска. Эх, были бы у него крылья — улетел бы сейчас хоть на минутку к Вере Николаевне! А тут еще засыпающая пташка — томно и расслабленно вторит одно и то же.

— Целуй! Целуй! Целуй!

— Ну, Петруха, пора!

Отец торопливо отталкивается шестом от берега. Даже ночью видно отражение в воде черного насупившегося Камчатника. На той стороне реки появляется огонек. Это Володя Зуев выплыл рыбачить с «козевом». Он и у Василия есть, да хитрит старик: без огня видит рыбаков, а они его нет, так, прячась да обгоняя, испробует наперед все лучшие места.

— К бережку... от бережка, — командует отец. — Полей водички на уключины, слышь, скрипят.

Петр плещет на них воду, плавно опускает весла, пока отец выметывает сеть. Вот шлепается в воду поплавок. Старик шумно садится; кряхтя и отплевываясь, вычерпывает воду из лодки — каждым движением теперь пугает рыбу. Лодка плывет чуть поддерживаемая веслами Петра, а впереди едва заметной точкой маячит поплавок и, наконец, скрывается во тьме. Черный и угрюмый Камчатник прячет за собой село, и сразу замирают далекие звуки гармони, собачий лай, Петра душит тоска, растет злоба на отца, на Ангару, на рыбу, и хочется, чтобы она не ловилась, пусть этот бессердечный человек терпит неудачу, пусть кряхтит, ворчит, злится, пусть догадается, что сыну не до рыбы. «Пусть! Пусть! Пусть!» — вздыхают весла.

— К бережку, Петруха, покруче, покруче! Гребни! — В голосе отца слышны мягкие нотки сочувствия. Нет, знает старик, что несладко Петру, чует, что не в пору оторвал его от гульбы, а поделать, вишь, ничего не может.

— Да потише ты, Петра, заставь богу молиться, так... — и замолчал, боясь обидеть.

В руках отца свистит тетива и мокрыми кольцами падает на дно лодки. «Вот бы ни одной, ни одной малявки». Но к великому огорчению Петра в ячеях блестит рыба. Василий перехватывает сеть, и вот уже в лодке ворочаются хариусы, мелкой дробью бьется сиг. Рыбы все больше и больше. Наконец затащен в лодку поплавок. Петр сильными рывками гребет к берегу.

— Вот оглашенный! Весла-то выворотишь! — и отец, не устояв, падает. У подножия правого берега тьма гуще. Василий долго возится, разговаривая с рыбой.

— Помочь, тятя?

— Вздремни-ка, ты, вздремни. Самогонка-то, поди, давит.

Добрый голос отца окончательно прогнал злобу. А тишина и тьма легли на плечи, клонят голову, руки плетьми свисают на колени, а в ушах уже звенит ласковый смех Веры и сама — вот она, красивая, стройная зовет: «Заходи, Петр, я тебе прочитаю что-нибудь», — и вот ее глаза, губы, так близко — расцеловать бы их... потянулся Петр к ним, а они уже далеко. «Вот не поцеловать, не поцеловать!» — зовет Вера. Бросился Петр к девушке, и тотчас же с грохотом полетел с сиденья лодки.

— Эко сон-то как тебя повалил! — захохотал отец и, почерпнув полный ковшик воды, плеснул в лицо парню. Петр вздрогнул, вода струйками полилась за ворот, по груди и спине.

— Ну тебя, тятя!

— А? Какова водка под лодкой? Давайка, отпихивайся.

Так отец шутит со всеми, кто с ним едет на ночной промысел. Легкий испуг охватит тебя вдруг. Или ты в воду хлопнулся? Нет. Ах, отец, отец! Но через минуту сон отлетел, слух обострился, и ночь, до того глухая и томительная, уже наливается звуками. В небе слышны раскаты птицы-барашка, с горы доносится бас филина, мерзнущего и сурово требующего «Шубу! Шубу!»; как заведенный, монотонно крякает удод, шумит на перекатах вода, плещется рыба, а с берега доносится неумолкаемый стрекот кузнечиков. Из-за едва различимых островов еле слышится гул проходящего поезда, гудок не громче комариного писка.

А уж за горой пламенеет заря, густая тьма рассеивается, веет прохладой, и дрожь бежит по телу. Почти неразличимо мерцают бледные огоньки на рыбачьих лодках. Последнюю тоню брали, когда уже было совсем светло, и вряд ли кто мог попасть в сеть, но и на этот раз рыбы было много. Отец с тихим наслаждением выдавливает хариусов из ячеек, и, сыто бормоча, бросает их в садок. Шапка у него сбилась набок, клочья волос

выглядывают из-под нее. Вот он отрывается от сети, молодо разогнувшись, смотрит в воду, на небо, на пламенеющую зарю, на серую, но уже различимую падь Каштака, в которой, как озеро, спокойно лежит туман.

— Давай еще тонюшку, — предлагает он сыну.

— Хватит, тятя, — возражает Петр, а про себя думает: «Промолчать бы, а теперь обязательно поплывет, а так сам сообразил бы: светло». На остров сквозь лапы сосен скользнули первые лучи солнца. Отец, почесав затылок, велит выгребаться. Вот сейчас он бросит поплавок, но лодку подхватывает быстрое течение. Теперь уж, слава богу, не бросит. Петр нажимает на греби, вода кипит под лодкой. Отец правит веслом, по его лицу гуляет довольная улыбка: он любуется сыном, его сильными руками, широкими плечами. «Ну и рвет, ну и хлещет, уключины бы не сломал, чертяка». Лодка вырывается из протоки и влетает в курью. На берегу стоит Володя Зуев, здоровенный мужчина и бабьим голосом спрашивает:

— В прятки все, дядя Вася, играешь?

— А на кой он мне ваш огонь-то?

— Рыбу только пужаешь.

— На-ка, гляди, как напужал.

— Пуд, не боле, расхвастался. Ты гляди — у меня сколь.

У Володи в садке рыбы было вдвое больше. В придачу в лодке лежит огромный таймень, и Василий сдается:

— Где уж мне, кроту слепому, до тебя.

4

В Каштаке пять зимовьев: на взлобке, у берега, Прокопа Филонова, дальше под яром у ключа — Тонского, еще подальше — ветхое и весь вросшее в землю — Грихи Бунчикова, ближе к вершине пади Трохино, а рядом с ним — Яриных. Трохино зимовье — почти дом, с хлевами и с широким загоном. По сторонам круто в гору бежит молодой сосняк. Горбато выгнулась и прячется в сосняке дорога, по сторонам ее — рытвины. В одной из них с прошлого года лежит разбитый одер. Не мог Гриха Бунчиков удержать слабосильного Гнедка, толкнул его воз с рожью в вымоины, конь остался цел, одер рассыпался. Теперь лежат гнилые ободья да втулки, а спиц и в помине нет. В пади облачками гуляет туман. Голову пьянит цветущая черемуха, смолевый запах сосны. Едва тащит Петр тяжелую корзину, вторую — доверху нагруженную, отец повез на станцию Суховская. Петр остановился против зимовья Трохи, достал большого хариуса и вошел в избу. Там поперек огромных нар спал Алешка Чуб. Петр провел по открытому рту мокрым хвостом рыбы. Соскочил Алешка, протирая глаза.

— Ну и рожа, от грязи лопнуть хочет! Прореху-то застегни, чучело! Манька Бунчикова, слышь, привет тебе шлет, а от меня вот тебе пара хариусов.

— Коней не слышал — далеко?

— В кустах ботолом брякают.

Петр вышел и, крикнув: «Лови» — бросил в окно еще одного хариуса. Чуб поймал его и, скаля зубы, захохотал. В своем пустом зимовье Петр растянулся на нарах, подложив под голову полено, и тотчас заснул крепким сном.

5

Чуб вспахал загон, когда к нему подъехал Кешка.

— Спусти чересседельник-то, рыло! Не слышишь — конь храпит! Вот что значит не своя животина-то! Плечи не сварил? Да ну ты, бешеный, не кусайся! А спину?

Кешка пощупал под хомутом, под седлом.

— Будто я махонький, — лениво возражал Алешка.

— Не махонький, знаю. Был бы махонький, землю матерену не пахал бы.

Чуб не ожидал, что Кешка уже осведомлен, и потому не знал, что ответить.

— Я и не пахал, с чего это ты взял?

— Карька за тебя отдувался — это верно.

— Ну, что ты пристаешь, как банный лист?

— А? Не пахал что ли? — Кешка сверкал белками диких глаз. Он шагнул к Алешке. На узком и темном лице у того застыли бессилие и гнев.

— Не пахал? Да? — взвизгнул Кешка.

— Ну, пахал! — вызывающе ответил Чуб, вытер рукавом пот, и не остерегался, зная, что Кешка его боится. И вдруг не тяжелый, но сухой и острый кулак ткнулся ему в губы. И пока Алешка вытирал кровь, Кешка был уже в тележке и выезжал на дорогу. По-звериному рыкнув, Алешка метнулся за ним. Но тот огрел коня кнутом и скоро скрылся за перелеском.

— Ах, гад такой, ах, подлец! — кипело сердце Алешки. — Он в морду сует! Он бить вздумал! Ну, погоди!

Солнце подходило к обеду, а Чуб сидел на меже. Лошадь, отбиваясь от мух и овода хвостом, косо посматривала на хозяина. Наконец Алешка подошел к коню и стал выпрягать.

Брови насупились и никак их не раздвинешь. Кашлянет, будто сгонит печаль, гляди — брови опять сдвинулись.

— За что ударил злодей, а?

Подъехав к зимовью, Чуб привязал коня и подошел к таганку, в котелке варилась каша.

— Кашку работнику сварил, а сам в кусты. Трус! — громко сказал Алешка, чтобы слышно было спрятавшемуся Кешке.

Есть хотелось, но Алешка взял котелок и швырнул его в кусты.

— На, жри сам!

Потом зашел в зимовье и отрезал ломоть хлеба. На пороге показался Петр.

— Подрались, говоришь, с хозяином?

— Я? — рука вместе с ломтем упала на колени. — Я задавил бы его, если бы дрался.

— Ну, ладно, Алешка, не обижайся. Хозяин ведь он, что поделаешь. Ведь и ты тоже свольничал, землишку-то вспахал матери.

— Хозяин! Погоди, гад, еще увидишь. Погоди! — Алешка сопел, сминая ломоть в кулаке.

— Самогонки хочешь, я привез с собой на похмелье?

Петр сбегал за бутылкой, налитый стакан вставил в опущенную руку.

— Пей!

Чуб залпом выпил самогон и медленно стал жевать хлеб.

— Еще надо?

— Нет, хватит.

— Давай еще! Вот как. А теперь пойдем уху есть, — сказал Петр, когда Чуб опрокинул и второй стакан.

У Яриных в зимовье сидели ребятишки Ганька и Гошка. Гошке семь лет, он первый раз на заимке и радехонек, что будет боронить. Ганька второй год пашет и за старшего ездит на заимку. На телеге еще не снятые плуг и борона.

— Братя Петя, а боронить скоро будем? — спрашивает Гошка.

— Наборонишься еще, паря. Ешь.

— А под седло кого? Серка?

— Серка, Гошка, он смирнее.

— Хорошо, Егорша, свою землю боронить! А я вот с твоих лет чужую пашу да бороню, — вздохнул Алешка.

— А свою пошто не боронишь?

— Да ешь ты, сатаненок! — добродушно ворчит Петр.

— Своя в залежи, заросла, коня нет, Гоха. Коня бы мне, ух, я бы с заимки не съезжал. Эх, пришло бы время такое.

— И я бы тут с тобой жил! Ага?

Все засмеялись. К окну зимовья подошел Чак, хитро улыбаясь, потом разом стер улыбку.

— Алешка здесь?

— Тут, заходи-ка, — ответил сам Алешка.

Кешку не узнать: добрый, смеется, виновато чешет затылок.

— А драться не будешь?

— На кой ты мне.

— То-то.

Кешка сел на порог зимовья, закурил, кисет бросил Алешке. От самогонки у Алешки сердце размякло, подобрело.

— За что, Кеха, ты меня? За что? — обидно и грустно спрашивает Алешка.

Кешка усердно свертывает папиросу и косит хитрый глаз.

— Не хозяйничай.

— Я на вас десять лет горб гну, не заработал, да?

— Ты бы спросил.

— Не дали бы, не дали!

— На то воля хозяина.

— Эх! — выдыхает свое горе Алешка. А Кешка вслух размышляет: — Тяте сказать — не знаю, что и будет. Прогонит ведь... жалко — вот что. Человек все-таки ты, не собака... И не сказать нельзя: меня за горло потом возьмет.

«Возьмешь тебя за горло», — думает Алешка.

— А то вон скажет шуряк мой Петруха, — Кешка смеется, поглядывая на Петра.

— Ябедой не бывал, и пошел-ка ты к черту со своим тятей.

Кешка скалит белые, складно приставленные друг к другу зубы и счиркивает тонкую струйку слюны.

— Ладно, шуряк, погоди. Такая оказия... Алеха. Может, надумал это само... уйти. Отчаливай. Да только куда? К Филонову? Так нужен ты ему, как собаке пятая нога. Ваську хочет прогнать: лишний рот. Может, к Тонскому, так тот за Ваньку держится обеими руками.

— Я и не собираюсь уходить, — басит Алешка.

— А вольничаешь пошто?

Алешка молчит, а воспоминание о материной земле разливает в душе радость и утешение.

— Хозяин какой нашелся! Не знаешь, как лемех привернуть, — смеется Алешка.

Это выводит из равновесия Кешку.

— А не ты ли хозяин теперь? Батюшки! Пока золотишко промышлял, такие тут изменения произошли. То-то мачеха и говорит: «Отделяйся, Кешка».

— Не говорено тебе этого.

— Вот те крест, говорила, — и Кешка перекрестился, злобно сощурив глаза и озирая всех. — И отцу шумит: «Работника осенью женим на Маньке Бунчиковой».

Манька, курносая, обойденная парнями дочь Грихи Бунчикова — предмет злых шуток. Кого надо донять, намекни только на нее — дело сделано.

— Опоздал я. Тебя отец хочет женить на ней. Ты черный, она белая — вот пестрые ребятишки пойдут, — отражает нападки Алешка, сохраняя благодушие от выпитого вина.

Петр и ребятишки бросают ложки и закатываются в смехе, а Кешка соскочил с порога и к Алешке.

— Зачем касаешься личностев?

— Я не касаюсь, — встал и Алешка. В голубых его глазах покоится улыбка. Рубашка распахнута до последней пуговицы, грудь обожжена солнцем. На голове бушует светлый огонь волос. — А ты вот давеча заехал в мою морду, смотри, губу рассек. Может, прибавить хошь?

— А ну-ка, кто кого? — подливает масла Петр.

Ловко подставив ногу, Кешка толкнул в грудь Алешку, и тот, ударившись головой о лавку, слетел с ног. Когда поднялся, Кешка уже стоял за дверями и держал валек.

— Попробуй только, тронь! — крикнул он, беспокойно озираясь. Но Алешка шел на него прямо, тот сначала отмахивался, как отбиваются от назойливой собаки, потом бросил валек и, матерясь, понесся к своему зимовью. Алешка в несколько прыжков настиг Кешку и схватил за шиворот одной рукой, а другой, попридержав его, взял за гашник штанов.

— Ну, Кешка, радуйся: Ангары близко нет!

Кешка пытался вырваться, брыкался, кричал, но Чуб, крякнув, забросил его себе на плечо, с плеча на голову, перегнув в спине и так цепко и ловко держа, что Кешка только мог болтать ногами. Затем Алешка подошел к черемуховому кусту, пышно разросшемуся перед Трохиным зимовьем, и рывком бросил туда Кешку. С куста полетели мотыльки лепестков.

— Вылезай, да штаны не порви. Хозяин! — сказал Чуб, брезгливо вытирая о рубашку руки.

У своего зимовья стояли братья Ярины и дружно хохотали.

6

Прошло два дня. Кешка спал в своем зимовье, Алешка — у Яриных. В эти дни Кешка Петра шуряком не звал, обиделся, что тот не помог, Алешке грозился ножом. Чуб посмеивался, однако его беспокоило будущее. Он считал выгодным для себя заработок в нынешнем году. Троха обещал ему два мешка хлеба, столько же картошки, катанки, штаны и рубаху, пиджак полусуконный и шапку-татарку. «Вот, Алеха, дам я тебе все это, только работай, как работал, животину люби», а пьяный и впрямь как-то сказал: «Нет ни у кого этакого работника. Жениться будешь — сам свадьбу справлю».

Учил его Троха один раз и выучил на всю жизнь.

Алешке было десять лет, когда он пошел батрачить. Было холодное утро мая. Закутанный в лохмотья, в бабьих опорках на ногах, он кукушонком сидел на коне. Солнце неласково проглядывало сквозь ветви сосен. Особенно Алешка зяб, когда ехал в тени. На краю поля он быстро делал поворот. И вот опять солнце, уже более ласковое. И от желания скорее согреться делалось еще холоднее. Но с каждым поворотом оттаивают грудь, шея, руки. В дыры штанов просачивается тепло, пальцы ног уже шевелятся, и теперь мучительно одолевает сон. И одолел-таки.

Троха добывал сок сосны. Видит — кони пошли в сторону, к пню, около которого зеленела молодая травка.

— Алешка, подлец Алешка, сукин сын! — кричал Трофим. Но Алешка былинкой качался в седле, вот-вот свалится. Троха схватил сухой и тяжелый ком земли и, подбежав, ударил им в лицо парнишки. Алешку с седла как ветром сдуло. Передний конь испугался и бросился вперед, задний отстал, потянулся, и борона, взлетев, повисла над Алешкой. Пьяный Троха любил вспоминать это. «Думал, конец бороняге, стою ни жив, ни мертв, а борона висит над тобою и страшно таково качается, а задний конь, слава богу, задел за пень. Опамятовался я тут, подскочил и за борону, а тебя из-под нее пинком, пинком. А ты, дурак, кричать: «Не буду, не буду, не бей!» А рожа твоя вся в земле. «Иди, говорю, на межу, да соку попей», — и сам на поводу боронил до обеда».

Сок тогда Алешка пить не стал. А когда Троха выпряг коней и подъехал к нему, то не узнал парнишку: огромный синяк расплылся вокруг глаза и закрыл его.

Алешка плакал:

— Дядя Троха, домой хочу.

— Нет, брат, домой не поедешь. Куда тебя с такой мордой. Гляди, к субботе подживет, тогда и поедем.

К субботе опухоль прошла, а синяк стал еще ярче. Троха пообещал полфунта конфет, а матери велел сказать, что с сосны свалился. На том и порешили. А Алешка сумел слово сдержать. С тех пор не бивал Троха батрака, да и ругивал мало. В работу Алешка был въедливый, к скотине ласковый, берег хозяйское добро, хомут, седелко — все сам починит и не потому, что робел перед хозяином, а так, сами руки тянулись к работе.

7

А рядом рос, глаза мозолил Кешка.

Остался от матери Кешка двух годов. Пять лет прожил у бабушки Матрены и деда Перфирия — стариков богатых и одиноких. Через год после смерти жены Троха женился на Фекле Силиной, работящей и болезненной бабе. Трофим все ждал новых детей и, не дождавшись, стал просить сына у родителей.

— К мордовке твоей Кешку отдать? Чтобы она его грызла? Чтобы изо дня в день попрекала куском? Ждите! Он на тебя и не похож, он вылитый в дедушку, цыгановатый. Пусть живет у нас, — отвечала бабушка.

А Трофим тосковал по сыну. Коньками да разными подарками переманил его к себе. Кровать хорошую купил, подушки мягкие, одеяло теплое. Мачеха тоже ласкала Кешку, рубахи к праздникам сама шила, голову причесывала, к обедне с ним ходила, а пасынок, если спрашивали: кто ему обновку купил, только и знал: «Мордовка».

Десяти лет он еще и за бороной не ходил. Целыми днями пропадал на Ангаре. Купался или рыбу ловил, или лазил по скалам Камчатника да разорял галочьи гнезда. Отец подчас говорил:

— Собирайся, на заимку поедешь, за Алешкой посмотришь. Привыкать надо.

— А я за ягодами на Конный остров поплыву.

— А я говорю, собирайся. Это кому говорят? — сердился отец и брался за вожжи.

— А я к бабушке убегу, — кричал сын уже за воротами и действительно уходил к бабушке на неделю, две, а потом отец, соскучившись, посылал Алешку:

— Сбегай-ка за ним, скажи, отец ружье купил.

Зиму Кешка то бродил с ружьем по лесу, а то прямо со двора стрелял по голубям. Както летом у протоки остановился цыганский табор. Пожилой цыган привел в ограду Трохи коня, который годился только для живодерни. Целые два часа цыган убеждал купить клячу. Троха смеялся, отнекивался, сердился, потом открыл ворота и вывел цыгана с конем на улицу. В это время и вывернулся откуда-то Кешка.

— Цыган? — спросил Кешку обладатель клячи.

— Нет, русский.

— Какой ты русский, когда цыган. Плясать умеешь?

— Нет еще.

— А еще цыган. Приходи-ка в табор, научу.

Все лето Кешка околачивался среди цыган и научился не только плясать. Однажды у отца из чулана исчезла новая шлея, ременные вожжи. У бабушки стали пропадать горшки с молоком и сметаной, яйца, а как-то Прокоп Силин, отец Феклы, привел к Трофиму Кешку и цыганенка и бросил к ногам задушенную курицу.

— Что хочешь делай, Трофим, а еще поймаю, из дробовика в задницу закачу.

А через пять лет сам Троха не знал, что делать ему с сыном. Теперь он гнал его от себя, но не принимала Кешку бабка. Пообещав спалить отца, сын исчез на целый год. Приехал в широких шароварах, в рубахе под шелковым пояском и с гармонью, но в легоньком пиджачке. Не спросясь отца, вытащил из чулана черную шубу с красивым через все плечи серым воротником.

— Как она, тятя? — спросил сын, крутясь по горнице перед зеркалом.

— Длинновата малость, — угрюмо сказал отец.

— Обрежу.

— Не сходи ты с ума-то! Не все будешь коротышкой.

Кешка отмахнул от шубы широкую ленту, бросил отцу.

— Побереги на заплатки. Подкошенный я, больше не вырасту.

Зиму Кешка гулял по вечеркам, преследовал девок, трепетавшими перед ним, носил нож за голенищем, и многие боялись его.

Плясал Кешка самозабвенно, для чего даже в лютые морозы ходил в сапогах. Сбросит с плеч свою богатую шубу, кинет ее, не глядя, кому-нибудь на руки. Как коршун крылья, разбросит руки, глаза полны удали, вздернет и без того короткую верхнюю губу, ярко блестят у него два ряда белых зубов.

— Шире круг! — крикнет и забьется в

дробном переборе. Пляшут хозяйские стулья, тарелки в шкафу, лампа на потолке, а Кешка неистовствует. На миг умолкнет гармонь, и тогда слышится в тишине только чеканное выстукивание каблуков да любимая приговорка Кешкина:

— Чак! Чак! Чики! Чак!

Потом не один он, уж десяток парней вторят ему:

— Чак! Чак! Чики! Чак!

Оттого Кешку и прозвали Чак.

8

А на пасхе в этот год и Алешку окрестили Чубом. А дело было так.

Алешка не любил Чака за его бесшабашность и праздность и, чем мог, досаждал ему. Однажды высыпал из патронов дробь. Кешка вернулся с охоты злой.

— Убил? — спрашивает, смеясь, Алешка.

— В козулю сегодня промахнулся.

— А ты посмотрел, в патронах дробь-то была ли? Может, холостыми стрелял?

— Что я слепой что ли?

Но Чак разгадал коварную улыбку Алешки, проверил патроны и, разразившись трехэтажной бранью, полез драться. Потом, затаив злобу, мстил жестоко и грубо. Он срезал в нескольких местах веревки на санях, мазал барсучьим жиром концы оглобель, а на супонях хомутов вязал узлы. Только выедет на Ангару Алешка, глядь — и дуга слетела с оглобель, в лесу начнет закручивать воз — веревка лопнет.

— Что так поздненько приехал? — скалит зубы Кешка. — Али неладно что?

— Неладно и есть: отцом добро нажитое портишь, — отвечал озябший Алешка.

Но особо злую шутку Кешка приурочил к пасхе. От безделья Кешка занимался стрижкой волос. Стриг он под польку, под кружок, наголо, оставлял уйму лестниц и утешал тем, что скоро все зарастет и советовал потерпевшему недельку не заглядывать в зеркало. Особо уважаемых парней он стриг, оставляя спереди ловкий клочок волос — чубчик. Перед пасхой обратился к нему и Алешка:

— Может, подстрижешь, а? С чубом чтоб.

— С чубом? Хо! Ловко! Чтобы Манька Бунчикова не разлюбила? Давай.

Он позвал Алешку во двор и долго стриг его.

— Надо, чтобы все было по фасону. Ага? Пасха ведь, неделя целая, чтобы этак ловко было. Ха-ха-ха! Да, знай, мол, наших и не шали. Хи-хи-хи! Верно, Алешка. Ты знаешь, чудесно получается. Хо-хо-хо! Постой немного, вот тут еще.

— А тут пошто стрижешь? Тут чуб?

— Чуб да не тот. Этот мериканский. Хо-хо-хо! Ну вот и готов, а теперича за услугу сбегай-ка к Яриным, унеси записку Петьке.

Не захотел Алешка беспокоить хозяев, не посмотрелся в зеркало и через всю деревню от радости пробежал. У Яриных картуз снял и записку подал Петру, а в ней только и всего: «Не видал такого дурака?»

Глянул Петр на голову Алешки и затрясся в смехе. Хохочут Ганька, Гошка, сам Василий, тетка Татьяна не смеялась, а как-то клохтала, а на руках у нее кривил в смехе губенки маленький Ленька.

— Алеха, Алеха! Охо-хо-хо! Да кто же тебя так? — едва выговаривал Василий.

— Кешка под чуб подстриг, — удивленно таращил глаза Алешка.

— Под чу... чуб? Да какой же чуб на висках, да на затылке? Охо-хо-хо! Петр, остриги-ка его.

Но как Петр ни старался сделать из оставшихся окорначенных волос чуб, ничего не получилось, лишь торчали из бесформенного клочка десяток-другой светлых Алешкиных волос, зато вместо красивого чуба приросла с тех пор к Алешке кличка — Чуб.

9

Нет, Алешке уходить сейчас нет никакого расчета. Осталось всего пять месяцев до покрова — и конец году, а там подай то, что выряжено. Хоть на человека будет походить. Хлеб и картошку продаст — сапоги купит. Сапоги — всегдашняя мечта Алешки. А как приходит осень — и прощай мечта о сапогах: дыр да поважнее много. Эх, наверное и на этот раз так получится: у матери озимь всю повыморозило, овсом бы плешины те засеять — овса нет и коня нет. А Кешка третий день косо смотрит. Ест на особицу, в день по два десятка яиц уничтожает. Правда, торопиться надо с ними: Трофиму — старосте церковному в один из праздников, целая корзина досталась. Яйца крашеные и некрашеные. Есть и с цыплятами и засиженные. Кешка ворчит и бросает их Собольку.

— Это Василий Ярин удружил, не иначе.

Говорилось это не без основания.

На край деревни отец Николай с причтом приходил уже пьяный. Василий, любивший угостить, задерживал попа, сажал за стол и наливал полный стакан первачу. Отец Николай хорошо знал характер хозяина и не

отказывался, но после стакана крепкой самогонки он уже не разбирал, что ел, пил. Ярин, любивший пошутить, наклал ему однажды ворох засиженных яиц. Заметив, Трофим шепнул попу: «Батюшка, а яички-то с цыпленочком».

Пьяный, но подвижный поп выскочил из-за стола, выкрикнул трижды анафему и убежал. Скоро о шутке узнала вся деревня, и каждую пасху, троицу и в другие летние праздники не проходило без того, чтобы кто-нибудь не подбросил причту десяток другой тухлых яиц.

Пахали поля так: Кешка свое плугом, Алешка косулей. Была уже пятница, а в субботу домой. Чак, конечно, не умолчит, скажет о вспаханном материном поле. Алешка видел, как хозяин останавливался на отдых. Похлопывая бичом, работник подсаживался к нему рядом на увалок и просил табаку. Тот молча подавал и от Алешкиного соседства чернел еще больше.

— Долго будешь сердиться-то? — примирительно спрашивал Алешка.

— Тебе какое дело? — рычал тот.

— Да уж надоело.

— А мне глянется.

— Решил поди сказать отцу-то?

— Сам узнает. А ты вот что — уходи, не нужен мне такой работник.

— А что дядя Троха скажет?

Они давно ненавидели друг друга, хотя Троха и хвалит работника, но он, несомненно, прогонит Алешку, уступив настояниям любимого сына. Знал Чуб, что за него ухватится каждый хороший хозяин и что опять-таки тяжело ему будет расставаться со старым местом, со скотиной, с доброй сбруей, на них нет труда хозяйского, все им, Алешкой, прилажено да устроено.

Нет, Алешке уходить не хотелось. Потому он, ненавидя Кешку, шел к нему, садился рядом и заговаривал:

— Ну что же гони, Кеха, гони. А кто пахать будет?

— Не твоя забота, — шипел Кешка, жадно вдыхая дым.

— Сам ты на работу не охочь, не с руки тебе пахать. Вишь, все больше отдыхаешь. Я два загона, ты один.

— На то и работник, чтоб робить.

Разговора доброго не получалось. Чуб поднимался и, похлестывая бичом, шел к себе.

— Может, не пахать больше?

— Уходи и все тут.

Чуб шел к своему коню, садился и, докуривая, горько сетовал на то, что сытая жизнь его скоро оборвется. Потом куда он? в соседнее село к сестре Лидке метнуться? Так ведь и та батрак. Холодной осенней стужей повеяло на него при воспоминании о ранних днях жизни в семье.

...В горенке лежит отец, голова его на самом краю кровати. Из черной обезображенной щеки по капле стекает кровь. Черная, не живая. Он еще дышит, а родные — бабушка, дед, мать не смотрят друг на друга. Когда отца не стало, Алешка узнал, что мать и отец не любили друг друга и часто дрались. Отец был песенник, плясун, балагур, но низок ростом, до глаз матери. Мать — стройная, темноволосая, всегда озабоченная и чем-нибудь занятая. Дед и бабушка без конца обвиняли ее в смерти мужа. Решительная, она привела плотника-тоболяка Игната, и дом перегородили надвое. Старшие Степанка и Лидка остались с дедом и бабкой, а меньший Алешка перебрался к матери. Плотник Игнат построил в деревне два-три дома и исчез, оставив мать с ребенком. Люто возненавидели дед и бабка маленькую Сашку, без конца плакавшую за перегородкой. Дед стучал в стенку, пугал девочку лешим, домовым. Мать злобилась на старших детишек.

— И хоть бы пришли, поводились, поиграли с девчонкой, не чужая ведь вам.

Вскоре она уехала за сорок верст в село Олонки и снова вышла замуж, зажила будто ничего. Дед, узнав, сказал:

— Съезди-ка, Лидка, посмотри, с каким ветром наша туча схлестнулась.

Но мать сама приехала, худая, изможденная и по-прежнему угрюмая, силой отобрала ребятишек и увезла в далекие Олонки. Жил с матерью вдовец, у которого было четверо детишек. Два года прошли в жестокой нужде, драках, брани, визге и подорвали, казалось, неиссякаемую энергию матери. К тридцати годам она выглядела старухой. Не вытерпев нужды и изнурительной работы, Лидка сказала:

— Нет, мама, я лучше к бабушке уйду.

Мать промолчала, а летней ночью сестра и два брата вернулись к деду, а еще через год все трое пошли по людям, похоронив стариков.

В глубоком раздумье Алешка просидел до обеда, пока не крикнул ему ехавший с поля Петр:

— Кончай отдыхать — спать надо!

10

После обеда все спят: спят в зимовье пахари, спят за кустами до отвалу наевшиеся буйной зелени кони, дремлют кусты черемухи, вяло свесив сережки ароматных цветов. Спит, положив морду на лапы, Кешкин Соболько. И жаворонки затихли, и жарки сонно свесили головки под палящим солнцем. Не спит Алешка Чуб. Кружит над ним паут-овод, осторожно садится на грудь, на руки, путается в волосах, пугливо отлетает и вот опять на носу, на щеке. В его назойливости есть что-то Кешкино. Алешка взмахнул рукой — и паут в кулаке. С удовольствием он обрывает ему крылья и пускает на доску нар. Паут прыгает, пытаясь взлететь, дребезжит обрывками крыльев. В зеленых глазах паута Чуб видит глаза Кешки. Вот так бы крылья оборвать ему, этому хозяину. И меткий щелчок уносит паута с глаз.

— Пойдем, Гоша, в лес, — говорит Чуб, поднимаясь с нар. — Али что мастеришь? Брось-ка ты свои сохи-бороны, напашешься еще, брат, а пойдем-ка лучше сок пить.

Алешка заткнул за ремень топор и, обняв парнишку за худенькие плечи, пошагал с ним от зимовья. В лесу прохладно, пахнет прошлогодней прелой травой и сосной.

— Ты, Гоша, какой сок любишь? Березовый или сосновый?

— Сосновый, Алеха, он гуще.

— А березовый слаще. Ну, я тебя березовым и сосновым угощу.

Чуб ловким ударом топора вырубает желобки в стволах берез. В желобках тотчас набирается мутноватая жидкость.

— Муравьев отгоняй, они сок портят. Вот тебе соломина, соси.

Через соломину Гошка сосет сок — холодный, сахарный, ароматный, а у другой березы сок уже бежит через край. Гошка бегает от березы к березе.

— Ах, какой сладкий, я отроду не пивал такого.

— А отроду-то тебе сколь?

Под ударами топора рухнула сосенка. Чуб кладет сосенку на пень, сдирает кору, оголяя желтую влажную древесину.

— Вот тебе балалаешная струна, бери ее концы в обе руки и вот так веди. Видишь, какой жирный пласт. Эх, как сладко! — И Алешка, как блин, сложил жирный пласт и отправил себе в рот.

— А мне-то, Алеха?

— Сейчас и тебе.

Руки и губы Гошки в липкой смоле, и хватит бы, а все тянет.

— Туесок вот не взяли, тятю бы напоить.

— Не пивал твой тятя этого добра. А ты иди-ка сюда, тут у меня война идет.

Чуб на земле расчистил площадку и выпустил на нее двух муравьев — черного и красного.

— Гляди, сейчас сражение будет. Ого! Схватились! Черный — это Кешка. Смотри, любит он на маленьких нападать. Вишь, как на Сашку Бунчикова напустился. Ага, Санька, крой черного, бери его за глотку, дери клещами. Во-во, тащи его! Ну, Чак, держись!

— Давай отберем у Саньки Чака, — жалеет Гошка черного.

— Нет, пусть грызет его, пусть грызет. Вишь голову прячет, паскуда, а шары-то, шары и вправду Кешкины. Ах ты, стерва, сзаду нападать на наших! Бери его, Санька, тряси его, вот так его, я те помогу!

— А красный, Алеха, и вправду сильнее?

— Не-ет, черный сильнее, а только я красному подсоблял. Уж больно черный-то подлец, на Кешку смахивает — плутоватый. Ну, кышь! Бегите по гнездам!

Чуб поднимается с земли и идет дальше в глубь леса.

— Вот куча муравьиная, видишь, Гоха. Их тут тьма-тьмущая, а порядок строгий. Каждый свое дело знает, никто никому не мешает. Видишь, в гнездо красных черный с куста свалился. Видишь, подхватили его. Вытащили подальше, а там убьют: не мешай-де нашим. Вот так бы богатея Кешку вытащить всем гуртом да к ногтю. А!

Чуб низко над кучей водит рукой, а потом дает ее понюхать Гошке, тот сморщился и чихнул.

— Во сила, парень. Шпирт! Одно слово! Дядя Троха этим рематизм вылечил. А по тайге я его возил. Сидит в седле сноп-снопом, стонет, охает. Подъедем к куче: «Снимай, Алешка». Я как чурку тащу его с седла и прямо коленями в кучу. «Сметай муравьев». Я сметаю с него их, а он стоит, как молится. С месяц меня мотал по тайге, а ноги все ж таки вылечил.

И Алешка мечтательно дополнил:

— Неужели дядя Троха забудет все это и прогонит?

И вдруг заблестели глаза Алешки.

— Ну и гони! Гони! Может, не пропаду без тебя. Гони! Не долго еще тебе пить кровушку мою.

Ветлов

1

С первым своим уловом Ветлов съездил в город. Продав рыбу, он на базаре купил пуд муки, фунтов пять соли. Только на это и хватило денег. Перед отъездом зашел в комитет партии. Его встретил молодой человек, на добрый десяток лет моложе Ветлова, волосы зачесаны назад, при синеньком галстучке — это член городского партийного комитета большевик Гусев.

Привалясь к столу, около него стоял маленький, ссохшийся, с русыми пышными усами человек. Брюки у него были заправлены в ловкие аккуратные сапожки — это Гринберг, меньшевик.

Ветлов сидел между ними на стуле. О том, кто из них большевик, кто меньшевик, Ветлову в коридоре рассказала молоденькая девушка.

— Я фронтовик, товарищи, — рассказывал Ветлов, очень смущаясь. — Пролежал вот в лазаретах полгода. На фронте, в Карпатах, в партию вступил. Вот... Большевик...

— Рассказывайте, рассказывайте, товарищ Ветлов, — подчеркивая ударения в словах, попросил Гусев. Схватил папиросы. — Курите?

— Я махорку.

— Курите махорку и рассказывайте, — смотрел на него пытливыми глазами Гусев.

— Да, вообще я тут вот прежде в Иннокентьевском депо слесарем работал. А раньше горы рвал, дорогу кругобайкальскую прокладывал. А до того я в деревне жил, откудова прибыл сейчас. Вот.

— Ну, ну? Как там в деревне у вас? — шевелил плечами Гусев, окутывая себя густыми клубами дыма.

— А так, — ответил Ветлов, уже оправившись от смущения, — что, думаю, в депо махнуть. Хоть сторожем, лишь бы не там, не в деревне. Тошно на все глядеть. Ушканье дело наше, да. На каку тропу ни кинься, там и петля стоит. Особо трудно солдату. От каждого дома солдата пепелищем пахнет. А тузы наши еще жирнее стали. Приезжайте, поглядите: четыре гнилых, а пятый дом, будто молоком умылся, геранями цветет, тесовая крыша гора-горой.

Гринберг тоже курил, морщился, перекатывая во рту папиросу.

— Н-да. Ну, так вы зачем к нам-то? — спросил он вдруг Ветлова.

— За советом. В город хочу. Тоска там.

— Ну и приезжайте. Живите в городе.

— Постойте, Гринберг, вы не то говорите. — Гусев вышел из-за стола и встал перед Ветловым. — Скажите, у вас еще есть коммунисты в селе?

— Один, как перст.

— То-то и есть. Оставайтесь в деревне. Работы там теперь невпроворот. Пролетарская революция впереди. Сколачивайте вокруг себя бедноту, — она верный помощник рабочему в городе. Отнимайте власть у кулаков.

— Черт знает что это такое! — бросил папиросу на пол Гринберг. — Каждому встречному и поперечному о кулаках да врагах, будто других задач и нет больше.

— Какие же, по-вашему, задачи теперь стоят перед деревней? — Гусев сощурил глаза, насмешливо смотрел на Гринберга.

— Стояли! Теперь их нет. Революция дала все и другой революции не будет. И тем более у нас в Сибири. Сибирский крестьянин зажиточный в большинстве своем. Против кого ему выступать?

— А хоть бы против войны? А? — спокойно вставил Гусев. — Или это тоже не по вам? Вы ведь, кажется, согласны до победного? А вот он, — и повернулся к Ветлову, — а вот он ненавидит войну и видит врагов своих, и если не трус, не уйдет из деревни, а будет драться с ними.

Но Ветлов и сам решительно встал со своего стула, резко подошел к Гринбергу и без стеснения, раскуривая папиросу, сказал:

— Вот что, товаришок, — таких мы на фронте видели. Слов этой песни не припомню, а мотив точь-в-точь. Мы их из окопов прикладами гнали. А тебе отрублю: нашей революции тогда конец будет, когда мы власть так вот накрепко в руки схватим. Ясно?

Уже в коридоре на лестнице его догнал Гусев. Осторожно поглаживая свою голову, будто извиняясь, сказал:

— Такое дело у нас, товарищ Ветлов, пока вместе, объединенные. Но скоро-скоро. Ну их к черту. Вы не пугайтесь... У нас силы есть. Ясно?

Гусев пожал Ветлову руку, хлопнул по плечу, посоветовал:

— А вы, как что, запросто к нам...

2

«...В городе побывал, а зачем?» — думал, возвращаясь, Ветлов. Прямо по «бороздке» плыл он домой. Вот и Камчатник, и землянки. Здесь Ветлова поджидало с полдесятка мужиков. Они были чем-то встревожены, хо-

тя и спрашивали, как сбыл рыбу, что нового в городе.

— Мы к тебе вот по какому делу, Ванюха. Как же это с сенокосом-то получается? — заговорил Андрей Гурьяк.

— А что с ним, с сенокосом? — закуривая, спросил Ветлов.

— Дык ведь сходка была. Порешили всем, у кого скотинки дивно, отдать Зуевский остров и другие лучшие покосы. Нам сулят островки да тайгу.

— А как ведь нарезают — не по душам, а на скотину.

Ветлов насторожился, впился глазами в мужиков.

— А что, разве раньше не так сенокос делили?

— Так-то так, — с расстановкой сказал Егор Вознесенский, — да ведь для каждого время свой порядок.

— А какое такое время теперь? — спрашивал Иван, его приятно удивляли мужики.

— А такое, что жизнь-то на нашу бедную сторону клонит, и не отдадим мы нынче покосы свои богатеям. Сходку другую надо собирать, Иван.

Под вечер десятник стучал в окно каждой избы.

— На сходку!

С луга, щелкая копытами, лениво и тяжело шли коровы. Вот распахнулись ворота Трохи, а рядом Тонского, в их дворы входят по десятку коров, а к Степанке Сопову по переулочку тащится телушка годовалая.

Сходка была на редкость дружная. Мужики расселись на крыльце общественного амбара, иные залезли на прясло. Трофим из сельской вышел не один, а в окружении богатеев, они о чем-то переговаривались, что-то шептали старосте. Трофим явно был не в духе, сердито бросил папку на стол, схватил ее опять и раскрыл:

— Граждане, — начал он, не глядя на собравшихся. — Вчера мы в добром согласии поделили сенокос. Никто лишнего себе не взял. Зачем же опять шуметь? Только людей от работы отрываете. Идите-ка по домам, а что решено, закон.

Сходка молчала. Ленивой походкой к столу подошел Тонский. Он был по плечо рослому Трохе. Черный и аккуратный картуз его курдюком вертелся в заброшенных назад руках.

— Сейчас скажу я вам вот что. Некоторые граждане, которые побывали на войне, они думают так: если переворот, так и переворачивай все. Все горшки и черепки. А надо и тут кумекать, что ладно, а что плохо. Вот сейчас Советы в городах. Хорошо! Советоваться, решать обоюдно, миром и в согласии, разумно и неглупо хозяйствовать — кто против этого? Вот и посудите. Мои 20 голов и Грихи Бунчикова две. Они ведь так только, на гумаге, наши, а так они государственные. Это народное, так сказать, богатство. Вот. Получу я на пять голов сена, а Гришка на 10 — кого он будет кормить им? И мое дело: продам я 15 голов, а государство мне что скажет? Гришкино сено будет гнить, а государству прямой убыток.

Собрание молчало. Знали, что Тонский газетчик и политик, хитрый и умный мужик. Фронтовики и беднота посматривали на Ветлова.

— И то, к примеру сказать, — мял в руках картуз Тонский, — Россия и Сибирь не одно и то же. Да, у нас бар да господ нет, граждане солдаты. У нас свободный труженик-крестьянин. Нам драться не из-за чего. Лесов, полей, лугов — да, батюшки мои! Конца краю нет. Паши, корчуй себе на здоровье!

— Зачем же землю мою вспахал? — через головы крикнул ему Степан Сопов.

— А чтобы не пустовала, чтобы доход государству давала, — наставительно сказал Тонский.

— А тебе?

Тонский не ответил и посмотрел на Троху, а тот басовито предупредил:

— Вот сюда выходи, племянник, а так каждый сумеет орать. Ну, никого нет из охотников? Так, значит, все. Решено, на попятную не пойдем.

— Нет, не решено, — твердо сказал Ветлов и, скрипнув деревягой, подошел к столу. По тому, как торопко подошел, как загоревшее лицо его вдруг стало темным, а маленькие глаза совсем скрылись в прищуре, все заметили — Ветлов волнуется.

— Крой их, Ветлов, и не робей, — крикнул из толпы Иван Вознесенский.

— А я и не робею, — сказал Ветлов. Верные слова товарища, сказанные вовремя, словно прибавили силы и смелости.

— Ты говоришь, государственное добро-то у тебя, а? — спросил Ветлов Тонского. — Ну, так чего жалеть, отдай вон Гришке Бунчикову. Гнедко у него скоро подохнет. А, отдашь? Знаю, что нет. Не было в мире богатея, который бы богатство свое дарил. Да нам и не надо его, дареное-то. Мы его, погодите, сами возьмем.

— Ого! Така бы гроза да к ночи! — сказал старик Филонов.

— А днем ли, ночью ли — будет эта гроза, будет!

— А! Вот увидите, мужики, придет время, правду говорит Ветлов. Не токмо у добрых хозяев — у всех и все поотбирают эти большевички, уж вы попомните мое слово, попомните. Слышь! — уверенно и твердо сказал Тонский.

— Кто был ничем, тот станет всем — поют в городу-то уже и теперь, — заметил Троха.

Ветлов повысил голос, заглушая всех.

— Да, недалек тот час, когда рабочие из города и бедняки деревенские возьмут власть.

— И землю всю русскую сделают нищей, бесхлебной — так?

— А вы ее уже сделали такой. Да! А теперь посмотрите, как мы хозяевать станем. Сенокосы по душам делить — и никаких!

— Да ведь сено-то едят не люди, а скотина.

— А! Не беспокойтесь за наше сено. Сено найдет зубы.

— Верно, Ветлов, голосуй!

— Голосовано, что голосовать-то? Незаконно это будет, граждане!

— Голосуй! — звучало все сильнее.

Ярин Василий уже подсчитал: по душам для него получается выгоднее, и когда поднялся густой лес рук, Василий тоже поднял свою. Тут же выбрали комиссию. В нее вошли: староста Трофим Сопов, Тонских, Ветлов и еще два мужика.

Когда поздно ночью покос был поделен по душам, Тонский зло и ядовито сказал:

— Эко ведь как бывает: один смутьян появится и весь народ с толку собьет.

— А может к толку подведет. А? — посмотрел на него с прищуром Ветлов.

Весь покос был разделен на несколько частей. В субботу десятники выехали на острова. Полдня Троха с мужиками бродил по островам, Ветлов не мог успеть за ними, сел в лодку и стал ждать. Только к обеду вернулись мужики, чтобы плыть обратно в деревню.

Егор Вознесенский с горечью сказал Ветлову:

— Островки Компанейские опять достались нам, безлошадным.

— Почему нам? — соскочил с сиденья Ветлов.

— А вот поди ты с ними, да и потолкуй, — махнул рукой Егор в сторону Трохи.

Ветлов не спрашивал. Он впился острыми буравчиками глаз в Трофима. Тот отвернулся, пытался одолеть колючий взгляд Ветлова, полный презрения, возмущения, но наконец, не вытерпел:

— А! Вы хотите, чтобы на жиру да еще и со сметаной. Облопаетесь.

— Мы хотим справедливости, — бил Ветлов себя в лохматую подпаленную солнцем грудь.

Между ними встал Тонский и, тыча шестом в гальку, уговаривал:

— Посуди-ка ты, Иван, без шуму: коней нет у вас — лодки есть, а на островках только лодками и собирать сено. Ведь мы не без головы же решили.

Все знали, что Компанейские островки косить — это принимать на себя тяжкие муки. Не зря, тот, кто косил их, на все лето прозывался каторжником. Пятнадцать мелких — коню не разбежаться — островков, заросли наполовину лозняком, засыпанным галькой, с редкой и несъедобной травой, стояли в разбросе. Дождливым летом река до сенокоса топила островки, оставляя потом на траве песок, ил, щепки и корье. Утомительным трудом было возить оттуда сено на лодках. Нередко груженая лодка, шарахнувшись в подмытый берег, тонула, и добрая копна травы вырывалась из протоки и, на глазах всех косцов выплывала на середину реки.

— Вон сено каторжан плывет, — хохотали мужики.

«Хапуги! С умыслом решили! Достанется теперь бедноте», — думал Ветлов, плывя домой.

В этот же день село, как разворошенный муравейник, стало бурно готовиться к сенокосу. Зашумели во дворах рубанки, застучали топоры, зазвенели пилы. Сверкали над крышами рогатые зародные вилы, подсыхали на сараях только что изготовленные грабли, трепетали берестой волокуши. Варили мужики из дегтя, извести и песку состав для точильных лопаток, выпиливали ступы для баб, отбивали косы и на пробу выходили в огород — косили на межах крапиву. Люди в эти дни добрели, громко здоровались, а иные артелью собирали деньги и бежали к Катышвиллю за водкой, но много не пили, охотно угощали «каторжан», кому выпала участь сено косить в тайге да на злополучных островках. Жители землянок также готовились к сенокосу, подогреваемые Ветловым.

— Черт с ними и с островками. Я помню, когда работал у Трохи, на них травы были добрые. Дружно — не будет грузно.

Ветлов, как десятник островков, бегал от землянки к землянке, подсчитывал косы, грабли, вилы, тормошил мужиков, расхвалил косу Степана Сопова, сказав, что такой литовки по всей Ангаре не найдешь. Мужики слушали, усердно работали, однако веселья

не испытывали. Уже под вечер к Ветлову пришел пьяный Гурьяк Косой. Он виновато бормотал:

— Ты, Иван, прости меня, прости старого. Вот видишь выпил... Это сено-то... прости...

— С кем такой беды не бывает, что прощать-то! — добродушно ответил Иван, но старик одно твердил:

— Не-ет, ты это само, прости меня, старого. А пай-то свой я продал, вот. Эх, прости!

У Ивана грабли выпали из рук, он уставился на старика испуганными глазами.

— Да ты, Андрей Гурьянович, не с ума ли сошел? Кому продал?

— Трофиму, Ваня, ему. Да ведь и то посуди: куда он мне пай-то? Я Сивухе по калтусам насшибаю. А там мне, Ваня, не под силу. Избавь.

— Да ты сторожем бы был. Вот чудак! Отдай деньги Трохе, отдай, говорю. Слышь — сейчас же!

— Да ведь я сторож, ты сторож — Ванюша Вознесенский тоже без руки — сторожем захочет, а кто косить?

— Кто сказал? Я сторожем буду? Я косить буду. Косить! Плавить. Лодка у меня своя. Тут, вашу мать, по носу буржуев щелкнули, а ты напопятную! Не-ет! Не быть тому! Пойдем.

Несмотря на деревянную ногу, Ветлов обгонял старика. Тот плелся, опустив голову, растерянно бормоча и пошатываясь. У высокого крыльца соповского дома перевели дух, а когда вошли, Троха сразу понял по возбужденному, запыхавшемуся Ветлову о цели прихода.

— Ты зачем пай купил у моего десятинщика? Тебе кто дал право на то?

Потный и раскрасневшийся, видно, после бани и выпитого вина, Троха благодушно улыбаясь, кротко сказал:

— Продай и ты, коли есть охота. Я Гурьяка не тянул за язык.

— Сам я, Ванюха, сам. Да и деньги... Что тут осталось? — вздыхая, говорил Гурьяк.

— Ну, посмей еще у кого-нибудь купить... — задыхаясь, с дрожью в голосе сказал Ветлов, — ...я тогда вытащу тебя... Я с тобой сам, по-солдатски... Не гляди, что...

Троха спокойно хохотал.

— Дык я уже попробовал: вот у Гришки Бунчикова купил. Беги, узнай.

Как пьяный, Иван вышел от Трохи, смял в руках картуз, и низко опустив голову, побрел, взбивая деревягой пыль. Завидев Ветлова, в ворота шмыгнул Гриха Бунчиков.

— Стой! Курносый поросенок! — крикнул ему Иван, но тот скрылся в избе. Ветлов, не отставая, распахнул дверь избы, собрал на груди Гришки ветхую рубаху, зашипел:

— Продал?

— Продал, Ванюха. Вот видишь, баба квашню месит.

— За сколько? — тихо спросил Ветлов.

— За пуд, Ванюша. Что поделаешь? За пуд, за пуд муки.

У Ветлова перехватило горло, он опустил руку, медленно повернулся, не глядя, толкнул дверь, да так открытой и оставил.

Аксинья и Гришка вышли за ним во двор. И пока Ветлов проходил через широкий зеленый двор, все глядели на Ивана, на его сжавшуюся фигуру, на то, как он тяжело поднимал, будто вытаскивал из грязи, свою деревяшку.

Бунчиков зять

1

Трофим Чуба рассчитал. В субботу, когда Алешка вернулся с заимки, он позвал его в дом и сказал:

— Сколь заработал — получай. Больше не держу. Вольничать не надо. Тут все подсчитано: пятнадцать рублей, чирки новые, пара белья и рубаха, штаны вот не так новые, но еще дюжие, себе шил. На год рядились, за полгода расчет.

Уже вечером Чуб был хмелен. На нем голубела рубашка. Светлые глаза отражали хмурь предгрозовой поры. Скоро ночь, куда идти спать? К матери идти стыдно. Он пришел на полянку и сел на колени к Машке Бунчиковой. Другая бы согнала, не разрешила, а Машка, удостоенная неожиданным вниманием парня, расплылась всем своим широченным носом, весело вздернутым, как у отца.

— Погода портится, а Алеша в новой надевашке. К чему бы это?

— Сиди, Машуха, и помалкивай, не до того мне. — Хмельной Чуб всегда был добр, душа его широко распахивалась. — Я, Машуха, от Трохи ушел, ну да черт с ним. Были бы руки, а работа будет. А теперича я вольный казак. Эй, Петро, гармонь тащи, ноги вот так и ходят.

— Дождик брызжет, размокнет.

— Жалко? Жжила! А я вот на гребенке сыграю.

Вытащил у Машки из головы жалкий остов гребенки, а из своего кармана — газетный листик, приложив к губам, заиграл вальс. Играл Чуб и раскачивался и так это походи-

ло на звуки гармони, что его самого подмывало сплясать. Молодежи было мало. Девки, боясь дождя, разбежались. Одни парни, сидя на бревнах, перешучивались.

— Погодка, язви ее, никудышная. Знал бы, на заимке остался.

— Алешка, черт, дождину накликал. У него с небом вечные споры, все лето в обноске ходил, а небушко сияло. А теперь, видишь, всю синь небесную украл.

Алешка шутку подхватывал:

— Я своей рубахой весь дождь разгоню, вот увидите, — потом поворачивался к Машке: — Голубушка моя, ты стала синее моей рубахи, бедняжка, и коленочки трясутся. Гони ты меня, черта рыжего.

Но Машке в радость было это новое неведомое ей чувство, неведомое потому, что парни избегали ее по причине слишком курносого носа и бедной одежонки. Сейчас голубые ее глаза зазывно заглядывали в лицо парня, трепетало все ее зрелое тело.

Темнело. Парни один за другим уходили, подхватывая редких девок.

— Смотри-ка, одни остались, проводить что ли тебя, а?

Маша задохнулась от неожиданного счастья и ничего не сказала. Через несколько минут они уже стояли около разбитых и едва держащихся на подпорках ворот.

Дождя не было, но тьма навалилась такая густая, что Чуб не видел лица своей собеседницы и только чувствовал ее полное упругое тело и слышал ласковый говорок. Какой-то хлебный, теплый запах исходил от нее. Хлопнула разбитая щеколда, и они оказались во дворе, тут же наткнувшись на Гнедка, который теперь мог стоять на слабых ногах. На повети пахло свежим сеном.

— Рубашку-то сними, Алеша, — ласково трепетным голосом сказала Маша.

Алешка лежал, глядя в прорехи истлевшей крыши и чувствовал, как со всех сторон давит его безысходная тоска. Что-то не то, что-то не так надо было сделать, но убежать он тоже сейчас не в силах. И удивился самому себе, когда по щеке пробежала крупная слеза.

Кто-то все-таки прознал. Утром только Чуб вышел из лавочки Катышвилля, как из-за угла крик:

— Бунчиков зять!

Чуб оглянулся — никого. На земле лежал осколок кирпича, он невольно потянулся к нему, с треском разбил его о старый жернов, лежавший у крыльца катышвиллевой лавки. А с другой стороны уже летело:

— Манькин жених!

Чуб ударил о ладонь сотку так, что с треском выскочила пробка и, не отрываясь, выпил всю. «Приклеили ярлык — не оторвешь» — подумал он. Дорогой заскочил в Трофимов огород, выдрал луковицу и закусил. К матери не шел, знал, что убивается из-за него. Десять рублей отложил подальше, что бы ни было, а деньги отнесет домой. Незаметно для себя Алешка оказался на протоке, сбросил одежонку и прыгнул с крутого яру. Вынырнул на середине и вытер лицо рукой. «Бунчиков зять» — пронеслось в голове. Саженками он понесся по течению, затем сильным телом метнулся к берегу и устало присел у закрайка. Машка, будь она проклята, все в глазах — и не та ночная, что жарко обнимала, неистово шептала, волновала его молодое тело, а та, утренняя, розовощекая, с чуть вьющимися волосами у кромки лба, с открытым белозубым ртом, с крупными ноздрями «закатай нос», как говорили в деревне. С Алешки, как рукой, сняло весь сон. Тихо, чтоб не разбудить девушку, он слез с повети и задами ударился в лес, и там пролежал до жаркого солнца.

Чтобы забыть ночные воспоминания, Алешка нырнул еще. От вечерней хмури на небе не осталось и следа. Протока играла в россыпи серебра. Чуть слышно шелестели листья кудрявого лозняка на берегу Конного острова. Там пробирался на лодке Андрей Гурьяк, умевший без конца говорить даже с самим собой. Переплывая, он пристал к тому месту, где сидел Алешка.

— Помоги-ка, Алеха, затащить лодку. Плохо, брат, сегодня, совсем никуда. И рыбы нет, и ельцовку щука всю испридрала — беда! На днях завалилась добрая, сетенка была некорыстная, а удержала, а тут, чтобы ее... Чинить нечего, хоть выброси. Я слышал, Алеха, тебя Трофим прогнал?

— Прогнал.

— За что бы это?

— За дело, — лениво отвечал Чуб, одеваясь.

— Что же делать будешь теперь? Мать-то сама кусками живет. Порыбачил бы, испытал счастье. Ныне вон Егор Гачев, Степан Черный завалились рыбой.

— Нечем пробовать, дядя Андрей.

— А что надо-то? Вырви вон у кобылы моей из хвоста волос да свей леску. В крючках Василий Ярин не откажет. Удилище в чаще сруби — вот тебе и вся недолга. Митрий вон Шастин хозяином стал через рыбу-то. Гляди, брат.

2

Чуб с Андреем Гурьяком, разговаривая, дошли до лавки Катышвиля, в ней было несколько мужиков. Бухая деревягой, сзади них толкался Ветлов. Он сминал рубашки у односельчан, ронял им голову на грудь, зло выкрикивал.

— Эх, по-рабочему я бы дал им. Я бы дал гадам. А ведь здорово, мужики, мы их с разделом сенокоса-то... Скособочились, жадюги.

Чуб еще выпил стакан и сушками закусил. Уже заметно пьяный, он опять пришел на протоку, где было много разнаряженных парней и девок. Пиликала гармонь, в кругу плясал Петр Ярин и при виде Алешки запел:

У моей-то у милашки
Замечательный носок:
Восемь курочек усядется
Девятый петушок.

Чуб вспыхнул, вызвал вспотевшего Петра из круга и, схватив за воротник розовой сатиновой рубашки, спросил:

— Ты про кого пел?

— Песня такая, а из песни слова не выкинешь. А что такое?

— А пошто запел, как я подоспел?

— Так пришлось.

Чуб еще туже собрал на груди рубашку и пригрозил:

— Еще пикнешь про меня, глотку вырву.

Но Петр знал и свою силу.

— Постой, ты на кого намекаешь? На Машку Бунчикову? Так песня сложена давно, а ты с Машкой спал этой ночью.

Не отпуская из рук рубашки, Чуб с силой ударил в лицо Петру, тот отлетел и свалился на землю, из носа закапала кровь, пятная розовую рубашку.

— Тунка, наших бьют! — взвизгнул чей-то голос.

Заметались девки, пестрой толпой понеслись в деревню. Парни вмиг свились в два плотных клубка, загоготали, разнеслась раскатистая брань. Свистнула разорванная на две части рубаха Петра. Ошалелый, не видя ничего, Петр шагнул вперед и со всего размаху ударил Кешку Чака. Кешка мотнул своей черной, как головешка, башкой и кинулся к пряслу. Затрещали жерди и колья и со свистом падали на головы, плечи, спины. А уж из двух концов деревни бежали бородатые отцы, сверкая в злобе расширенными глазами.

Позади всех ковылял Ветлов. Из-за прясла вывернулся Серьга Тонский и сзади сильным толчком двинул в затылок солдата. Когда тот ничком упал, начал топтать его сапогами.

— По душам захотел? Так я вытрясу из тебя душу! — орал Серьга.

— Ветлова бьют! — крикнул Степан Сопов Ивану Вознесенскому. Оба они с кольями в руках кинулись на выручку товарища. Вокруг Ветлова закрутилась карусель. Били, хлестали друг друга мужики, трещали на них рубахи, расползались гнилые гимнастерки. Степан Сопов с розовым шрамом через всю грудь метался с кирпичом в руках. Его кто-то ударил по руке, кирпич вылетел, а Степан шлепнулся, взметнув короткими руками.

— Брата моего бить! Степанку убивать! Иах! Иах! — в мешанине тел высокий Алешка Чуб поднимал кол и, описывая им круг, рассекал воздух. — А, и Кеша! Хозяин тут! Бей хозяина. Да, я в кровь, в душу... я за брата жизни решусь!

Чья-то жердь, свистнув раз и другой, ударила парня в лоб.

— Иах! — глухо выдохнул Алешка и как подрезанный, свалился на кочки.

3

За рытвиной у речки стоит баня не баня — маленькая в землю вросшая избенка. Дранье на крыше сгнило, труба развалилась. Два маленьких окошечка кое-как забраны осколками стекол. Сеней нет, а двери избы висят на одной петле. Вместо скобы — кривой гвоздь. В избенке, тяжело дыша, переваливаясь, ходит от печи к столу грузная, болезненная мать Алешки Чуба. Из-под платка выбились седые волосы. Из землисто-темных впадин смотрят усталые бесцветные глаза. Увечье сына чуть не свело ее в могилу. С открытым сухим ртом лежал Алешка. Он тяжело, прерывисто дышал, теряя сознание. В бессилии чем-нибудь помочь, мать выскакивала на улицу, кричала и рвала на себе седые волосы.

Спасибо, Петр Ярин поймал на лугу своего Пеганку, запряг в телегу и отвез Алешку в Урик к доктору. Поправлялся Чуб медленно, кормить его было нечем, кроме огородной зелени. Пошла мать к Трофиму и на сыновьи деньги купила хлеба.

Лежал Алешка и видел сквозь оконце, как нарядные девки и парни с розами, маками на груди, с вилами и косами на плечах, с корзинами всякой еды шли на Камчатник. Прошла и Маша Бунчикова и посмотрела на избенку Алешки, потом еще и еще раз оглянулась.

Придерживаясь за стены, вышел Чуб в сени, сел на порог и долго смотрел на реку,

на острова, где суетились косари, пели и смеялись девки, как одна за другой отплывали от берега лодки, до отказа нагруженные людьми и скрывались за мысом.

Начался сенокос. Алешка чувствовал, как тело его наливается свежей силой, крепостью. И, может от этого, все вокруг казалось светлым и чистым. Как-то, сидя у избушки, Алешка увидел вывернувшуюся из-за Камчатника чью-то лодку. Он пристально наблюдал за человеком, который, причалив к берегу, торопливо пошагал в деревню. Чуб по походке определил, что это кто-то из Яриных, а узнав Петра, ушел в избу: стыдно было, что он ударил того в горячке. Но Петр, как ни в чем не бывало, переступил порог и снял с плеча корзину.

— Фу, тятя меня совсем замотал с рыбой. Днем коси, а ночью рыбу лови. А ты, паря, совсем герой! Ну, здорово, давай лапу!

Чуб искал на лице Петра следов удара, и, к счастью, не находил, оно было загорелое, широкое, нос покраснел и облупался, серые глаза приветливо посверкивали.

— Теперь и на покос можно ехать. Или рановато еще? — широко улыбаясь, спросил Петр, потом глаза его вдруг помрачнели, дрожащим баском он продолжал: — Не знаю того, кто жердью тебя ударил, а то бы рассчитался с ним по-своему.

— Сам я виноват! — сказал Чуб.

— А я не виноват, что ли? — от всего сердца сказал Петр. — С Машкой-то Бунчиковой привязался к тебе. Вот дурак!

Сказал Петр и покаялся: у Алешки слегка дрогнули губы, пробежало по лицу и спряталось выражение брезгливости. Там, на острове, жизни не дают Машке: сложили про нее новые частушки, побасенки, склоняют вкось и вкривь имя Чуба.

Нет, нет об этом не расскажет Петр Чубу.

— Ты знаешь, где мы нынче? На Компанейских островах. Вот мука! Так упаришься, что не до девок. Трофим рядом с нами. Островки ему косят Степанко, Ваня Вознесенский да Гриха Бунчиков. Кешка бывал у нас раза три и все под мухой. К отцу липнет, как банный лист. Все в город собирается переезжать.

Петр улыбнулся.

— Я тоже, Алеха, не один. Учительница Вера Николаевна с нами. Балаган ей одной сделал, а полез однажды в него — прогнала, а работает не хуже других. Сперва варила отдельно в котелочке. Отец и говорит: «Робите на нас, ну и кушайте с нами». Стала с нами есть.

— Зачем ты связался с ней?

— А что я поделаю с собой? Ты знаешь, как она любит кататься на лодке. До зари, коли не на рыбалке, катаюсь с ней, а день-то ходишь, как сонный, а то разволнует разговорами так, что и не знаешь, как понимать их. «Ты, говорит, какой-то особенный среди ребят, красоты, говорит, нет в тебе, а симпатии в тебе, говорит, хоть отбавляй. За тобой, говорит, девки косяком будут бегать. А что сама втрескалась, о том ни гу-гу. Ну, так поедешь? Артелью рассчитаем.

— Нет, туда не поеду, — раздумчиво сказал Алешка. — Ты вот что: занеси-ка мне крючков, удилище какое-нибудь, делать что-то надо.

Петр оставил ему рыбы. Из дому принес рыбацкую сумку отца и, помирившись с дружком, уехал на остров. Назавтра Чуб сходил на курью, привел в порядок брошенную, сто раз смоленную, с разбитым носом лодчонку Егора Гачева, зашпаклевал ее, заварил, поставил новые уключины, а назавтра чуть свет выехал на рыбалку.

Кешка в городе

1

Скрипит Трофим зубами, глядя на балаган нерадивого сына. День погожий, быстро сняло росу, и все тридцать человек вышли на греблю и копнешку. Трофим подрядил для сенокоса двух человек, взял с собой жену и все неудобно перед мужиками — по его скоту работников надо вдвое больше, а тут беспутный сынок спит до обеда и, не буди, обматерит, на чем свет стоит.

— Людей стыдно, Кешка, не позорь отца, слышь?

— А я кто тебе, верблюд, каждый день работать? У меня аж брюхо схватило от твоей работы.

— Жри вина меньше!

— Вином я лечусь, батя. А ты отваливай от балагана, нечего тебе беспокоить людей.

— Стыдно, Кешка, из-за тебя, подлеца!

— Стыдно, так закройся, грязно, так умойся.

Отец махнул рукой и ушел метать стог. Через час к стогу подошел Кешка. Парни и мужики встретили его смехом.

— Тебе вилы или грабли, Кеха?

— Самогонки первача ему бытулочку.

— Да девку мягкую под бок.

— Переплавь-ка, батя, меня на ту сторону, — вызывающе поглядывая на людей, обратился Кешка к отцу.

— Эх, Кеха, Кеха! — скорбно выдохнул Трофим. — Пусть тебя такая-то мать плавит, — и смачно плюнул со стога.

А когда Трофим, приняв на стог десяток-другой навильников, взглянул на реку, то увидел, что Кешка был уже на той стороне и спускался в распадок.

«Будь ты проклят, мучитель!» — подумал Трофим и яростно стал хватать подаваемое ему сено.

Кешка в деревне не задержался, он уехал в город в надежде увидеть Устю и посоветоваться кой о чем с дядей Павлом Парамонычем — хозяином самого большого в городе постоялого двора. Усти дома не оказалось, и Кешка решил, что это даже и к лучшему.

— Хочу, дядя, как и ты, иметь постоялый двор. Не знаешь, к случаю, кто-нибудь не продаст?

— Постой-ка, а деньги-то?

— На это дело хватит.

— В городе не слышал, а в Глазкове есть.

Кешка всегда завидовал дяде: ничего не делает, а живет куда лучше отца. По Кешке это самая наилучшая жизнь: пей, гуляй, собирай деньги с постояльцев. Думку о приобретении постоялого двора Чак лелеял еще на приисках, и вот пришло время исполнить ее. Рано утром вместе с дядей Чак отправился в Глазково, где на бойком месте стоял постоялый двор богатого олхинского крестьянина. Тот открыл в центре города лавку, потому и продавал свое заведение. Постоялый двор Кешке понравился: просторный с навесом дом — для себя — под железной крышей с окнами на улицу, большой, в пять комнат, окна с вырезными наличниками, теплая веранда, парадное крыльцо, посеребренные ручки у дверей. Во дворе — другой дом для постояльцев, в одну большую комнату, с нарами по сторонам, с длинным столом посередине. Все по-хозяйски пригнано, все прочно и добротно. Двор полон постояльцев, видать, дело идет что надо.

— Прибыльно ли держал двор-то? — спросил дядя.

Хозяин с достоинством отвечал:

— Какое время: летом рублей по двести в неделю, а зимой клади вдвое.

Денег у Кешки осталось еще на коня, сбрую и ходок. С неделю он кружился в своем хозяйстве и чем пристальнее приглядывался, тем больше нравилась покупка. Вечером в субботу дал распоряжение работнику, веселому и угодливому парню Егору Галкину истопить баню. И баня была превосходная.

В воскресенье Чак много ходил по магазинам Пестеревской улицы, подолгу заглядывался на нарядную публику и обдумывал, какой ему купить городской костюм. Ему не нравились наряды важных осанистых, видать, богатых, а может, образованных людей. Внимание Кешки привлекали подвижные и разбитные приказчики, подвыпившие кучера, распоясавшиеся и нагловатые, безразлично неряшливые к одежде сынки городских богатеев. Шляпу он определенно купит; шляпа решительно рвет со всем деревенским. Самая подходящая для его смуглого лица коричневая шляпа. Потом он обязательно приобретет тройку, вот такую, как у этого щеголя, который важно вынимает из крохотного карманчика жилетки часы. Кешка тоже к этому месту приостроит часы с цепочкой, но носить будет сапоги, потому что презирает «штаны на выпуск». Он уже видел себя на Большой, обязательно подгулявшим, шляпа у него на голове немного набок и вперед, рука лениво лезет в карман, нехотя вынимает платок. Он вытирает губы и беззастенчиво рассматривает проходящих барышень. Чудесно! В мыслях Кешка уже сидит на месте только что лихо прокатившего в пролетке господина в очках и в шляпе и признается, что у него получится ничуть не хуже, а даже лучше. Одного он не мог представить, как бы он прошелся по этой улице с Устей. Вот идет парочка: молодой человек, склонив голову к девушке, что-то говорит, говорит ей. Кешка не представлял, чтобы он мог так говорить с Устей. Другой важный господин шел, как свеча, прямо, его дама забегает вперед, заглядывает в глаза мужу. Что-то близко к тому, как бы прошелся с Устей Кешка, но и что-то не то. Часа три Чак ходил по магазинам, купил, что хотел, дома долго крутился перед зеркалом и, признав, что все покупки ему к лицу, запряг коня и поехал к Усте.

2

Дядя Кешки Павел Парамонович Сопов жил в городе уже много лет. На Ланинской улице красовался его двухэтажный деревянный дом, а около базара находился обширный постоялый двор. В его конюшне стоял десяток откормленных битюгов, а в теплушке жили трое работников. Летом, запряженные в широкие окованные телеги, под вырезными тяжелыми красного цвета дугами, лошади Павла Парамоновича возили грузы

со станции, и мостовая охрана не останавливала обоз, не просила плату: Павел Парамонович рассчитывался за проезд по понтону за месяц вперед. Слава о соповских битюгах разнеслась по городу после того, как он согласился перевезти со станции на мельницу паровой котел. Весь город видел, как карие битюги Сопова, вырывая булыжники черными копытами, бились в пене, волоча огромную «тележку» с паровым котлом.

Нередко обоз Сопова ездил на Байкал за омулем, в Залари и Тулун за хлебом, в Качуг с ленскими грузами.

Года три назад Павел Парамонович увидел у себя на постоялом дворе девушку, она сидела на телеге и, болтая ногами, жадно ела ломоть ржаного хлеба.

— Сладко? — спросил он девчонку.

— Шибко сладко, как пряник, — бойко ответила она.

— Чья будешь?

— Подкаменская, — ответила девчонка, не переставая мотать ногами, обутыми в шерстяные чулки и чирки.

— А там чья?

— Василия Ярина.

Пристал в этот раз Павел Парамоныч к Василию Ярину — отдай да отдай девку в стряпки. Наобещал целый ящик обнов, у Василия разгорелись глаза.

— Останешься, Устя?

— Останусь, — бойко ответила она, польщенная башмаками, кашемировым платьем, шалью и другими соблазнительными вещами, которых она никогда не нашивала.

А на другой день Устя, к великому удивлению Сопова, вынула из печи пышные булки, с румяной коркой.

— Ну, стряпуха из тебя, Устя, выйдет на славу.

А еще через неделю Устя убедилась, что подарки ей достанутся недешево. Целый день она крутилась как веретено. На постоялом дворе девушка мыла и подметала батракам теплушку, варила щи, кашу, почти через день месила квашню и пекла хлебы, ухаживала за двумя коровами и за четырьмя огромными свиньями.

— Золотые руки у тебя, Устяша, — ласково говорил хозяин, а хозяйка, тяжелая, рыхлая и ленивая, пригласила вскоре войти в зал. Устя дивилась богатому убранству, не подозревая, что с этого дня ей придется «проворачивать» всю огромную квартиру хозяина. Ее привлекли многочисленные фотографии на стенке. Она по-детски радовалась, когда видела в них своих деревенских. Вот сам хозяин сидит, а рядом с ним отец Кешки, а по другую сторону парень в белой папахе.

— А это кто? — показывает Устя на паренька.

— А это братец наш. Умер он рано: Алешка-то, что работал у Троши, — братцев сынок.

В молодом парне с залихватским чубом Устя узнала курносого Гриху Бунчикова и раскатисто захохотала.

— А он-то как тут, дядя Павел?

— Гриха-то? А вот сестрица его сидит — умершая тоже, Троха вон рядом. А на руках-то у матери племянник мой — Кеша.

— Кеша? Неужели это он?

Устя вплотную приблизилась к карточке и долго глядела на нарядного парнишку, на раскрытый его рот и на большие круглые глаза.

— Неужто он?

— Он, мошенник, — согласился дядя.

Осенью к домашней работе прибавилась еще и другая. Неделю Устя собирала в лесу бруснику, потом ломала рыжики, а позже на целые три недели уехала с работниками бить орехи, а когда вернулась из тайги, худая, в продранном платьишке, с избитыми руками, на скамейке в кухне увидела желтые высокие ботинки.

— Вот за работу тебе, за труды твои, — сказал Павел Парамоныч.

Схватила Устя ботинки, примерила на ногу — в самый раз с тонким хозяйским чулком, но хозяйка тут же чулки взяла и спрятала в ящик, а Устя поцеловала ботинки и положила под кровать в сундучок.

Устя не подозревала, что у Павла Парамоновича есть сын и что он сейчас на фронте. О нем в семье не упоминали. Несколько раз за три года приходили письма. Хозяева тогда вспоминали об Андрюшке, но как о чужом человеке. Письма, забытые и ненужные, лежали на верхней полке шкафа. Устя, оставшись как-то одна, с трудом прочитала первую строчку: «Здравствуйте, папа и мама!» Это удивило Устю, а она много дней терзалась мыслью: «Сын на фронте, а будто и нет его, будто и не сын».

Соседка, хромая старая белошвейка, однажды спросила Устю:

— Сынок-то пишет что-нибудь старикам?

— Пишет. Ага. — ответила Устя и тихо спросила: — А он вправду их сын?

— Да как тебе сказать... приемный он у них.

Больше белошвейка ничего не добавила, а через месяц, когда Устя отправилась с ней на базар, рассказала обо всем подробно.

У Соповых не было детей. Андрюшку они взяли совсем крохотным из семьи спившегося и потом замерзшего на улице дворянина Звягинцева. Дед Соповых был из ссыльных и много рассказывал о дворянах, их богатстве, важности, недоступности. А ну-ка! Сопов, сибирский мужик, станет отцом настоящего барина, а! Андрей вырос, окончил гимназию и, поступив в школу прапорщиков, заявил:

— Сопов? Фи! Кто такой Сопов? Моя фамилия Звягинцев. Слышите? Звягинцев. И не Павлович я, а Кириллович. Андрей Кириллович Звягинцев! Здорово!

Старики удивились, но возражать не стали. Андрей окончил школу прапорщиков и служил где-то далеко, редко сообщал о себе, но по-прежнему называл приемных родителей папа и мама.

— Значит, на фронте Андрюшка-то, — сказал, прочитав письмо, Павел Парамоныч и тут же приказал Усте: — Иди-ка поросят накорми.

За эти три года к башмакам Усти прибавилось новое пальто-сак, бордовое платье и большой, весь в цветах кашемировый платок. Она сравнивала себя с деревенскими подругами и признавалась, что она счастливейший человек на свете. Только вот скучно в городе, особенно летом.

3

Устя рвалась в деревню. Просила Павла Парамоныча.

— На два денька, дядя. Потом цельный год не буду проситься. Как же это сенокос без меня пройдет.

— Где два дня, так и неделя. Да кто тебя там приворожил? — и обещал отпустить на той недельке.

Устя плакала, хотела убежать, чтоб и не возвращаться сюда больше, она не любила город. Город угнетал ее непонятным и, как ей казалось, однообразным трудом; работник целый год метет двор, чистит коней, убирает конюшни: сосед плотник целый год проходит в одном и том же направлении, все так же держа на плече топор. Ее работа — целый год — корми хозяев и работников, мой и подметай пол.

То ли дело в деревне: на каждой неделе своя работа. И вот сейчас там сенокос, такое радостное время, когда все со своим скарбом, как на ярмарку, приедут на ангарские острова. Никому там не скрыть характера, привычек. Там подсмотрят, кто любит работать, а кто пятки греть. Целует парень красивую девушку, а не знает, не ведает, что отец облюбовал ему в жены далеко не красавицу, зато нравом кроткую да делом бойкую. Перепорхнут с сенокоса в деревню новые частушки, побасенки, поговорки, начнут ловкие парни-пересмешники на «полянках» показывать, кто как ходит, говорит, ест, пляшет; кто и как любит, бранится, ревнует. Не остыли еще сенокосные побасенки, а тут пришла пора для новых — жатва, шумные с вечеринками поденщины, а там по первому снегу молотьба на далекой заимке, в тесном зимовье, где добрые два десятка людей живут дружной семьей, в шутках да смехе, ночами слушая бесконечные сказки.

Нет, никогда Усте не привыкнуть к чужой, непонятной городской жизни, никогда не забыть милой сердцу деревни.

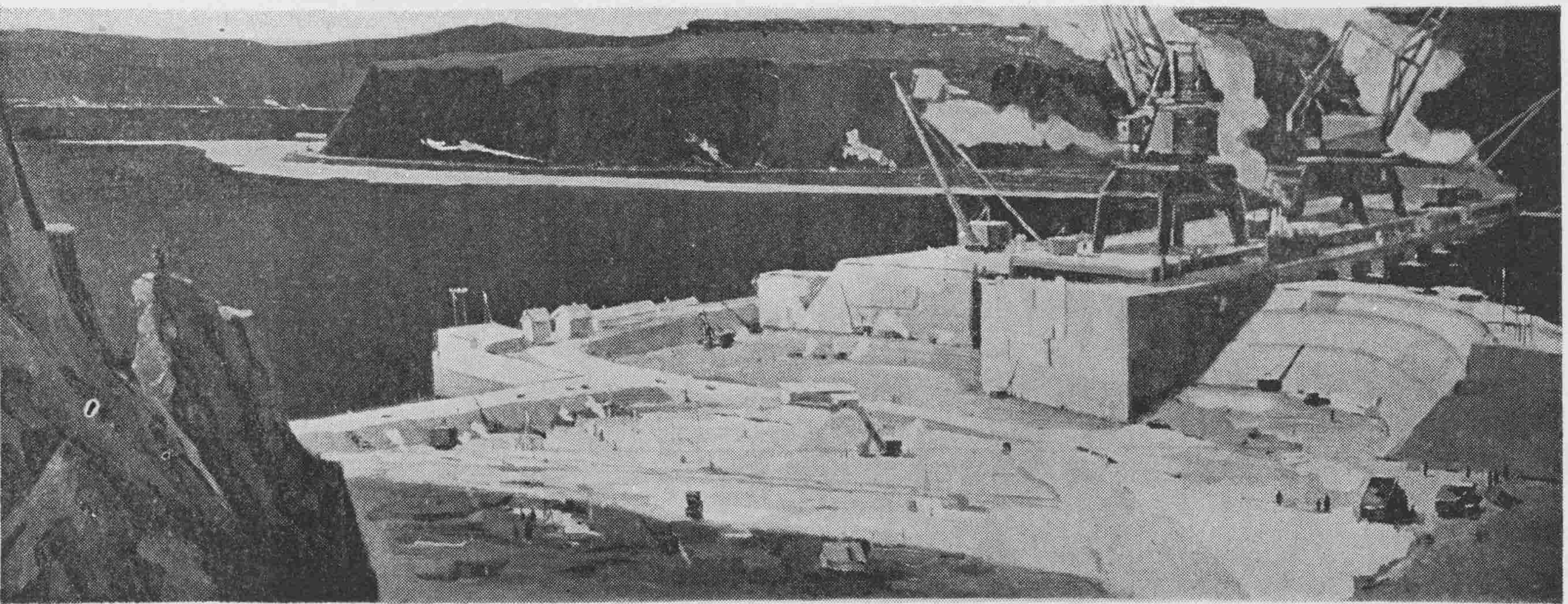
А тут из головы не выходит Кешка и в памяти поднимаются воспоминания о давнишней с ним смешной полудетской дружбе.

Кружатся взрослые девки на полянке, кружатся рядом нескладные подростки в простеньких платьишках, а поблизости воробьями на бревнах сидят ребятишки. Один из них большеглазый, задиристый, смелый на слово. Он глаз не спускает с Усти, и уж темно, а знает Устя, что следят за ней эти два черных бойких глаза. Зашептались девчонки, побежали вдоль улицы, гулко шлепая босыми ногами по пыли, запыхались, а знают, что за ними бегут «женихи», как в шутку зовут мальчишек взрослые парни. У самых ворот догонит Устю Кешка, схватит за руку, а сам едва переводит дыхание. «Ух, как ты бежала!» «А ты, ух, как догонял!» — Потом молчат, не зная о чем говорить в такую невыразимо радостную минуту. «Ну, я спать, а то мама...» — скажет Устя и, пожав руку, скроется за воротами.

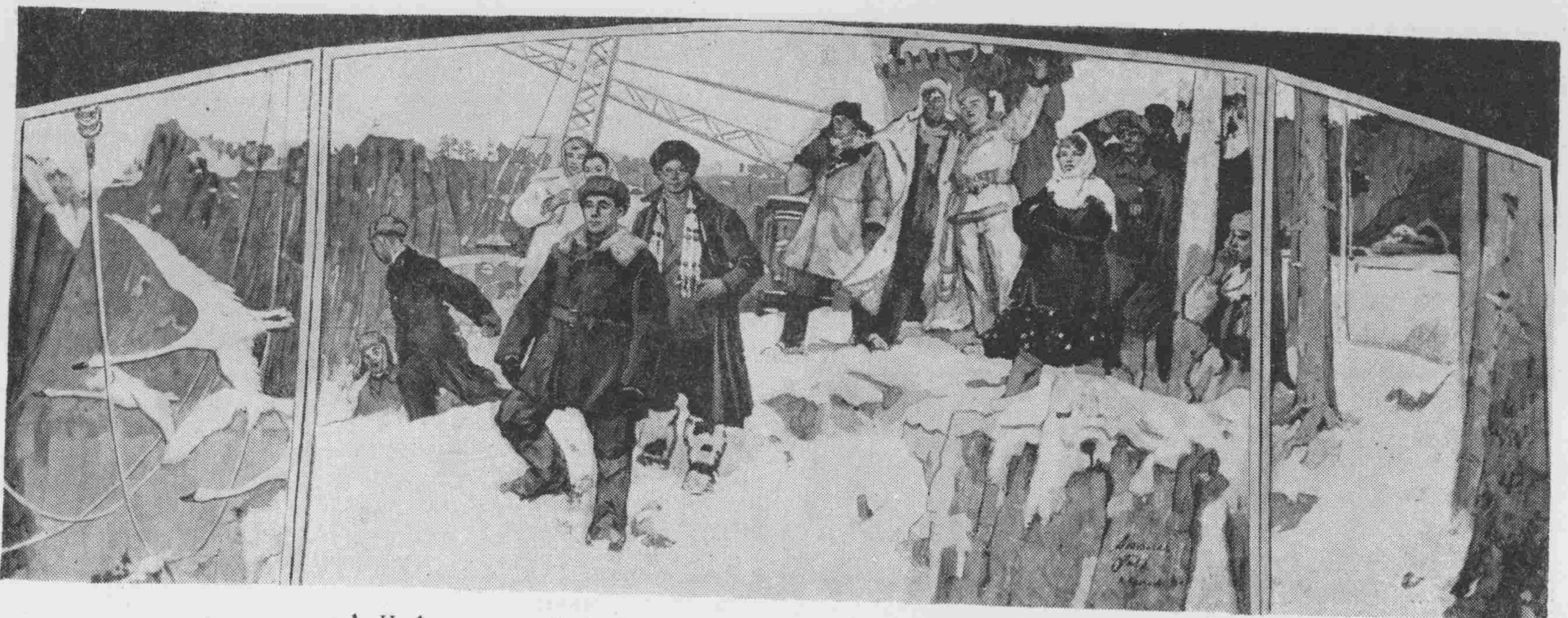
Нет, это еще была не любовь, но и тогда сразу не уснешь, все спрашиваешь себя: а что в нем хорошего — черный, большеглазый, большеротый, грубиян и драчун среди ребят. И скажет же ему как-нибудь Устя: «Не бегай за мной. Рано еще, да и мало ли хороших мальчишек».

А в другую субботу и воскресенье так же бегут с игрища, такой же короткий разговор, почти точь-в-точь повторенный, а лежишь и думаешь опять только о нем, только о нем и уже что-то видишь милое и неуловимо дорогое в озорных глазах Кешки.

Вспомнила прошлогодний сенокос. Она сидит с ним рядом у пахнущей свежим сеном



А. И. Шаталов. **В котловане Братской ГЭС.** Масло.



А. И. Алексеев, Г. В. Богданов, А. П. Крылов. **Сибирь социалистическая.**
Триптих. Масло.

копны. В руках у нее грабли, у него вилы. Ах, как бы подольше не приезжал возчик! У Кешки тонкая красивая шея, она вся в крошках сена, черные волосы взлохмачены, лицо в поту, рубашка прилипла к сильному мускулистому телу. Устя видит: он ее любит, любит каждым своим движением, любит потому, что не любя, он, такой отчаянный давно бы сказал что-нибудь грубое, как он говорит с любой девкой и парнем на сенокосе, а тут теряется.

Она смеется над ним, потому что не уверена, любит ли сама. Нет, ведь так и не осмелился Кешка поцеловать. Сенокос кончился, и он уехал надолго, почти на год.

И теперь только Устя поняла, что и сама любит парня. Вернулся Кешка и как-то созрело, развернулось в нем то, что пленило Устю: удаль бесшабашная. И одет он был не так, как все: на нем была белая шелковая косоворотка, черные плюшевые шаровары, широченные, мягкие, и гармошкой хромовые сапоги. За весну он был заводило не одной драки, но странно, с нею он был по-прежнему сдержан и мягок, и она гордилась этим, так как подруг парни избивали часто и те терпели и даже хвастались синяками от дружка.

Вспоминая все это, она тосковала по деревне. Устя вышла за ворота, села на лавочку, перетряхнула в кармашке нарядного фартука кедровые орехи и принялась их грызть, вытянув перед собой ноги в желтых высоких ботинках. Она так ушла в свою думу-печаль, что не заметила, как подлетела и круто остановилась игреняя лошадь, чуть подпотевшая в пахах, запряженная в легкие дрожки, и с них соскочил Кешка.

— Здравствуй, Устя!

— Кена! — удивилась Устя. Она быстро встала, с колен у нее посыпались скорлупки, опустила руки, в одном кулачке мяла платок, в другом держала орехи. На нее глядели ласковые и родные глаза. Кешка! Она так была счастлива в эту минуту, что хотела броситься навстречу, но что-то удерживало ее, и она заплакала.

— Что ты, Устя, что ты! — держал ее кулачки в своих руках Кешка и улыбался. Но Устя уже справилась со слезами, нарочно грубовато сказала:

— Я тебя не узнала, и конь не ваш, и тележка крашеная, городская.

— Я и сам городской, Утя. Ну да ладно, об этом потом, садись, Утя, прокачу. А? — Он посмотрел на ее платье. — Ты такая нарядная! Садись! — Он усадил ее рядом с собой, дернул вожжами, конь легко снялся, понесся по пыльной Ланинской. Кешка, по-цыгански поухивая, вертел головой, смотря то на коня, то на Устю, то по сторонам.

На углу Большой Кешка попридержал коня. Сделал крутой поворот, ухнул, и дрожки понеслись, обгоняя одну, другую извозчичьи клячи. По третьей лошади Кешка, озоруя, ударил кнутом. Устя взвизгнула, когда сзади, не достав их, шаркнул по задку кнут обиженного извозчика. Кешка погрозил ему кулаком. Устя одной рукой держалась за металлический бортик сиденья, другой за горячий и тонкий стан парня. Тот теперь весь ушел в игру с конем, то и дело сбивавшемся с рыси и переходившем в намет. Девушка видела, как на них строго смотрели прохожие, как метнулся навстречу милиционер и тут же отскочил. Устя прижалась к Кешке и громко смеялась:

— Гляди-ка, как мы!

Не сбавляя бега коня, Кешка повернул на Амурскую, и Устя испуганно почувствовала, как на миг заднее колесо повисло в воздухе и дрожки накренились, и опять облако пыли заклубилось сзади. Но вот пахнуло прохладой с Ангары.

— Куда ты меня везешь? — спросила Устя, когда проехали понтон и стали подниматься в гору.

— Дом-житье смотреть, — смеялся Кешка, а через минуту подвернул к воротам и круто остановил коня.

— Ну, как дом, Устя? Мой дом.

Устя удивленными глазами смотрела на высокие ворота, на красивый под железной крышей дом, постройки, не понимая и не спрашивая, и в уголке ее тонких губ дрожала присохшая скорлупка кедрового ореха.

Ангара-мачеха

1

В тихое утро, когда солнце еще за горой и на западе все еще темное ночное небо, восток будто подбелен. Миг — и это светлое молочное пространство разольется на полнеба, отчетливо обозначится кромка горизонта. А солнца еще нет, и лишь облачко, прилетевшее откуда-то, вдруг прошьется по краям золотом, нет, вот уж ярким огнем охвачено оно все и трепетно бьется в пламени и сгорает, а из-за леса, глазу заметно, медленно и царственно выплывает солнце. И враз замолчат все птицы, притихнут ивовые заросли на островах, влажные травы, хмурые сосны на вер-

шине Камчатника, и багульник, и березки на берегу — все, радуясь солнцу, замолчит. Но замолчит на мгновение. Чуть зашевелит крылом ветер верховой, выведет из оцепенения весь удивленный красотой солнца мир, и неистово зазвенят птичьи голоса, бодро зашумит бор, а над Ангарой поплывут к небу жаворонки, у скал приветливо закружатся стрижи, скрываясь в своих норках, то комом вылетая из них. Чайка взмывает ввысь, подхваченная ветром, косо летит в сторону, опустив свой черный клюв, и вдруг падает в воду и уносит в ногах серебристого хариуса.

По каменистому берегу, взмахивая длинными удилищами, бродят рыбаки. Редкие из них ловят рыбу с лодки. Некоторые плывут вдоль берега, сонные, усталые, с красными воспаленными глазами — это рыбаки ночного промысла, сетевики. На берегу их поджидают жены, подвязанные теплыми полушалками. Они подтаскивают на берег лодки и забирают улов. Рыба сложена в корзины, молчаливые мужики переплавляют баб на другой берег.

Час, другой рыбаки на берегу хранят гробовое молчание и, только когда начинает припекать солнце, они кладут на прибрежную гальку длинные и тонкие удилища и, растянувшись на камнях, богатырски уснут. Другие в это время варят чай, роются в сумках или соберутся в кружок около огонька, закурят и разговорятся.

— Здоровый брался, да сошел, — начинает Андрей Гурьяк.

— Да что ты говоришь! — насмешливо удивляется Василий Ярин, приехавший рыбачить с сенокоса. Вчера день был дождливый. Сено мокрое. А Василий зря время терять не любил.

— Ей-богу, Вася, посадил свеженького червячка, поплевал на него и как саданет, аж с камешка сорвался.

— Ну и врешь же, ведь врешь! — задорит Василий Андрея Гурьяка. — Что за рыбища, чтобы с камня стащить.

— Вот те крест, Вася, с камня по самые колени в воду, хоть и бродни целы, а ноги промочил. И вот завозился, вот задергал, думаю, жилку оборвет или сломает нарост, черт те какой, что лучше бы и не брался.

На ногах Андрея Гурьяка бродни, подошвы — заплата на заплате, порыжелые голенища все в дырах и — что доброго в обуви — так это свитые в пять рядов посконные оборки.

— Разувайся, дядя Андрей, сейчас уличу тебя в обмане, — кричит ему Чуб.

— Ну, Алеха, как ты все понимаешь, ведь не таймень же поди-ка, но дергал я те дам! И ведь подвел подлеца к самому берегу. Вижу этак косит на меня глазом, сейчас почнет рваться, а потом вдруг за камешек — дерг! и был таков. И ведь так, ребяты, обрадовался он, что раз пять еще взыграл, леший!

— Ну, а поймал-то сколь? — спросил Чуб.

— Да парочку.

— Больших?

— Да дивных.

— Кажи, дядя Андрей.

— Эх, Алеха, привяжешься как репей. Пусть себе харюски сидят на кукане да пьют водичку, а зачем их мучить да глазеть на них, от этого ведь они не вырастут. А какие ни есть, все мои. Пойду-ка побросаю.

Чуб сидел у огонька и глядел, как старик, закинув лесу, не шел, а плыл по бережку, торжественно выставив перед собой удилище, подошвами бродней нащупывал под ногами камни, перешагивал через них и шел дальше. Андрей Гурьяк не умел молча ловить рыбу. Он вел бесконечную беседу с крючком, с червяком.

— Ах, черт-те, дернул, а не взялся, смял червячка, подлец сивобрюхий. Ну постой же, сейчас ты меня не обманешь. Смотри, какого красавца я наживляю, не червяк, а земляника-ягодка, а еще поплюем и вот так закинем. Добренько! Поплавок-то что твой король, ну, клюй же, клюй. Вот так, подходи, да не рассматривай, а бери, не пучь шары-то. Не к Ивану, так к Митрофану попадешь, что ты теребишь, что ты теребишь — хватай! Ага, а я тебя подсеку, вот так и ладненько, только уж не сорвись, сиди и ни гу-гу! И! Сколько в тебе пороху-то, а возишься, возишься, то-то вот так спокойненько, к бережку, к бережку, вот на песочек и ложись, ах ты, гость дорогой. Гостенек долгожданный, вот я тебя на куканчик. Ну, вот и ладненько. Хе!

Чуб пошел по берегу к другим рыбакам, где стояло несколько лодок и шел громкий разговор. Он пробовал рыбачить и с берега и с лодки — и едва-едва на уху наловил. Удача была лишь один раз, когда Иван Ветлов дал ему на мушку желтого казацкого сукна. В тот день он неплохо поймал, но хариус-великан оторвал крючок, и опять наступил конец рыбалке.

Ветлов встретил его шуткой.

— Ты к Гурьяку все поближе. Глядя и переймешь его колдовство. А учиться тебе, ой, надо! Гляди коленки-то у штанов продрал, чирки избил о камни, а рыбы и фунта не продал.

— Дядя Ваня, ты бы мне казацкого еще... на мушку...

— Вот нашел лавку с'товаром. На-ка вот, на эту попробуй.

— Так то не из казацкого сукна!

— Это из солдатского, серенькая, — засмеялся Ветлов. — Лови.

Лицо у Ветлова доброе. Чуб вертит в руках крохотную «мушку», искусно сделанную из обыкновенной серой шерсти, с черной головкой и желтыми усиками. И верит в нее и не верит: ужели удача будет?

Ветлов крутит папиросу и смотрит на ровную гладь реки.

— Да, Алеша, прогнал вот Трофим тебя, ты и решил счастья искать на Ангаре. А она вон какая, матушка. Где она, удача-то: среди Барабанов-островов, на Воротовой, на Ключиках или вот здесь, рядом? А может, ее, удачи-то и нет для нас? Хлещем, хлещем с утра раннего до потемок по реке, а идем домой с пустой сумой. Ба-альшая ты Ангара, во-он какая: вороночки завиваешь, камешки точишь, а где рыбка сгрудилась — не скажешь.

Ветлов сплюнул и, сощурив глаза, смотрит на далекий левый берег, смотрит пытливо, словно читает там свои думы.

— Зря жалобишься, дядя Ваня, лучше тебя никто не ловит, — сказал Чуб.

По морщинистому лицу Ветлова пробежала улыбка и отлетела.

— А живу не краше вас. Вы идете с пустой сумой, а у меня в ней два хариуса трепыхаются. Идешь и думаешь: продать или ребятишкам скормить? Живем так: в брюхе не густо, и на брюхе пусто.

Но Ветлову лестно признание, что его считают лучшим рыбаком.

— Рыбачить надо с мозгой. Надо весь этот бережок вышарить, от Подкаменной до Каштака, каждое место свое время знает, свою наживу. Хариус — это черт знает что за рыба. С винтовкой до Карпат добрел, лавливал разную рыбу, а такой хитрой не знаю. Я про Ангару сны даже видал: вот плывет твой поплавок и вдруг нырнет, а дернешься, откроешь глаза — окоп да шинель. Поймать нашего хариуса, дело знать надо ой как тонко! Скажем, что мудрого наживить червя, а не умеешь — не поймаешь, хоть плюй с наговором, как вот Гурьяк. Ты его наживил с головы, а рыба говорит, нет, наживи с хвоста, да голову оторви али хвост в другой раз, гладко ли надень, гармошкой ли натащи его; не узнаешь рыбьего 'вкусу — рыбы не видать.

На легких волнах покачивалась лодка, Ветлов сделал руки трубой и крикнул рыбаку:

— Клюет?

— За каждый раз! — отвечал ему шутя рыбак.

— На чего ловишь?

— На колбасу!

Червяка рыбаки называли колбасой, мясом.

— Кончай, а то зараз не унесешь.

Рыбак выбрал якорь, и лодка, легко скользя по воде, подплыла к берегу. То-то удивился Чуб, когда узнал в нем парня, с которым познакомился в троицу. Федя был в той же синей блузе, на ногах старые сапоги. Он причалил лодку и поздоровался с рыбаками, потряс за плечи Алешку, пытливо глядя ему в глаза.

— Эх, брат, ехал я как-то мимо Камчатника. Паровоз мой прогудел, вроде бы спросил: «Как живет Чуб?» — Камчатник ответил: «От Трохи ушел!» Ха-ха! Как это правда?

— Правда, ушел, — с озлоблением ответил Чуб.

— Молодец! Одним холопом меньше стало.

Рыба не ловилась. Рыбаки один за другим подходили к огоньку.

— Молодец, говоришь? — хмуро спросил Чуб. — Этот молодец три дня хлеба не видел.

— Только-то? — заметил Федор. — А ты знаешь, человек без хлеба месяц жить может, только бы водички давали. Да, да, что касается меня, то я уже неделю хлеба не вижу. Только кишка тонка оказалась — не вытерпел, на рыбалку потянуло.

— А как позовут на паровоз...

— Не позовут, — твердо сказал Федор и растянулся на камнях.

— Это скажи-ка, паря, пошто поезда не ходют, а? — спросил Гурьяк.

— А потому и не ходят, что рабочие бастуют. Забастовка, ясно?

Федор приподнял голову с камня и опять уронил, закрыв глаза кепкой.

Алешка Чуб не знал, что такое забастовка, он оглядел мужиков, те пересаживались на камни поближе к Федору, а Ветлов попросил:

— Ты, Федя, растолкуй мужикам, что там такое у вас.

Федя поднялся, глаза сурово нахмурились.

— А такое, что аж дух захватывает. Слыхали? На фронте наступление началось. Ура! До победного конца!

— Боже ж ты мой! — выдохнул Гурьяк. — Будто бы притихло... Ну?

— Вот наши деповские и сказали: «Не

хотим возить эшелоны с солдатами! Будет, хватит этой кровопивушки!» Начальство по домам машинистов ходит, упрашивает, грозит, а они: «У меня брюхо болит», другой «Бок закололо». а иной и прямо скажет: «Хватит, навоевались».

— Здорово! — поскреб затылок Чуб. — А на что жить? А?

— А со штанами да с юбками по деревням ходят, как я у вас. Не сладко, что говорить, зато тут вот все в порядке, — и Федя постучал в грудь.

— Да, а вот мы тонкожилыми оказались. Свое добро за копейку отдали волкам в пасть, — размышлял вслух Ветлов, отчего Гурьяк тут же полез за трубкой, часто-часто заморгал, будто к чему-то приглядывался, Федя продолжал.

— Верно, и у нас подлец нашелся. Знавал машиниста Мухина, дядя Ваня? Вот он явился сам. «Поеду». Нашелся и помощник и кочегар. Да только два паровоза подкатывали к составу, а отправить так и не могли: то тормоза не срабатывают, то с рельсов гайки свинчены. Поарестовали кое-кого. Меня вот тоже хотели, да я на рыбалку улизнул.

Все это время Василий Ярин молчал, покашливал, поплевывал, наконец сказал:

— Войну-душегубку скорее бы прикончить. Надоела, холера, вот так. Вот и Никита мой... Эх! Как бы теперь за Петруху не взялись.

— Что Петруха! Тут не одним Петрухой пахнет, — заметил Ветлов.

— Вот-вот, я то и говорю, — уклонился от разговора Василий.

2

Подувала низовка. Крашеная лодка покачивалась, в борта ее постукивали волны, на на реке начиналась легкая зыбь. Чуб поднялся и пошел к своему удилищу. Чем больше он думал, что рыбой не проживешь, чем чаще вспоминал о Трофиме: возьмет или нет, если пойти. За месяц жизни на рыбалке впроголодь он не раз вспоминал хотя и горькую, но не так уж голодную жизнь у Трофима. Ненавистен ему был богатей, но выхода другого не видел, как снова идти в кабалу.

Вот он широкий плес сразу после Барабанов. От правого крутобережья до луговой левой стороны все изъездил Алексей, все ямки, глубины, все места перепробовал. То тут, то там выхватит по хариусу. А вечером усталый, хуже чем от пахоты, притащится домой, бросит на стол почти пустую сумку и уснет мертвым сном.

Надежда на удачу поднимет его до зари, вприпрыжку гонит на берег. Голенища чирков шумят, сумка на боку подскакивает. Еще темненько, а он уже, чуть дыша, размотает леску. На небе морочек, тишина, и легкая низовочка — то, что надо, самая рыбацкая пора. Забросил первый раз — хариус поплавок потопил, подсек — сидит. Ведет Алешка рыбу к берегу, а самому видится, что сумка набита рыбой, пуд будет или полтора, это ведь большое богатство. Он грудой вываливает рыбу на стол. «На, мама, вези в город, латай дыры, а там и новое приобретем». А хариус рвется, упруго гнется удилище. Вот уж добыча в изнеможении лежит на песке, широко раскрывая жабры. Трепетными руками Чуб отцепляет крючок, сажает рыбу на кукан, торопливо надевает второго червяка, а думы не отступают. Уводят думы Алешку далеко, далеко и забыл он, что уже полчаса пролетело, а поклевки нет. Спохватился, обновил червячка, — хвать — опять хариусок, да такой славный — фунта на полтора.

Чуб, поглядывая на сизых хариусов, стремительно бросает взгляд на поплавок, следит за каждым его движением. Вот будто клюнуло, подсек — пусто. А время не ждет, солнце высоко, морок растаял и плывет по небу белыми легкими облачками и, как облачка, тает Алешкина надежда на богатый улов. Разве вечерком еще клюнет. И опять в потемках Чуб бежит домой. Подаст матери десяток драгоценных рыбок и, падая на кровать, заскрипит зубами.

Как-то мать в такой поздний вечер сказала:

— Троха приходил.

— Ну! — соскочил Чуб с кровати.

— Звал к себе, вот тебе и ну. На рыбе этой не проживешь. Ангара заморит нас. Не зря говорят: рыбу ловить — при смерти ходить.

Проснулась обида и с час терзала Чуба. Десять лет ведь работал и Троха его прогнал. В морду плюнул, в грязь втер. А и было бы за что. Полоска на заимке заросла, поди не боронена, не пахана на второй ряд. Свои поля Сопов тоже запустил. Слышал Чуб от людей, что он искал работника, не нашел в своем селе, так привез уриковского. Вспахал тот загон и убежал — не сладка каторга у кулака. Самого Троху видали за плугом, потом неделю только об этом и говорили.

А идти опять на работу? От одной этой мысли тошно становится.

И чего эти рыбаки привязались к ней, к Ангаре? «Нужда гонит, детишки, — решил Чуб. — Вот осень придет, все бросят ее, Ангару, да на поденщине рубли зарабатывать будут. А пока...»

Утром Чуб вскочил чуть свет и за сумку.

— Алешенька, — завопила мать. — Ведь измотался, почернел, онучки, вон за чирками тянутся, штанов зачинить не дашь, несешься. К Трохе бы шел, поклонился. А?

— Пусть Троха еще раз придет, — гордо ответил Чуб и вышел из избенки.

Трофим пришел еще раз, но Алешку как подменили: говорил он смело, высказал обиду, вспомнил материно польцо, Кешкины издевательства и наотрез отказался идти к Трофиму.

— Ну, дело твое, парень, гляди, — выходя сказал Трофим.

Чуб и тут не смолчал.

— А чье же, мое и есть.

Потом целый вечер до заката лежал на койке, блаженно улыбался, забыв про то, что лежит под одеялом без штанов: мать сидела рядом и к серым, истертым штанам пришивала огромные синие, с отливом, заплаты.

3

На зорьке Чуб уже был на Ангаре. Он пробовал серенькую мушку, подаренную Ветловым. На его счастье начался дружный клев. Алексей не успевал отцеплять рыбу да бросать в садок, хариус брался крупный, того гляди оторвет крючок. После каждой пойманной рыбины Чуб проверял дорогую жилку, ее крепость, остроту крючка, а когда тянул рыбу, шептал молитву. А тут, как на горе, попался матерый хариус, он гнул удилище, два раза взвился над водой. Алешка подводил его и оглядывал лодку, чем бы поддеть. Сизый с радужными перьями хариус тянул вглубь, уходил под лодку. «Берись за спину близ головы», — вспомнил Чуб совет, и когда рыба, блестя испуганным глазом, была рядом, Чуб, растопырив пальцы, сунулся в воду, но вместо того, чтобы схватить ее, ткнул хариуса пальцем. Тихо свистнув, жилка оборвалась, а утомленную рыбу понесло от лодки. Не помня себя, Чуб метнулся к корме, и по самое плечо сунул руку в воду. Он радостно ощутил, как трепыхалась в руках добыча, и тотчас растерялся: лодка накренилась, ледяная вода окатила колени, а потом когда Алешка опомнился и встал, узенький в палец край борта спасал его от неминуемой гибели. Он замер, боясь что-нибудь предпринять, когда сзади услышал:

— Стой и не шевелись!

Рядом в воду упал якорь. Крашеная лодка встала обок, Федор Шульга взялся за борт Алешкиной, требовательно произнес:

— Переходи в мою лодку!

Вычерпывая из выловленной лодки воду, Федя ворчал.

— Так, Алешка, не годится. Так не рыбу съешь, а сам рыбам на наживу пойдешь. И из-за пустого: рыба ушла, ведь другая будет, наука, парень, тебе. Ах, жадность-то раньше нас родилась, будь она неладная.

Чуб сидел на лавке, сам дрожал и слышал дрожь в голосе Феди.

— Ну, перелезай в свой корабль. Мушку оборвал?

— Ага.

— Серенькую?

— Ага.

— На нее ловил?

— На нее.

— Вот тебе и серенькая. Дай-ка мне твою удочку. У, какая снасть-то у тебя дедовская!

— Сосед дал.

— Ну, видно, на тебе, боже, что мне не гоже. На глубинках грузило надо потяжелее, кругляшками, а у тебя, видать, в кузнице ковали его. Дрянь все это, отвяжи-ка! На вот тебе. Гляди, все в норму, а вот тебе серенькая мушка, даже две.

Скоро садок Чуба кишел рыбой, к обеду она бралась слабо. Чуб знал, что рыба уже есть, что это деньги или рубаха или штаны, радовался этому, потому мало уже думал о ловле.

Крашеная лодка стояла ниже, облитая яркими лучами полуденного солнца. Чуба тянуло к Феде, он еще не сказал ему слова благодарности и чувствовал себя виноватым перед ним, да и хотелось посмотреть в добрые глаза этого парня. У кого такие глаза в деревне? Нет ни у кого таких глаз. И спас-то не кто-нибудь, а он, а ведь другие рыбаки стояли ближе, и будто и не видели, в какой он беде оказался.

Чуб вытащил якорь и тихо, боясь испугать рыбу, подплыл к Шульге, осторожно спустил якорь.

— Ну как, Алеха, поклевывает?

— Сроду так не лавливал, не знаю, куда и девать рыбу, столь много.

Чуб замялся.

— Я спасибо тебе хочу сказать.

— За мушки или за что? — усмехнулся тот.

— Нет, за спасение, Федя, утоп бы я. Лодка у меня никудышняя, да и глыбь вон какая, утоп бы.

— Ну что же, спасибо так спасибо. А вот с рыбой-то куда?

— А и не знаю.

— Ну так и давай мне ее, — захохотал Шульга.

Чуб тоже захохотал, потом Шульга серьезно сказал.

— Вот что, поедем со мной до Иннокентьевки, там и сбудешь улов. Согласен?

Чуб обрадовался совету.

Алешку и Шульгу далеко снесло, они заплывали на шестах. На пристани Чуб подтянул лодку и выпустил через отверстие воду из садка. Взял сучок и, убивая рыбу, бросал в сумку. Сумка разбухла, рыба скользила и катилась из нее.

— Вот рыбы так рыбы! — смеялся Федя, потряхивая густой копной темных волос.

Поселок Иннокентьевский был далеко не город, но и не Подкаменное. Дома большие, наличники окон красивые, улицы прямые и вели счет от станции — первая, вторая, третья. Люди куда наряднее деревенских, старики и старухи день-деньской посиживают на скамейках и щелкают орехи. Перед окнами тополи, чего нет ни в Урике, ни в Подкаменной, ни в Грановщине, ни в иной, известной Чубу деревне. Колодцы без журавлей, а с барабаном, или колесом. Чудно. Алешка ночевал у Феди. Утром тот посоветовал пройти по второй и третьей богатым улицам поселка и покричать: «Кому рыбы?»

Чуб так и сделал. Сначала он кричал тихо, но без робости, боясь, что засмеют, но никто не смеялся. Одни отворачивались, другие спрашивали: «Почем?»

— Меняю, — отвечал Чуб.

Раза три предлагали ему деньги, Алешка отвергал. Покупатели оглядывали парня с ног до головы и без вопросов понимали, чего ему надо.

Часу не прошло, как Чуб променял рыбу и разыскал Федора на базаре, как они условились. Из сумки Алешка вывалил синие брюки галифе, голубую косоворотку и черную длинную юбку. Хозяйка уверила рыбака, что брюки эти самого иркутского генерал-губернатора, который, убегая, забыл их на квартире. Верно, они были в коленках и на заду крепко потерты, покрыты леями из молескина, но носить можно было. Чуб тут же натянул на себя обнову. Федор осмотрел Алешку со всех сторон и заключил:

— Все девки в Подкаменной за тобой побегут. Ну, давай поскорее отсюда, а то милиция что-то косо на меня смотрит.

Они пошли на воинскую площадку, чтобы пешком или на поезде добраться до Ангары. Еще на базаре друзья заметили торопливо бегавших у ларьков солдат. И чем ближе они подходили к площадке, тем все чаще встречались служивые. Солдаты среди улиц и переулков жгли костры, что-то варили в манерках. Были они изможденные, но веселые, балагурили, завидев девушку или молодую женщину. Длинная, в полверсты, платформа, как муравейник, кишела военными. Особенно людно было у водогрейки. Солдаты умывались, обливались водой, стирали и на заборе сушили серые портянки, гимнастерки. В голове одного из эшелонов стоял остывший паровоз. Ни лязга железа, ни гудков, ни кипения пара. Станция жила лишь многоголосным людским гомоном, шарканьем и топотом сапог и ботинок. Поезда стояли.

— Вот что наделало наше «рабочее баста», — радовался Федя. — Здорово, Алеша. А?

— Мучаются люди. Везде мучаются, аж страшно, — глухо, насупив брови, сказал Чуб. — А ты чему рад-то?

— Эх, Алеша, Алеша, — в глазах Феди пробежала мимолетная грусть, и они опять радостно засияли. — Избавляться, Алеша, надо от тех, кто муку эту несет. Вон, хотя бы от того вон очкастого, что в золотых погонах. Ты видишь, на солдат он не хочет смотреть. Пойдем, поезда теперь не дождешься.

Федор с Алешкой прошли уже версты три, а солдаты и здесь были, они лежали под кустиками, на пригорке, печально поглядывали на проходивших мимо парней. За перелеском военных не было, и друзья решили было уже сесть под березкой и передохнуть, как рядом из-под куста поднялся солдат и, дико озираясь, крупно пошагал в сторону. И Федя и Чуб враз догадались, что тот задумал сделать.

— Эй, остановись, слышь, кого ты испугался? — крикнул ему приглушенным басом Чуб. Солдат сначала побежал, потом остановился, наклонил голову, шевеля палочкой траву.

— Ты удрать хошь, а! — не нашел добрее слов Алешка. — Слышь, давай, солдат, с нами айда. Не подведем. Ну!

И с этими словами Чуб выхватил из мешка купленную рубашку и сунул ее солдату. Тот побледнел, воровски оглянулся вокруг, мигом бросил в кусты фуражку, и Алешка не

успел моргнуть, как рубаха была уже на беглеце.

— Молодцом! Заправь скорее воротник. Вот так, а теперь шагай рядом со мной.

Втроем они миновали перелесок и вышли на дорогу. Солдат шел в середине, маленький, по плечо Чубу, бледный и вспотевший. Парни спустились в долину реки, и только тут Федор хлопнул служивого по плечу:

— Ну, как! Свобода! Свобода пришла! Не бойся, мы тебя в такое место упрячем, что сам Керенский не найдет.

Товарищи обняли солдата за плечи, а он, запинаясь большими сапогами о кочки, свесив не по росту длинные рукава рубахи, повторял едва слышно.

— Вот отделенный-то хватится! Вот отделенный-то хватится!

Чуб на своей лодке поплыл в Подкаменное, чтобы добыть что-нибудь из продуктов, а Федя с солдатом направились дальше в Убойную падь, глухую, заросшую сплошь сосной, а внизу — черемушником. Подкаменцы этой пади боялись, потому что крепко жило предание о рыбаке Ниле, убившем себя, когда к нему пришла старость. Говорили еще, что там живет уйма змей, водятся чудовищные совы, приютилась целая стая волков, и даже Ангару против пади бранили за множество коварных камней, о которые рыбаки драли сети. Весной бушует падь молоком цветущей черемухи, летом горит цветением трав — манит и манит к себе человека:

Федя и солдат затащили лодку в огромный черемуховый куст, укрыли ее ветками, а сами ушли еще дальше. Вот оно укромное местечко. Длинные ветки черемухи спустились к земле, сплелись с соседними ветвями, образуя темные своды. Рядом блестит светлый ключик.

— Вот в этом царстве мы и будем жить. К чертям вагоны, офицеров, войну. Ага?

Солдат болезненно улыбнулся, кусая соломинку.

— Так попадет, говоришь, от отделенного? — смеялся Федор.

— Ну, нет, теперь не попадет, — сказал солдат, затряс головой, тихо засмеялся. — Отделенный-то теперь доложил взводному. Ищут меня. Туда-сюда, нет. Хи-хи.

Лежа рядом, Федор расспрашивал солдата. Откуда он, кто его родители, сколько ему лет, богато ли жили, какова кормежка в эшелонах, есть ли дезертиры.

—Всю дорогу дезертиры. Вот уже на этой станции из нашей роты убежало несколько человек.

Федор смеялся и спрашивал вновь:

— Ну, а стрелять-то хоть умеешь?

— И винтовки в руках еще не держивал.

— Вот это вояка, — опять смеялся Федор, испытывая какое-то бескрайнее удовольствие от ответов солдата.

Они вскипятили чай. Федор достал краюшку хлеба, разломил ее пополам. Солдат нашел в кармане два замусоленных кусочка сахара, один дал Феде.

Они насторожились, когда услышали далекое и глухое кукование. Смешно и неумело прокуковал и Федя, и через несколько минут сквозь заросли к ним пробрался с мешком за плечами Чуб.

— Доброе место выбрали, — оглядывался вокруг Чуб. Он сбросил тяжелый мешок. — Вот тут еды на целую неделю: четверть молока тетка Татьяна Ярина дала, лук — к Трофиму залез и нарвал, морковь, бобы, горох — все это у Степанки взял. А вот самое главное — коврига хлеба — кто вы думаете дал? Работник Тонского Ванька Южатов у хозяина стащил. Соли вот забыл взять, дорогой только вспомнил. А теперь новость слушайте.

Чуб рассказал, что в волость понаехало военное начальство. Из Урика, Грановщины, Тихоновой пади, где уже прошла мобилизация и новобранцев угнали в город. Сегодня в Подкаменное явился военный, сидит в сборной, требует старосту, а тот на сенокосе. Послали за ним нарочного.

— Ивана Ветлова видел, — продолжал Алешка, — обрадовался, что этого парня мы уволокли из эшелона. Велел на острова ехать, ребят сговаривать, чтобы прятались, не шли в солдаты. Как ты думаешь, Федя?

— Ветлов зря не скажет, — уверенно ответил Федор. — Надо только подумать, как это сделать. А начать надо сегодня же.

Когда все было решено, Чуб свою заботу обратил на солдата. Он предложил ему моркови, отрезал ломоть хлеба, посоветовал у ключа умыться. Тот сразу же стал приводить себя в порядок. Умываясь, он трясся, фыркал, пытался смеяться, но смеха у него не получалось. Когда солдат подолом рубахи вытер лицо, шею, худое тело, Чуб посмотрел на него с удивлением:

— Да сколько же тебе лет-то, паря?

— Восемнадцать.

— А я-то думал, тебе сорок лет, не мене. Уж ты шибко грязный был. Ух, какой грязный! А тут смотри — и бровки черные, и глаза карие, и чубик славный. Чем не паренек! А солдат из тебя просто барахольный.

Парень в первый раз засмеялся радостно, без боязни.

На верхних десятинах и Компанейских островках сенокос подходил к концу. Косить уже было нечего. Скошенное сено не подсыхало из-за дождей. У всех вдруг оказалось много свободного времени. Девки и парни по всей ночи бродили от табора к табору, потом до полудня нежились в балаганах. Старики чинили грабли, острили вилы, правили волокуши. Мальчишки бегали по кустам — искали ягод, зорили осиные гнезда, ловили с берега рыбу. Балаган Маши Бунчиковой и Веры Николаевны выглядел с небольшую копешку. Узкий лаз — одному просунуться. В полутьме Маша прижимает к своей груди учительницу, горячо шепчет ей в щеку.

— Вы уж простите меня, Верочка, что я так перед вами напрямки. Весь сенокос молчала, а вот не вытерпела. И как бы мне его приворожить, как приручить, светлячка моего к себе. Бабушка Груня зелье какое-то знает. Всего-то одну ночь отоспал он у меня, а как в душу посмотрел мне. И нет мне ни днем, ни ночью покоя. Все вижу его во сне. Все смотрю, не он ли в лодке едет. Эх, Верочка, ты бы знала, как он обнимал, как целовал меня — вовек не забуду этого. А ты бы сказала, Верочка, Петру, пусть бы привез его, хоть бы на одну ночку. Уж я бы нацеловалась опять на месяц. Что хмуришься? Не хошь?

— Ой, задушила ты меня, Маша, отпусти. Ой! — вырывалась Вера из сильных рук, отвертывалась от жаркого дыхания Маши. — И что я могу, коли я сама не пойму, что со мной.

— С тобой одно, Верочка, ты любишь, любишь — и все тут. Такого короля, как Петра, ведь тоже поискать — не найдешь. А ты помогла бы мне-то разнесчастной приворожить моего светленького. Своего-то ты уже приворожила — не отворожишь ничем. Это я уж вижу.

— Да не о том я, Маша, не о том, — тонкие брови Веры надломились, на лице застыла печаль. — Были у меня, Маша, городские кавалеры, шутила я с ними, смеялась, а влюбиться не могла. Может, мала еще была, а тут... вот я и думаю, что меня что-то увлекло. Вот смотрю, Маша, как он косит, будто играет, схватит навильник — лучше его никто не поднимет, каждая жилка, каждый мускул играет в нем, шея, руки, глаза — на все глядела бы и не отрывалась.

— А я вот гляжу на тебя, Верочка, — продолжала Маша, — и думаю: «Пошто ты не ласкаешься к нему, и не смотришь, и хоронишься от него? Пошто?» Вот коли бы я — я бы вот на людях подбежала к своему светику и на шею бросилась: «Люблю тебя, миленок, люблю, Алешка, и все тут». Да вот нет его — беда. Верочка, скажи Петьке, черту, пусть бы его приволок, а?

По балагану троекратно стегнули прутом, потом послышался строгий голос Василия Ярина.

— Вылезайте, девки. Пора сено грести.

Маша выползла из балагана, потянулась своим сильным и полным телом. На измятом и красном лице неизменные васильковые глаза. Девушка роняет тяжелые руки на плечи Верочке, обвивает ее шею.

— Э, Верочка, так тебя и задавила бы, — певуче и тонко говорит Маша.

— А меня-то зачем?

— Да уж так. Тоскливо без Алешки, уж так тоскливо!

Потом целый день гребли рядом. Маша нарочно смущала подругу своей грубоватой простотой, звонко смеялась и заставляла смеяться Верочку. Потом отбросила грабли и упала на сено, а когда подняла голову, глаза-васильки были в слезах.

— Что, Маша, ушиблась? Что с тобой?

— А так! — тихо сказала Маша. — Пришла печаль и прочь отлетела, вот и все.

Однако отлетела, да недалеко. До вечера, дурачась, еще всплакнула раза два, а когда приехал возчик Ганька Ярин, стащила его с коня, и как тот ни брыкался, поцеловала-таки раз десять не меньше, приговаривая:

— Такой же светленький, как и мой. Дай еще, Ганька.

Ганька кричал:

— Да ну тебя! Да ну тебя! Да опоздаю же с последней копной! Засмеют потом.

— Нет, Ганька, коли поцеловала я, то не дам своему жениху опоздать, — и подмигнула своими васильками, потом набросилась на копну, подрылась под нее, крякнула — и вся копна вмиг перевалилась на волокушу, отчего в запряжке Чалко качнулся. Завязав веревки, Маша хлопнула коня по крутой холке.

— Лети, голубок, да у зарода там Петру привет передай от Верочки, слышь?

— Да ну тебя, Маша, хватит, — обиделась Вера.

Но Ганька, возвращаясь от зарода с пустыми волокушами к табору, крикнул другое.

— Чуб приплыл. Бунчиков зять! Эй!

— Ой! — села Маша на росную траву и беспомощно уставилась на Верочку долгим спрашивающим взглядом.

4

Василию Ярину бросили веревку. Усталый, с обожженной солнцем лысиной, он тихонько, чтоб не смять зарода, спустился на веревке вниз, сбил с себя сенную труху, откашлялся и обошел зарод. Стог свесил углы и даже в незаконченном виде обещал быть красивым. Василий подошел к хмурому мальчишке-копновозу и щелкнул его по носу.

— Ну, брат, заработал. Теперь целый год будут рыжим дразнить.

— Да я-то что? Вон Пегуха в кочках завязла, — в нос гудел парнишка.

— Кто теперь поверит этому. Эх, ты рыжий, рыжий! — шутил Василий и трепал огнистую голову паренька.

— А вы зачем пожаловали? Сенокос к концу, а вы за косу? — обратился он к Чубу и Федору.

— Хоть раз побывать, а то сны всю зиму мучать будут, — смеялся Чуб.

Василий, разминая застоявшиеся ноги, подошел к протоке, сбросил чирки. Холодная вода быстро студила ноги, но выходить не хотелось. Ярин, наклонив голову, окунул ее несколько раз в воду, фыркая, умылся.

Мужики оживленно разговаривали с Чубом и Федором. От спорящих летели слова: «Война, правительство, Керенский». Василий махнул рукой. Опять про то же, да когда же конец-то этим разговорам! — и пошел было к табору, но его остановило слово «новобранцы».

— Много новобранцев из волости уже угнали, — говорил Федор.

Василий подошел к мужикам.

— Опять какая-то новость? — спросил он.

Ему ответил Иван Вознесенский.

— Новость, дядя Василий. Никиту ухлопали, за Петром приехали. Отдашь?

— Это как понять?

— А понять просто: в сборной у нас военный сидит. Троху-то почему вызвали? Девяносто восьмой и девяносто девятый годы бреют по всем деревням. Вот и новость, мать ее не так.

Через час весть о новой мобилизации облетела деревню, все острова, где работали подкаменцы. На лодках, по кустам, бродом через протоки, к табору островков подходили парни. Они волокли за собой сухие сучья и бросали в кучу. Парни были возбуждены, многие видели себя уже в шинелях и с винтовкой.

Петр с Чубом налаживали костер. Ванька Филонов растягивал гармонь, что-то подбирая. Серьга Тонский рассказывал длинную и несмешную побасенку. Федя, закончив разговор с мужиками, вошел в круг и сел на бревно.

— Ты откель, городской? — заносчиво спросил Серьга Тонский.

— Оттуда же, откуда и ты, — спокойно ответил Федор и, не спрашивая, взял кисет из рук соседа.

— Не портянки ли менять принес, у меня все изопрели.

Федя словно ждал такого вопроса.

— Нет, браток, все, что было, променял. На рыбалку переключился. А тебе совет дам: коли портянок нет, иди в солдаты. Там их тебе дадут.

Чуб захохотал.

— Куда его? Ведь он от горшка два вершка. Да и киластый Серьга.

Девки прыснули, запрятались за спины парней. Парни громко смеялись. Серьга покраснел, а Филонов сомкнул гармонь.

— Ничего! — смело продолжал Федор, — Керенский и таких берет. Здоровые-то теперь ведь не идут.

— А коли позовут? — спросил Ванька Филонов.

— А лес-то на что? — раскуривая папиросу, ответил Федор.

Все замолчали, удивленные словами городского парня. Филонов вдруг встал и подошел к Шульге. Глаза его горели злобой.

— Значит, против власти баламутишь?

Федор, тоже встал, затянулся папиросой и насмешливо посмотрел в лицо Ваньке:

— Да, — твердо ответил он. — Я против власти, которая последнюю кровь высасывает из народа.

— Гад такой! Серьга, дай вожжи. Мы его завтра отправим, куда надо, — прорычал Филонов и схватил Федора за грудь, но в это время в круг ввалился Василий Ярин. Он, видимо, уже собрался ложиться спать, был бос, без картуза, в расстегнутой рубахе.

— Отцепись. Ну! — заикаясь, крикнул он. — Служить хошь? Иди! Иди! Кто тебя унимат! Иди! А я своего сына не отдам. Вот. Хватит одного. У ей глотка вон кака, четыре года жрет и не облопатся. Иди!

Ванька, испугавшись, сел на свое место.

Чуб смеялся:

— Так, дядя Вася, он же чихотошный, его не возьмут.

Опять все захохотали.

Федор спросил.

— Ну, так где вожжи, Серьга?

— Что-нибудь и крепче найдется, сволочь, — сказал тот.

Серьга и Ванька встали, обнялись и, скрываясь в темноте, запели:

Некрута, некрутики
Ломали в поле прутики.
Фонарей наставили,
Без памяти оставили.

— Не пугайте, не из пугливых! — бросил в темноту Федор.

— Плясать, девки, драке не бывать! — крикнул Чуб. В руках у него появилась балалайка. Он вошел в круг и лихо заиграл. Девки взялись за руки и, будто никакого шума не было, закружились, раздувая юбками костер.

— Смело ты, городской, действуешь, — подсел Петр к Феде. — А тятя-то мой как разошелся! Я даже диву дался. Три года назад Никиту провожали, он знаешь что кричал: «Или грудь в крестах, или голова в кустах, сынок». Да, — раздумчиво протянул Петр.

— Времена другие, Петро. А ты сам-то как думаешь?

— Воякам этим ты крепко утер нос. Они с Никитой нашим еще должны были уйти на фронт, да, видишь, болезни разные придумали, да и у отцов тугая мошна. А про себя сказать — так я решил — пойду!

— Вот как? — удивился Федор.

— Вот так, паря. А почему — спросишь? Так, трусом не хочу быть. Хоть ты и зовешь в кусты, а по мне это подлость. И этих сволочей, которые отсель утекли, ненавижу. Готов подойти и плюнуть им в морду.

— А вот Алексей не идет, он тоже трус?

— Как не идет, Алешка!.. Алешка!.. — крикнул Петр.

Алешка передал балалайку другому парню и подсел к ним. Петр, не отрывая глаз, смотрел на Алешку.

— Что ты? — спросил Чуб, не понимая взгляда друга.

— Ну, как? — Федор и Петр спросили враз.

— А! — догадался Алешка, насупив светлые брови, произнес: — Не пойду!

— Значит, трусишь тоже? — пытал Петр.

— Как будто и нет... Слушай, Петр. Мне в солдаты идти только от голода. Из-за куска хлеба. Так можно и в тюрьму. Ну, подумай сам, за что мне там пропадать? Пропадать, чтобы тут Троха брюхо набивал? А ты, видать, решил?

— Решил. Я не трус. Я не хочу прятаться.

— Ну и дурак! — коротко ответил Алексей.

Петр промолчал. Молчал и Алешка, обиженный решением дружка.

— У меня к тебе такое дело, — заговорил наконец Чуб. — В деревню нам теперь долго не заглядывать. Как раздобыть жратвы?

Петр встрепенулся, вздохнул:

— Черт с тобой, как хошь, твое дело. А жратвы я вам добуду. Скажите, куда притащить?

Весь этот вечер Петра тянуло к Вере. Она, не отходя, сидела у костра, накинувши на плечи белый шерстяной платок. Петр видел, как девушка вдруг поднялась, когда Филонов тряс за ворот Федора. Глаза ее округлились, брови приподнялись. Но вот все успокоились, и она опять села — и знакомая улыбка засветилась на ее лице.

Петр, который уже раз вспоминал, как он впервые увидел эту улыбку, не Верочку, не всю ее, как позднее, а только улыбку, чуть удивленную, милую, тогда он, угоревший от пляски, забежал в школу и, думая, что в кухне сторожиха, крикнул:

— Дай пить!

Тотчас же ему бросилась в глаза Вера. С лучившейся улыбкой она подала парню воды. Петр жадно пил и все смотрел на девушку. Потом во сне, в поле, на рыбалке — везде преследовала его эта улыбка. Как хочется Петру быть сейчас рядом с девушкой, но будто назло босой отец сидит перед костром. Вот Верочка взглянула на Петра, зевнула и, закутавшись платком, пошла к реке. Парень догнал ее, когда она шла уже по ровной галечной отмели.

— Верочка! — позвал Петр.

Вера дождалась его, остановилась, запрокинул голову, посмотрела в едва различимое лицо Петра. Тихо хрустнула под ногами галька.

— Ты знаешь, Петя, у меня и грустно и радостно на душе, — заговорила Вера, когда они сели на бревно. — Я счастлива, что приехала сюда. Впервые ведь я так близка к людям. И теперь вот тут я одних ненавижу, других люблю. У! Как противна мне купеческая спесь Филонова. А Чуба люблю, хотя он и груб. И отца твоего, и Федора, и Машу — так люблю, так они мне милы. Какая-то от природы доброта, часто грубоватая, так вот и веет от них.

— Я надумал идти в солдаты, Верочка! — с дрожью в голосе сказал Петр. Что она скажет, как она отзовется на это?

— Оттого-то мне, Петя, и грустно, — ответила она.

— Как же любовь-то наша?

Вера положила обе руки на сильные плечи Петра, прижалась к нему.

— Иди, Петя, надумал — иди. Чует сердце — войне конец и старому миру конец, и ты вернешься, обязательно вернешься.

Петр ждал не этого. Он вспомнил брата Никиту и невесту его Настю, как она плакала, как убивалась, провожая его. А Вера? Петр повернул ее лицо к себе и увидел милые губы, которые никогда не целовал, закрытые глаза. Обнял девушку и прижал к себе.

— А ждать будешь?

Маша два раза выскакивала плясать с Алешкой, мигала ему, пела частушки с намеком, раз даже потянула за круг, но парень будто оступился, захромал и скрылся в шалаше. Вечерка подходила к концу. Наступившие внезапно прохлада и серые сумерки заставили подумать о сне. Девки и парни с песнями отправились к своим таборам. Маша долго-долго стояла у своего балагана и поджидала — подойдет ли Алешка? Мимо с большим мешком прошел Петр. Потом прошагали Федор с Василием Яриным. Ярин размахивал руками и горячился. Вслед за ними пробежал Чуб. Маша прижалась к балагану, сердце ее так стучало, что на миг закружилась голова.

— Алеша! — позвала она тихим дрожащим голосом.

Чуб оглянулся и еще быстрее пошагал дальше.

— Алеша! — уже громче и надсадно крикнула Маша и бросилась вдогонку. Она жадно и торопливо целовала парню щеки, губы, нос. Алешка толкнул ее в грудь. Девушка оторвалась, упала на мягкие пружинистые кусты.

— А ну тебя! — зло сказал Чуб, закинул мешок на плечо и скрылся в кустах.

— Ой, Алеша, Алеша! — простонала Маша. Она не пошла по тропинке, а пробиралась кустами. Большая роса смочила ей кофточку, юбку, платок и волосы. Она не чувствовала холода и долго следила за тем, как четверо людей возились у лодки, прислушивалась к визгливо-приглушенному говору Василия.

— Дурак, эх, дурак! Вон, Мотька Силин, Степка Гачев час как уплыли в Каштак. Другие собираются. И что тебе взбрело в голову. Навоюешься, брат, навоюешься. Второй кормилец уходит. А! Одумайся, Петро, слышь! Одумайся!

Петр сильным рывком оттолкнул лодку.

— Прощайте! — дрожащим голосом крикнул он.

Маша, мокрая до нитки, вышла на берег, села на камень, подогнув под себя ноги и, чуть дыша, прислушивалась к едва слышившимся всплескам весел, к звяканью шеста, к еле-еле доносившемуся баску Алешки, а потом вся ушла в горький девичий плач.

— Алеша, мучитель мой Алеша! Да зачем я такая страшная на свет уродилась!

Каштак, Каштак!

1

В августе широко разлилась Ангара. Она погнала воду в курьи, затопила Конный остров, Барабаны, мутной массой выбрасывалась в низинах. Река несла то схваченную с залитого острова копну сена, то корье, доски, бревна россыпью и плотами, мусор. Бревна шарахались с берега, забивали мысы кустистых островов.

Василий Ярин поджидал такой поры. Он верил, что хотя Петр и взят в солдаты, но вернется и вскорости непременно женится, а избенка у них тесная. За сосновым бором в четырех верстах от села Ярин приметил хорошее угодье: река, луг, поле рядом. Самый раз дом поставить. За рекой лесу столько, что хоть всю зиму вози, но его надо рубить, кряжевать, разделывать. А тут Ангара несет к самому дому.

Рано утром Ярин взял Ганьку и с ним у Собачьего острова захватил плотик бревен в сто и затянул его в курью. Василий вечером разбил плот, а бревна выкатил на берег, чтобы за ночь все их перевезти в надежное место. Надо же такому случиться: берегом проходил Трофим.

— Добрых бревен наловил. Что твои свечи, — сказал он, смотря с хитрым прищуром на Василия, — на дом хватит с лишком.

— А что пропадать добру? Вон на островах прошлым летом накатало их на десять домов, а гниют и никому не надо, — оправдывался Василий, а про себя подумал: «Черт тебя подсунул языкастого, в волость бы не донес, гад».

За первую ночь Василий с Ганькой вывезли не меньше половины бревен и ободренные удачей, в следующий вечер поехали за ними на двух передках. Тут-то из кустов, покашливая, и вышел милиционер Пробкин.

— Куда, мужик, возишь бревешки?

— А никуда не вожу.

— А куда ты на передках-то махнул, не воду же возишь с Ангары?

— Не воду, то правда, там вон у меня в распадке жерди нарублены, прибрать надо: как бы не увезли, — хитрил Ярин.

— А к бревнам этим что подвернул?

— Вожжи вишь отпустил, а она, холера косая, вишь и свернула — домой норовит.

— Не хитри, мужик, бревна эти ты выкатил, а ночью половину увез и припрятал. Я все знаю, придется ответ держать.

— Да за что же ответ-то держать, господин милиционер? Я говорю, за жердями, хошь и жерди покажу?

— Покажи! — согласился Пробкин.

Василий проклинал себя за жерди, придуманные наспех, тут и лес-то такой, что и на тын не нарубишь. Василий проехал по одному косогору, перевалил другой. Дальше—ни дороги, ни тропинки, камень на камне. Кони едва находили место, куда ступить, колеса с грохотом заваливались среди булыжин, а Василий подстегивал: — Но, милая, но!

— Стой, мужик! Вишь, не удалось обмануть.

— Какой же тут обман, просто о дороге не подумал: надо было в объезд, а я, язви меня, вон куда попер. Ах, ты, наказанье. Ганька, повертывай назад, чащей поедем. А что это вы, господин милиционер, прискреблись-то ко мне? Ну, виноват если в чем, не той дорогой поехал, так возьми с меня сколь надо, да и отпусти с богом.

Две бутылки водки за ночь Василий выпоил милиционеру, а утром сколотил последние полсотни бревен, с болью в сердце вывел плот из курьи на Ангару и, хотя милиционер и молчал о спрятанном лесе, крепко ругался и затаил злобу на Трофима: «Он, подлец, донес».

2

Была пора, когда допахивали пары на третий ряд и вот-вот начнется сев озимых. Трофим с новым батраком и семья Василия Ярина собирались в Каштак. Поля их были рядом, но межи не было: жадные оба, они подпахали ее с обеих сторон, а приметой остался огромный черный и клыкастый пень.

На этот раз на заимку Василий приехал раньше Трофима. Пройдя загон, он за плугом разгулялся так, что, когда огляделся, пень, похожий на сизого ворона, уже стоял на вспаханной земле. Взбитая, как пух, земля дымилась еле видимым маревом. Василий крякнул и злорадно подумал: «Что ты теперь скажешь, старая ябеда?» И не отдыхая, распахал второй загон.

Василий уже выпряг Серка и Пеганку на обед, стреножил их, пугнув от зимовья, когда с поля, как-то бочком, со сбитой на затылок зеленой фуражкой прибежал Трофим.

— Ты как пашешь, сосед? — едва сдерживая себя и перебрасывая из рук в руки бич, спросил Трофим.

— Как пашу? Повдоль, а не поперек.

— Нет, ты как, подлец, посмел мою землю отпахать, а?

— Какую землю, что ты говоришь, Троха!—спрашивал Василий, глядя удивленными глазами на соседа.

— Какую? Мне еще говоришь, какую? — выкрикнул Трофим, перехватил кнутовище и, бросив враз руки вниз, выдохнул: — Идем. Я тебе покажу — какую!

К полю пришли мокрые, обнажив лысые черепа, держа за спиной: один уздечку, другой — кнут.

— Ты забыл, что это пень на меже стоял, а?

— Как не помнить. Помню. Отец Родион сосенку эту срезал. Я еще малолетком был. Значит, пень мой и земля округ его моя. Да!

— Да ты што, такой разэдакой, взаправду удумал! — И Трофим, отскочив, с силой хлестнул кнутом по черепу Василия. Лысина старика заалела, брызнула кровь. Не помня себя, тот прыгнул к самому Трофиму и начал его возить удилами, по чем попало. Оробевший сначала Трофим только локтями загораживался, не в состоянии развернуться для удара бичом. Улучив момент, он ухватил за уздечку и, будучи помоложе и посильнее, подмял под себя Василия и нанес ему два крепких удара по лицу, но тут увидел бегущего Ганьку. Пнув еще раз противника в спину, Трофим дернул кнут, но его крепко держал в узловатых и цепких кулаках Василий. Чуя опасность, Сопов плюнул и хотел было податься в лес, как вдруг Ярин мигом поднявшись на ноги, резанул бичом по голове убегающего Трофима. Тот покачнулся и схватился обеими руками за лицо.

— Убили, уй, убили! Изувечили!.. — крикнул он, опустившись на колени и склонив голову к земле.

3

Конец бича, опоясав череп Трофима, клюнул в глаз. Через час сизо-черный подтек закрыл всю глазницу Трофима. Богатей исходил угрозами, бранью, в которой упоминались коза, зебра, святые, кровь, душа, бого-

родица, печенки и селезенки. В этот же день на лодке уплавил батрак Троху в Суховскую, оттуда на поезде доставил в город к врачу.

Неделю Трофим мучился глазом. Страшные боли не покидали его ни днем, ни ночью, видать, удар Василия был на диво вредоносный. И как ни старался доктор, глаз не поддавался излечению, кровоточил, слезился и наконец вытек.

— А пусть не лезет, куда не просят, — сказал об отце Кешка в разговоре с Устей.

Страда не ждала, и Чак съездил в волость, нажаловался. Через три дня суд решил: обязать Василия убрать Трофиму, потерявшему временно трудоспособность, рожь и пшеницу, а также уплатить штраф.

«Лучше бы в тюрьму!» — думал Ярин.

Весь правый и весь левый склон Каштака Трофим нынче засеял хлебами. И у Василия в этом году хороша пшеница — колос к колосу — ядреная и в ложбинах повалилась под тяжестью колосьев. И теперь ему не убрать вовремя богатого урожая, пойдет он под снег. Ночь напролет вдвоем со старухою они думали, как выйти из нежданной беды. Было золотишко рублей 50 — вот и все. Решили платить николаевками, а не пойдут — заплатить наемным людям хлебом, а золотишко попридержать на черный день. Василий чуть свет обошел рыбаков, которые не успели еще уплыть на Ангару.

— Помочишку сорудовать решил, — говорил стыдливо Василий. А рыбаки спрашивали:

— Мала орда у тебя? Что это удумал помочью-то?..

— Разбогател, робяты, сразу, суд порешил отдать мне всю Трофимову вотчину, потому как с одним глазом ему и хлеба требуется мене.

Рыбаки, похохотав, обещали помочь в уборке урожая.

Скрепя сердце, Василий зарезал полуторагодовалого бычка и, запасшись разными продуктами, взял с собой семью и уехал в Каштак, наказав старухе:

— Устю на неделю взять надо, не обойдемся. Закажи-ка с кем-нибудь в город.

4

Каштак — родимый уголок земли. Невелик он, всего пять верст длиной, в рытвинах да косогорах, иной взглянет и отвернется: что в нем хорошего, в этом Каштаке-то? Те же здесь сосны, березы, лиственницы и осины, что разметнулись на сотни верст по всему Приангарью, а вот полонил этот уголок душу, навек вписался в сердце. И куда бы не заносила тебя судьба, всегда с тобой, как милые черты родины — особый аромат каштакского багульника, неповторимый дымно-пряный запах риги, муравьиный дурман леса, в глазах росистые тропы и лесные дороги. Подумаешь, да есть ли на свете краше тебя, родничок любви и радости милый Каштак!

Один за другим причалили к берегу пади свои лодки рыбаки. Первым приехал Иван Ветлов, потом братья Вознесенские Иван и Егор, потом Алексей Чуб, Андрей Гурьяк с Ашуна, перебрался Гриха Бунчиков жать свою ржаную полоску.

Входили рыбаки в зимовье и по-хозяйски раскладывали свои пожитки. К вечеру в тесном помещении было не продохнуть от дыма и спертого воздуха. Скоро на нарах свободных мест не было уже и кое-кто устраивался под нарами. На скамье расположился сам Василий. В переднем углу заняла место Маша Бунчикова, подле нее береглось место для Усти.

Рядом зимовье Трофима — просторное, с деревянным полом и большими окнами — пустовало. Уже стало темнеть, как с горы к избе с грохотом скатилась тележка. Игрений конь, всхрапывая, остановился, и с тележки спрыгнули Кешка и Устя.

— Здорово, мужики! — радостно крикнул он.

— Здорово, здорово, — ответил кто-то.

Устя дома надела все старенькое, заплатанное, а Кешка явился во всем своем городском наряде. На миг Василий встретился с круглыми ищущими глазами Кешки и, плюнув, пошел в зимовье.

— Тут думаете жить? — спросил Кешка уже менее восторженно.

— Где же еще нам жить? — ответил Чуб, глядя смеющимися глазами на прежнего хозяина. — Нас приглашал дядя Василий, мы к нему и приехали.

— Другого хозяина не знаем, — добавил Ветлов.

Кешка промолчал, не взглянув на Чуба, потом предложил:

— Шли бы в мое зимовье, чего тесниться.

— Спасибо на том, Иннокентий. Нам тут как раз. А ты иди-ка обиходь себе дачу. Кровать-то с периной не прихватил? — Ветлов сказал это зло, растягивая слова между попыхиванием папиросы и шумными вздохами.

— Что мне брать с собой, тебя не спрошу, а брать есть что, не так как у тебя, рвань камчацкая.

— И на этом спасибо, — совсем спокойно ответил Ветлов и выбил мундштук о деревягу.

В поводу Кешка повел Игреньку к своему зимовью, а там его выпряг. Посвистывая, занес пожитки в зимовье, подвязал оглобли и больше не показывался.

А утром как ни в чем не бывало пришел в зимовье Василия. Все спали, одна лишь Устя варила завтрак для артели. Вчера весь вечер в зимовье Чуб с издевкой, преувеличивая и много добавляя, представлял, как Устя, прикатила с Кешкой в Подкаменное, как все собаки и даже яринский пес Лапка не узнали их и не пускали сойти с тележки и как Чак всю дорогу обнимал и целовал ее. Девки на полу фыркали, а Василий раза два цыкнул на Чуба. Устя это все вспомнила у костра, когда к ней забежал Кешка и радостно хлестнул ее по спине.

— Ты, Кена, с мужиками поласковее говори, — посоветовала она, взглянув на него серыми, чуть припухшими после сна глазами.

— Ладно, Устя, ладно, — соглашался он.

В зимовье проснулись, но встретили Кешку молчанием. На полу и нарах все крутили портянки, пыхтели, сморкались. Но пуще всех сопел Гриша Бунчиков. Воздух из его легких летел с каким-то хрипом и шипеньем, ноздри курносого носа раздувались.

— У тебя, Гриша, столько пару, что подцепи десять вагонов, повезешь, — сказал Чак.

— Что ты изгиляешься над мужиком? — упрекнул его Василий.

Но Чак уже вошел в раж. Он весьма точно передал, как Гриша Бунчиков колет дрова, косит сено, запрягает лошадь, издавая при этом такие звуки и делая такие убедительные рожи, что в зимовье все хохотали, не исключая и Бунчикова.

— Хватит Гриху, покажи как рыбачит Андрюха Гурьяк.

— А как ходит Ванюха Ветлов?

— А как рассказывает Василий Ярин?

Рассказ Василия Ярина Кешка передавать не стал, а вдруг, изображая то одно, то другое лицо, стал рисовать драку Трофима с Василием, здесь в Каштаке, да так смешно, что Василий сопел, морщился, но видя, что все, поджав животы, валяются на нарах, захохотал сам, подумав: «Вот бес, так бес, будто из-за пня подсмотрел на нашу драку», а потом схватил фуражку и выскочил из зимовья.

5

Тут же за зимовьем, по соседству с черемушником, разметнулось по горе ржаное поле Трофима. Люди шли лениво, тихо поднимая и опуская ноги, чтобы не замочить их в росе. Не договариваясь, встали друг подле друга снизу у межи, осмотрели серпы, пошутили, подталкивая друг друга и поглядывая на поле: вон оно какое, неделю с ним воевать. Потом Маша Бунчикова подоткнула подол верхней юбки, перевязала, как молодуха, платок концами назад и, шагнув к хлебу, занесла серп. Полной и красивой рукой она, сначала медленно перебирая пальцами и захватывая все до одной соломинки, туго зажала горсть и так же медленным, но уверенным и ловким движением серпа срезала и потом, все чаще наклоняясь, довела полоску до края.

Что-то красивое, много раз виденное и радостное было в легком припадании ее тела с каждым заносом серпа, в розовой свежести ног повыше пестреньких чулок, подвязанных тряпочками, загоревших, почти по плечо открытых руках. Точно, экономно двигаясь, Маша свивала левой рукой огромную горсть хлеба. И казалось, красивее ее в поле теперь не было никого.

— Ну, наша Машуха взялась, теперь держись! — сказал вставший подле нее Ветлов.

Машу Бунчикову охотно приглашали на любую поденщину. Молчаливая, стеснявшаяся своей бедной одежонки, она вставала всегда впереди, чтобы ей никто не мешал, и вся уходила в работу. Окликнут, шутя, ее, она разогнется, и тогда далеко видны ее красивые голубые глаза, такие голубые, что нельзя не заметить и издали, а между ними вздернутый, весь в ярких веснушках нос. Убери этот нос, пошла бы Маша Бунчикова за первейшую девку в селе. Посмотри издали на девчат, когда они идут с поля, кто из них статнее, кто пленяет красивой походкой, чья грудь выше Маши Бунчиковой? А кто темной осенью голосом, как звон серебряного колокольчика, вдруг разбудит иную семью и парень, повернувшись на другой бок, увидит радостный сон, старик, охнув, вспомнит о былом, а ребенок разбудит мать и попросится к груди. Это все сделает Маша Бунчикова, счастливо забывшая в ту минуту и бедность отцовскую, и свои веснушки, и нос.

Будто что-то вспомнив, Маша вдруг запела свою любимую частушку:

Некрасивая сосна, красивый подосеночек,
Некрасивая сама, красивый мой миленочек.

За Ветловым встали остальные жнецы, дальше Устя, потом Кешка, Чуб и Василий.

Чуб хотел работать подальше от Маши, встал позади и это все заметили.

— Ну, что девку мучает? Исстрадалась вся, на себя походить перестала. На заимку никто не звал — сама прилетела. Хлеб свой жать надо, она на мой напросилась. Эх, Алеха, Алеха! Без души ты человек, — с напускной озабоченностью говорил Кешка.

— Нет, Чак, приглашать-то ее ты сам пригласил. Я о том знаю, — Чуб в первый раз назвал его кличкой.

Вспыльчивый Кешка не выдерживал спокойствия Чуба.

— Кому Чак, а кому Иннокентий Трофимович! — сердито заметил он.

— Ну, а вы, Иннокентий Трофимович, когда женитесь? — тихо спросил Чуб, чтобы не слышал чуть отставший Василий и слышала Устя.

Устя укоризненно посмотрела на Чуба, а Кешка неестественно расхохотался.

— Мне не к спеху, Чуб. Работать, как видишь, есть кому. А тебе жениться надо позарез: у матери, поди, руки отваливаются от одной рыбы: поноси-ка на базар, попори ее да посоли-ка! Верно!

— Угостить могу и тебя, даже свеженькой. Ночью с дядей Иваном сетить поплывем.

— То-то из тебя работник будет завтра, если насетишься.

— Для хозяина.

— Поди-ка ты подальше с таким гостинцем... Не едал я твоей копеечной рыбы.

— Будет тебе, Кена, связываться, — сказала Устя и Чак тотчас замолчал.

6

В это время Василий думал про свое. Вот теперь он работает на чужом поле, а свое стоит. Пока жнешь Трофимов хлеб, свой осыпется. Он смотрел в вершину пади, сличал рожь свою и Трофима — цвет один, зрелый, светло-желтый и мешкать нельзя. Так вот и охота убежать с этого поля, на котором он, как невольник на посрамление выставленный, уйти и работать там на своем поле, которое его ждет и теперь осуждает за то, что он изменил ему. Василий видел, что все далеко продвинулись вперед, а ему не жнется — из рук валится хлеб ненавистного Трохи. Иногда бросал работу и уходил с поля, буркнув Усте:

— Надо обед варить.

А сам шел в вершину пади, забредал в свою рожь и растирал на ладони колос. «Хороша, урожай хороший нынче». И чуть не плача и поскрипывая зубами, плелся к зимовью.

После обеда не брался за серп, а таскал снопы и складывал их в «крестцы», нарочно не подстилая веток или травы: «Пусть гниет». Уже стемнело, когда, оглядевшись, он увидел, что кроме Усти и Кешки, работавших на другом конце поля, больше никого нет.

Близость Усти с Кешкой неприятно удивила его. Семья Трофима никогда не была ему по душе, а его сына он называл варнаком и думать не хотел, чтобы породниться с Соповыми.

— Молода, но и умна Устя, — говорил он о дочери, которую любил пуще всех детей. — Сама поймет этого шута горохового, — решал он про себя не один раз.

Устя и Кешка, как поругались, таскали снопы молча. И это удивило Василия. Устя, работая, всегда пела, смеялась, иногда даже шутила над неловкостью или ошибкой отца.

«Что бы это такое с ней?» — думал он, прикладывая сверху последний сноп.

Он распоясал кушак и вытряс из-под рубахи зерна, плевел, соломинки, выхлопал картуз и собрался идти, как сзади услышал шуршанье жнивья. Обернувшись, он увидел Кешку с Устей на коленях.

— Что такое? А? — оробев, спросил он.

Кешка и Устя склонили головы и молчали.

— Что такое, спрашиваю? — заорал Василий, чуя что-то неладное.

Тихий, покорный, смятенный совсем не Кешкин голос услышал Василий.

— Благослови нас, дядя Вася! — И глухой еле слышный голос Усти:

— Благослови нас, тятенька!

Отец и не взглянул на Чака, а дочери сказал:

— Посмей только, прокляну! — захлебнулся в злобе Василий и поспешил уйти.

Перед ужином, когда Василий прогнал от себя Гришу Бунчикова, назойливо пристававшего с просьбой дать шило и постегонку[1], и завел разговор с глазу на глаз с Устей, хмуро поглядывая на зимовье Кешки.

— Не позорь меня, Устя. Не калечь меня. Дурь это, Устя, блажь минутная. Потерпи — все пройдет — сама увидишь! За ирода, за подлеца выскакиваешь! Слышишь? Варначье. Тем летом на глазах три сажени дров у меня украли. А посудись-ка с ними!

Устя вдруг наклонилась к котелку, стала мешать пригоревшую кашу. От огня ли лицо

[1] Постегонка — сапожная дратва.

ее горело, дымом ли обдало — она поперхнулась, закрыла лицо фартуком да так и осталась сидеть у костра на корточках.

— Устяшка! А, Устяша! Что тебе на пирог поймать? — Это Ветлов, постукивая деревягой и веслами, обвешанный сетями, кричал Усте.

— Она сама щука — хоть пощупай! — зубоскалил Алешка, так же весь обвешанный сетями и с шестом на плечах. — Счастливо вечер скоротать!

Когда скрип деревяшки Ветлова смолк, отец продолжал:

— Вот те мой последний сказ — не позорь... — И потом как-то взвыл: — И-и-и! Да чтобы я породнился с этой сволочью! — последнее слово даже свистнуло в щербинке рта, а Устя вздрогнула, и потом Василий увидел, как ее легкое тело забилось в плаче. Василий зло схватил с костра котелок и побежал в зимовье.

А в сумерках он вышел из помещения, подстрекаемый словами Бунчикова:

— Смотри-ка, что твоя девка-то делает. Ганьку заставила на балалайке играть, а сама вот уже час из круга не выходит, всех парней переплясала, за стариков взялась, меня чуть не уморила до смерти!

Озаренная костром, окруженная жнецами, легкая Устя, как бабочка, летала вокруг огня, выхватывала из толпы кого-нибудь и, увлекая за собой, заражала своей удалью. Заливалась в иркутянке Ганькина балалайка, весело потрескивал огонь, кто-то задорно подсвистывал, а на чурбане, свесив голову, сидел Кешка, подбрасывая сучки в костер.

— Эка! разошлась! Что за девка... А!.. — сказал, покуривая, Егор Вознесенский.

Распаленная Устя подскочила к отцу и, только когда взялась за рукав, увидела, кто это, глухо ойкнула и отлетела за костер, но тут же смахнула минутную робость, подбоченилась и запела:

Меня тятенька просватал,
Как посеял в поле рожь,
Дом большой, окошек много,
Только парень не хорош.

Грустно склонив голову, медленно и плавно покружилась и задорно затопала:

Вы потопайте, ботиночки,
Не долго вам плясать,
Выйду замуж, буду плакать,
Вам под лавочкой лежать.

«Эка ведь, все об одном», — подумал Василий, а Устя будто охваченная какой-то лихой страстью, продолжала:

Пойте, пойте, петушки,
Подпевайте, курочки.
Скоро здесь меня не будет
В этом переулочке.

Три раза кхекнул Василий: он слышал угрозу, предупреждение. «Ну, сам виноват, старый черт, зачем отпускал девку в город! Вот он город-то — вольница! И спину-то выгибает не по-здешнему, и ноги-то ставит не по-простому, а в голосе — какие-то дуги-радуги...»

Да и Устя понимала, что значило это отцово кхеканье, но мало ему, мало, вот ему еще, послушай!

Только тятя на полати,
Дочка из дому долой.
Ох, как грозен, грозен тятя,
Грозен тятенька родной!

— Тьфу ты, бесстыжая! — плюнул Василий и под дружный смех молодежи скрылся в зимовье.

7

А еще через час Устя плакала и причитала на груди у Кешки:

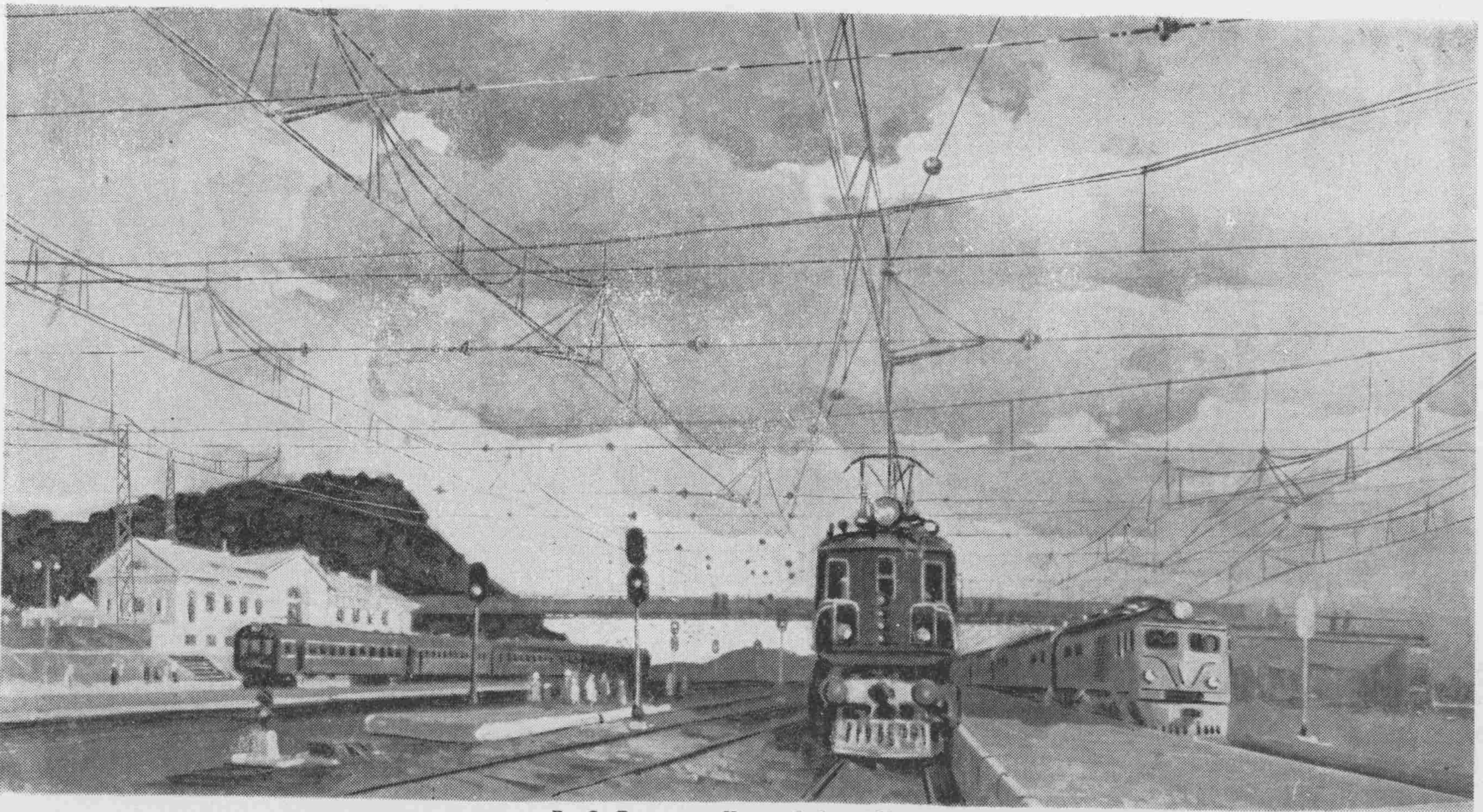
— Нет, у меня ни тятеньки теперь, ни мамоньки. Оба злодеи мои, оба мои теперь вражины! Трохинской ломотой называют тебя, и за что они тебя так хулят? Чем ты, Кеша, хуже всех этих сопливых? Да такого, как ты, Кеша, ни в одной деревне не найдешь. Ты, сокол мой, а они — вороны пуганые... Бандюгой зовут тебя, и мне это как по сердцу ножом, весь ты вон какой ласковый, робеешь со мной, а мне это любо, вот как любо, Кешенька! Других вон ругаешь, а мне слова обидного не сказал, и не скажешь, не скажешь! Не один год знаю.

Кешка сопел и пуще прижимал к груди голову Усти, от ее волос пахло постным маслом, дымом костра, чем-то только Устиным — и все это дурманило, пьянило, захватывало и держало в долгом и радостном ожидании, когда все это будет безраздельно его.

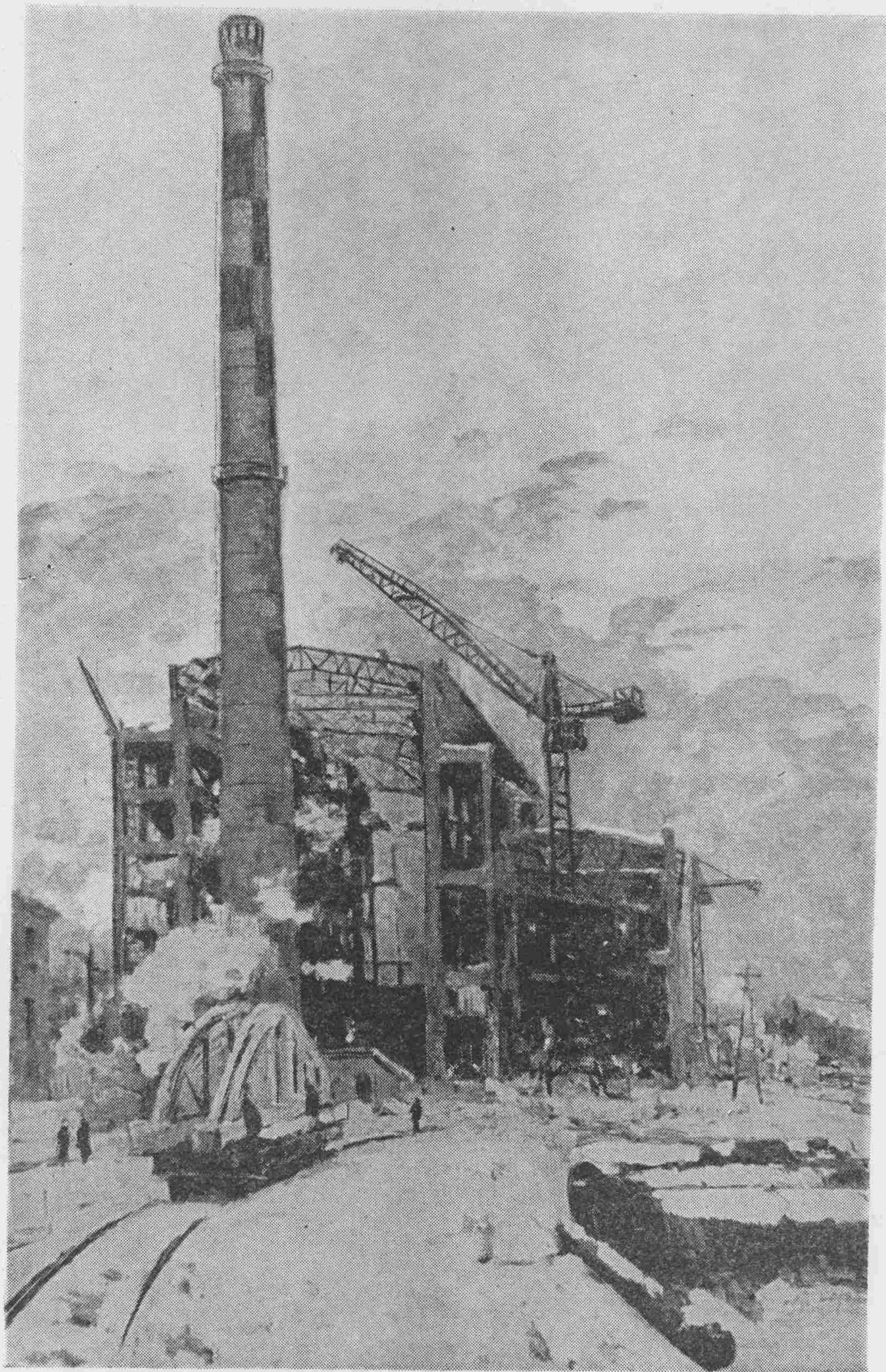
— А веришь ты, Кеша, что мы повенчаемся? — вдруг спросила Устя.

— Я-то верю! — сказал он.

— И я верю, Кешенька, так верю, будто уж и свадьба назначена. А как все обойдется, мы жить сюда, в Каштак, приедем. Зимовье ваше все выскоблю, вышаркаю, половики постелю, занавески на окна, и будем вдвоем жить и никого нам не надо. Зима придет... Ой, как красиво тут зимой-то! Небо синее, кругом снег. Петли на зайцев будем ставить!.. А постираю — Игреньку запря-



В. С. Рогаль. **Новая Сибирь.** Масло.



А. К. Руденко. **Шелихов строится.** Масло.

жешь, да на Ангару полоскать белье свозишь... А мои тятя с мамой в гости приедут. — Устя вздрогнула. — Ведь, приедут же, не будут сердиться вечно... А?

— Приедут, а как же, только в город к нам приедут.

— Ну, в город так в город, только тут лучше бы. Как тут хорошо-то, господи, кругом лес и лес, как заснул... Слышишь, как тихо дышит он.

— А тут, Устя, — додумывал свое Кешка, — будет все наше — и лес, и земля. Все куплю — об этом я думал не раз. Нате, Гриша Бунчик, Соповы, Ярины — вот вам деньги, берите и долой отсюдова. Найму лесника, заведу сторожей — барином заживу, а? Ах!

— Маму бы уговорить. Сердце-то ее вон как близко... Плачет да кричит: «Не пущу, не отдам!» А коли плачет, значит, жалеет. А нам бы, Кеша, еще раз к ней в ноги, такое наше дело. Или сватов присылал бы: дядю Корнила Тонского.

— Прогонит их взашей твой-то...

— Прогонит, что и говорить, — соглашалась Устя.

— Или приворот какой учинить, к бабке Груне сходить — что скажет? А ты, Кеша, не падай духом. Ты будто уже и с голосу изменился. Они-то думают: разлучим! А то не поймут, что разлучить-то и нельзя. Как же разлучишь!

Устя нервно засмеялась.

— Ты весь у меня вот тут, в душе. И давно-то как! И мальчишка ли ты, парень ли — все мне дорого.

8

Спят жнецы после десятка побасенок, от которых звенели стекла. Скоро дружный храп охватил все крошечное зимовье. Не спал один Василий. Он заметил, что место рядом с Машкой Бунчиковой пусто. «Полыхну ее вожжами, как сунется в двери». Но прошел час, а Усти все нет. «Ужели ушла в зимовье Кешки? От нее все ждать можно. И в кого такая уродилась? Мать сроду поперек слово не говаривала, а сказала как-то в молодости, саданул трубой от самовара — и шабаш. Навек запомнила. И что он, Василий, так злобится на Кешку. Тот добрый с ним, угождает во всем, а как взглянешь в рожу — бандит! Сразу видишь — пять дыр в стене амбара и текут желтые струйки пшеницы из Васильева амбара — бандит! А отец? Да разве яблоко далеко падает от яблони?» — И вдруг против своей воли он увидел себя за столом вместе с Трофимом. Тот пялит на него свой мокрый глаз, хлопает по плечу: «Сват!» Сует в руки стакан самогонки-первачу. «Гора с горой не сходится», — будто говорит Троха и лезет к нему целоваться. «Тьфу, ты мать честная! Да где же Устя? Да что это со мной? Как я мог это подумать?» — Василий, тяжело вздохнув, сел и услышал высокий и такой родной голос Усти. Хлопнула дверь — и вот уже она перед ним.

— Тятя, ты не спишь?

«Эх ты, Утя, Утя, моя детка, боль моя», — подумал Василий и беспомощно повисли руки отца.

— Жарко тебе, вот что, тятя. А ну, давайка я тебе скамейку подставлю, пальтишко мое подстелю. Веревка? Вожжи, что ли? Дай-ка я их сюда на шпенек повешу.

— Ну-ну, ладно, ложись, шатучая, — уже совсем не сердито пробурчал Василий и успокоенный скоро захрапел.

Хлеб

Года два тому назад Андрей Гурьяк работал у Трохи на этом же поле. Вся гора была засеяна овсом. Светлое поле ждало косы, а Троха все никак не мог собраться с силами.

— Дай, Троша, я тебе скошу овес-то.

— Скоси-ка, брат. А я тебя разочту, как всех поденщиков.

Дней десять Гурьяк косил, и когда подходило дело к концу, стал в уме подсчитывать, сколько хлеба даст Троха за такую большую работу.

— Ну, брат, овес ты мне добротно скосил, а теперь подсчитаем, сколько тебе придется.

Троха долго саженью мерил поле, насчитал две десятины и под корень сразил Гурьяка: он годами кашивал у людей и знал, что в день полдесятины скосить можно.

— Что ты, Троша, да тут целых пять десятин.

— Как же тебе еще мерить надо, а? — властно сказал хозяин.

Гурьяк только развел руками. Вместо ожидаемых трех мешков получил Гурьяк только полтора. Крепкую обиду затаил тогда Гурьяк на Троху. Этим же годом Троха обвел старика в другой раз.

На сборной мужики много шумели о податях. Троха со своими дружками заранее договаривались, с кого сколько взыскивать, потом с пеной у рта отстаивали свое на сходке, брали, как говорят глоткой. Закончилось собрание, как всегда, тем, что стали

выбирать сборщика налогов. Никто из мужиков не хотел заниматься этим делом: много лет подряд сборщики, как правило, разорялись, запивали, кляли выборщиков и старосту. На том памятном собрании Гурьяк обрадовался, что мало взяли с него податей. Но радость была короткая. Троха предложил сборщиком денег назначить Гурьяка.

— Ты, Андрей Гурьянович, человек тверезый. Не как те пьянчуги. Гармонь твоя — вся твоя утеха. У тебя дело пойдет.

Сробел старик, не сумел отказаться, а потом, идя домой, подумал: «Да куда в самом деле могут деньги деваться?» А тут както в избенку зашел Троха и поучительно сказал:

— Ты, Андрей Гурьянович, будь начеку. Береги народные гроши. Есть куда деньги класть? Нет? Приди ко мне. Я тебе добрый сундучок дам.

У Гурьяка тогда еще старуха жива была. С печки она ему говорила:

— Ну, Гурьяк Косой! Ты теперь Андрей Гурьянович. Смотри, старик, посадят они тебя с гармонью твоей на Большую улицу копейки собирать.

— Ладно, старая, — вздыхал старик. — Не пьянствую, не бражничаю. А и верно, старая, что это он меня все Андреем Гурьяновичем-то?

Раз после сбора податей к Гурьяну в избенку завалилось сразу пять мужиков, богатеи сельские. Троха был угрюм и сосредоточен.

— Кажи казну, Андрей Гурьянович. Слышно, мотать начинаешь? Проверять вот пришли.

Это обидело Гурьяка.

— Вон сундук, проверяй, — показал ногой Гурьяк, а сам сел щи хлебать, полностью доверив деньги Трохе.

Звонко щелкали костяшки счетов, на кровати пестрели кредитки, горкой ссыпаны золотые, медные, серебряные монеты. Через полчаса мужики разогнули спины.

— Вот что, брат, тридцати рублей не хватает. Как быть?

Гурьяк и ложку на пол уронил.

— Не может быть того. Подсчитывайте снова.

Мужики ухмыльнулись, но уважили Гурьяка, подсчитали снова — нехватка тех же тридцати рублей.

— Беда и только с этими сборщиками. Да ведь и то сказать: деньги рядом, как не соблазниться, — размышлял Трофим.

— Это что такое, мужики? Что, как стряслось, а? — бегал по избенке старик.

— А так вот. Чтобы до греха большого не довести — Пеструха-то цела? — веди на базар Пеструху.

Честный и доверчивый старик и не заметил, как ловко Троха сплавил в карман целую охапку рублевок. Два дня Гурьяк дрожал с Пеструхой на базаре. Два дня Троха с дружками кутили, хохотали над простотой старика.

— Как ты ловко, Троха! Женил и этого? Ммолодец! Ха-ха-ха!

Гурьяк свой хлеб съедал к рождеству. Потом он лущил овес, отнимал его у Соловухи, ставил морды, сети и добывал скупую зимнюю рыбу, а когда лед становился толстым, он бросал и это занятие, с молитвой складывал в мешок травы, бутылки, запрягал Соловуху и ехал по деревням. Выбирался Гурьяк из ворот на своих дребезжащих, поскрипывающих санях, в дошонке по колено, с куцыми облезшими воротником и плечами, с пестрой полой из Трохиной сучки Найды, в сизой козьей шапке по самые глаза. Соседи, посматривая в окна на его отъезд, хохотали:

— Косой-то, гляди, опять лекарить поехал! Шапка-то! Дошонка-то! Гужи-то из веревок. Вожжи-то, гляди, все в узлах! Да будь же ты неладный! Ха-ха-ха!

Гурьяк неистово дергал вожжами, бил кнутом по костлявой спине Соловухи и скрывался за углом.

Годов десяток назад у соседа Егорши Картасного ни с того ни с сего вдруг упала кобыла, вытянула, как палки, ноги, остановились глаза — вот-вот подохнет. Случилось мимо проходить Гурьяку. Он забежал в Егоршин двор, диковато оглядел коня и крикнул:

— Соли! Скорей соли!

Егоршина баба принесла соли целый горшок. Гурьяк взял малую щепоть, зажмурив глаза, пошептал и сунул соль в ноздри коню. Или от соли, или от того, что отдышалась, кобыленка повела глазами, чихнула раза три, бодро вскочила и потряслась. Все диву дались, хлопали старика по плечу, а Егорша подал ему стакан водки. Слава о знахарском таланте Гурьяка вмиг облетела село и пошла гулять дальше. Однажды к воротам старика подкатил уриковский богатый мужик.

— Садись скорее! Пороз дохнет!

Гурьяк вернулся из Урика хмелен, а за плечами было с полпуда муки. С тех пор и стал Гурьяк травы собирать, складные заклинания придумывать. К великому его огорчению, когда после неудачного лекарства

подохло на селе пять-шесть животин, знахарская слава сошла на-нет, и с большими усилиями старику пришлось ее поддерживать уже далеко за пределами своего села.

Но вот как-то ночью прибежал к нему Троха и, чуть не плача, попросил старика:

— Корова моя породистая не растелится. Что делать, Гурьяк, а? Что делать, помоги! Может, с божьей помощью...

Один бог знает, что делал Гурьяк с коровой, под самое утро она растелилась большим рыжим телком. Злой, не спавший всю ночь, Троха смотрел мутным взглядом на светящегося какой-то робкой надеждой старика и под конец сказал:

— Славу вернул тебе — вот с тебя и хватит того. А хошь, вот сучку Найду бери.

«Жадюга, — подумал Гурьяк, но сучку взял, ободрал ее, а на зиму шкурку к поледохи «присобачил». — Пусть все награду Трохину видят», — негодовал бедняк.

Это-то и вспомнил Гурьяк, когда жал хлеб Трофима.

Теперь дума не отступала от него, жалила его старческое, много раз оскорбленное сердце. Он обрадовался, когда однажды в поле к Чаку подошел Ветлов и заговорил о молотьбе:

— Ну, говори скорее, таскать надо, — сердито сказал Чак.

— Погоди малость, дай закурить, дело к тебе, брат, важное.

— А важное, так и не тяни.

— Тут, брат, рывком да кувырком не решишь. Сюда мы приехали заработать денег. Жатва подходит к концу, а что мы заработали?

— Сколь заработали, столь и получите.

— Мало, Кеха, одни пустяки. Вот я и хочу поговорить с тобой: как кумекаешь, молотить будешь зимой или сейчас?

Кешка не думал об этом, как вообще он мало думал об отцовском хозяйстве.

— Людишки есть, — продолжал Ветлов, — а молотить что сейчас, что потом, а мы чуток и подзаработаем, оно и нам хорошо и тебе. Подумай!

— Ладно. Жните. А там видно будет, — уклончиво ответил Чак.

А уже через день Ветлов и Егор Вознесенский ставили молотилку, а Василий направлял телеги, арбы, съездил в Едан за дегтем, он спешил: за хлебом Трохи будет сжат и обмолочен и его хлеб. В этот же день на гумне выросла скирда, а рано утром молотилка радостно гудела, разнося эхо по спокойным, по-осеннему дремотным распадкам Каштака. У барабана стоял Василий. Он ловко разбивал снопы и сплошным потоком гнал пышную, взбитую массу в жадную пасть барабана. Борода, брови, шапка — все у него в пыли, она облаком поднимается вверх от барабана. Захлебнется вдруг машина, не успеет прожевать порцию колосьев и соломы, Василий этим случаем повернется, высморкается, блеснет еще молодыми зубами со свежей щербиной.

— Гоша, похлестывай! — кричит он.

Весь первый день молотьбы Андрей Гурьяк был замкнут, рассеян. У веялки ненароком подвернулся Чубу под руку и тот толкнул старика. Потом долго сидел на краю ящика и выбирал из ржи сор. Мешки все пересыпал, так что потом приходилось их отсыпать, чтобы затянуть завязкой.

— Заболел что ли, Гурьяк? — смеялся Иван Вознесенский, на что старик откликался:

— Ась?

— Вот те и «ась»! — ржали мужики.

Поздним вечером Кешка и Устя, нацеловавшись вдосталь, хотели уже идти с гумна, как в свете месяца увидели согнутую, словно крадущуюся фигуру человека. Кешка нажал на плечо Усте, и они присели за скирдой. Человек потоптался на току и, оглядываясь, подошел к омету соломы. И там он тоже вначале постоял словно прислушиваясь, потом порылся в соломе и натужно застонав, взвалил что-то тяжелое на плечо и спешно пошел. Тут Кешка выскочил и ухнул. Ноша мягко упала с плеч человека. Он было побежал, но запнулся за пенек, упал и заохал. Кешка в несколько прыжков оказался около упавшего и почувствовал под руками дряблую и худую шею старика. Это был Гурьяк.

— Не убивай, Кеха, — прохрипел тот.

За горло Кешка поднял старика с земли. Наотмашь бросил его на землю, ударив перед этим в лицо.

— Кеша, Кеша, ведь это же дедушка Гурьяк, — ухватилась Устя за руки Кешки. Кешка вырвал руки и закричал что было силы:

— Вора поймал! Эй-э-э? Вораа? Вора!

Вскорости мужики привели Гурьяка и Чака в зимовье. В тусклом свете коптилки все увидели, что старик избит, борода и лицо его было в крови. А рядом стоял со сверкающими от злобы глазами Кешка.

— Воровать, подлец! Я тебе покажу воровать. Я тебе дам такого хлебца, что... Говори, сколько мешков украл, гад?

Гурьяк пожевал ртом, наклонил голову, тягучая кровавая слюна едва оторвалась от губ.

— Свое взял, — глухим сдавленным голосом ответил старик. — Свое взял...

— Смотрите-ка, мужики, свой хлеб нашел на моем гумне. Ха! Ха-ха! Да ты что?

Но мужики угрюмо молчали.

Как-то неожиданно, словно у него подкосились ноги, Гурьяк повалился на колени и, закинув голову, обратился к мужикам:

— Свое взял, верьте! Вот как перед богом — свое. Все это поле я вот своими руками... а Троха мне, эх, обманул меня Трофим-то...

Ветлов уж больше не мог терпеть, подскочил к старику:

— Встань, дядя Андрей, встань, — закричал он. — Верим тебе, верим. Твое.

Ветлов поднял старика, посадил на край нар, а Чаку сказал:

— Иди прочь отсюда!

Чак со злобой оглядел всех. Мужики молчали, в их угрюмых взглядах он видел презрение, ненависть. И Чак на самой высокой ноте визгливо закричал:

— Покрывать! Воров покрывать! Тебе, гаду хромому, кишку выпущу!

Но в эту минуту между Ветловым и Чаком встал Чуб. Громадный, почти на голову выше Чака, он закинул руки, потянулся, стал фертом перед Кешкой и сказал:

— Пшел отсюда, пшел, ну!

Цену этому «пшел» Кешка знал хорошо. Так из избы его отец выгонял надоевшего пса. Первое время думалось, что сейчас Чак сорвется, ударит в зубы Алешке, но, скрипнув зубами, он круто повернулся и выскочил из зимовья.

На краю нар сидел и плакал Гурьяк.

— Зеленку, эх... пшеницу кашивал. Коней холостил, кровь пущал. Саврасый-то подох бы. Стыдно, мужики, стыдно. Молчком, про себя самого хотел душу утолить. Эх!

— Ну и делал бы, чтобы шито-крыто было. А то прямо в лапы волку, — вставил Василий.

— Меня бы позвал, мы бы с тобой, деда, устряпали ловко,—сказал Чуб и, залезая на нары, добавил: — Скоро ночки темные, можно попробовать еще.

— А теперь и днем можно, — озлобленно и будто захлебнувшись, прокричал Ванюша Вознесенский. На них крикнул Василий:

— Хватит!

— А что хватит! Что хватит! Его, гада, потрясти надо. Хватит! — загремели нары.

Это Степан Сопов сорвался с них, обеими руками толкнул дверь и будто подстегнутый выскочил на улицу.

Ветлов лежал в самом углу нар у стенки, посасывая мундштук и молчал. Обида за старика никак не могла уняться. Он не вмешивался в разговор, но не мог уснуть и тогда, когда мужики, израсходовав запасы крепких слов, уже спали. Всех громче, с присвистыванием храпел Гриха Бунчиков. «Да вот, Гриха Бунчиков, твоя нужда крепче моей, а кроток, ой кроток ты, и пошто я не такой? Пошто боль моя за всех болит?.. Ведь так и известись вконец можно. Ведь иной раз сам себе скажешь: «Уймись, Иван, уймись!» И чуть что — опять полетело мое сердце, беги, лови его. И хорошо ли так, как Гришка, сопя жить? Нет, нет, не примет душа моя такой жизни. Лучше в кровь избить себя за людскую боль, в кровь избить, в кровь!», — кипела в думах голова Ивана.

Чтобы не стучать, он тихо слез с нар, без шапки вышел на улицу, распахнул свою тощую грудь, глубоко вздохнул.

— Дядя Ваня, — услышал вдруг Ветлов и оглянулся на шепот.

В курмушке с открытой головой, прислонясь к углу зимовья, стояла Устя.

— Ты что, Устя, не спишь?

— Не спится, дядя Ваня.

— Пошто тебе не спится-то, а? — спрашивал Ветлов.

Устя оторвалась от угла, приткнулась к острому плечу Ветлова, заплакала.

— Так сердце ноет, дядя Ваня, так ноет!

— Тоже сердце... Гм... Да! — вслух подумал Иван.

— Жалко мне Кешу. Один среди вас. За свое добро ведь он стоит. Кто же своим добром попустится, а? А вы злые все, как звери набросились. Ах, вот так и разорвете!

— А он не злой — старика бьет!

— И он злой, а я его добрым сделаю. Он меня, как никого, понимает. Скажу: «Стыдно, Кеша, старика бить». Прощения просить заставлю. Вот увидите — заставлю.

— Эх, Устя, Устя. Любовь в тебе горит и не перегорела еще. Замуж, поди, думаешь? Погодь малость. Сердце у тебя шибко хорошее. Такое ошибется — долго не залечить. А подлец твой Кешка. Такой подлец, что поискать — не найдешь.

Устю всю передернуло, она отскочила от Ветлова, зажала рот рукой и убежала в зимовье с тихим стоном.

Ветлов еще долго бродил в темноте и, как всегда бывало с ним, какое-то новое решение освободило его от боли в сердце, он облегченно вздохнул полной грудью и вслух сказал:

— Ну, теперь спать, теперь усну.

Целый день тарахтела веялка. Две кучи чистого зерна лежали в стороне, когда Чуб принес целый ворох мешков. Тут были широкие сахарные кули и узкие самотканные мешки с пестрыми заплатами. На мешках криво разбрелись рыжие, черные, зеленые буквы. Скоро мешки были наполнены зерном, и Кешка бросился к зимовью запрягать лошадей, кляня себя, как это он не догадался привезти мешков из дому: ведь у отца их поламбара, да и то хорошо, что хоть мужики сами догадались. Сразу трех лошадей Чак пригнал на гумно и развернулся около мешков:

— Иван, Чуб, давайте-ка сюда, — и, плюнув на руки, попросил Ветлова бросить на воз первый куль.

Ветлов подошел, но вместо помощи спокойно сел на мешок.

— Мешки не трожь, Кеха.

Кешка отшатнулся, выпучил на Ветлова глаза, оскалил зубы; нарочно изобразил крайнее удивление, посмотрел вокруг, призывая всех остальных удивиться так же.

— Да ты что? Шутить удумал, дядя Иван?!

Но вокруг не нашел сочувствующего лица, и вдруг ему стало понятно, почему насыпаны мешки и почему вокруг люди. Он побледнел и некоторое время стоял в нерешительности. Затем мигом подскочил к Ветлову и изо всей мочи толкнул его, отчего тот кувырком перелетел через мешок, высоко взметнув деревягой. Кешка тотчас схватил куль и забросил его на телегу. Тут же метнулся за другим, как перед ним встал Чуб. Лицо у парня налито кровью, рыжеватые брови сдвинуты, а сжатые губы кривились:

— Сними мешок, — с дрожью в голосе произнес Алешка, — сними, говорю! Сними, гадина! — Алешка шел на Чака, могучий и беспощадный, и все твердил: «Сними», «Сними!», вобрав в это слово силу своей ненависти. Кешка пятился назад и наконец, прижатый к телеге, дико заорал:

— Грабить, значит, грабить чужое! Ну, погодите! Вы за это мне ответите!

Он рванул мешок и, сбросив под ноги, бросился к коню, схватил со спины вожжи, прыгнул на телегу, и под смех и крик мужиков взбешенные кони вынесли его с гумна, рассыпав сбитые из дранья ворота, и с гулким тарахтеньем понеслись с горы.

— Нагребай, мужики, мешки. Хватит, победствовали. Везите в лодках, в телегах домой! — крикнул громко Ветлов, и маленькие его глаза зажглись огнем отчаянной решимости.

Гриха Бунчиков

1

Гриша Бунчиков не имел лодки, и, когда рыбаки возили с гумна хлеб на берег, его мешки, заплата на заплате, черные и длинные, как кишка, все стояли на гумне, печально и беспомощно навалившись друг на друга. В пылу гнева и горячки, которые краем задели и Гришу, он не отказался от своего пая, помня о своей беспросветной нищете.

— Как же мне-то быть, Иван? — спросил он в последнюю минуту Ветлова.

— На Гнедке своем вези! — бросил тот и убежал.

Гриша долго топтался на гумне. В нем боролись два чувства: страх и желание. Подумать только — семь мешков зерна! Это больше, чем весь его урожай, если взять в резон, что у Гриши на поле колос от колосу — не услышат голосу. Что там соберешь? Семь мешков — это на каждый рот по мешку, да прикинуть к этому картошки, то хватит всем до рождества. Гриша не испытывал такого счастья за всю свою семейную жизнь. Но и страх душил Гришу, хватал за горло, приводил в трепет, перед ним вырастал всесильный образ Трохи, его рычащий голос:

— Ах ты, неблагодарная тварь, да кто тебя каждый год кормит, кто тебе пуды дает с Нового года и до Ильи-дня?

И хотя Машка каждое лето полола, жала, косила у Трохи, и хотя сам Гриша косил и жал хлеба богатея, а все думалось, что не было бы Трофима — пропадать бы Бунчикову.

В борьбе сам с собой Гриха все же что-то делал. Вот уж запряжен Гнедко. Вот уже в полуразрушенную и несмазанную тележонку завалил он мешки с зерном и, наказав Машке жать хлеб, поехал не прямо через Камень, а через морозовские заимки — тут подальше, но дорога ровнее, да и не дай бог встретиться с Кешкой или Трохой.

2

Пока Гриха едет своей дорогой, пока на Ашунской горе подпрягается к Гнедку, чтобы вытащить воз, а не доехав трех верст до

дому, завернет в кусты и покормит обессилевшего Гнедка — дорога большая, пока он едет, можно рассказать побольше о Григории Бунчикове.

Род Бунчиковых по-своему древний. Когда Андрей Гурьяк начинал рассказывать о прошлом бунчиковского рода, то было что послушать.

— Было их, Бунчиковых, восемь братьев: Никита, Павел, Фрол, Сидор, Иван, Прохор, Петрован и Григорий. Жили они на том же месте в просторном доме с огромной печкой посредине. На восемь братьев было три коня — что совсем хорошо. Вся Ашун-падь пахалась ими. Собиралось хлеба вдоволь, так что хватало и на жен, детишек, отца всех братьев Афанасия и доживающего столетие родоначальника Бунчиковых Прокопа. В общем скопе семья их была под пятьдесят душ. Столетний Прокоп правил делами, и никто не помышлял отделиться, зажить своим домом. Все в семье от мала до велика были набожны и слово «грех» имело великую силу.

Умываться после бани был грех. Судить, судиться — грех. Съесть в пост что-нибудь скоромное — упаси бог. Пахать плугом — грех. Изругать скотину, не то что человека — грех. Пол подмести, за метлу взяться в праздник — грех. Заповедей этих было несметное число. Старшие братья Григория считали за мальчишку, когда у того уже пробились порядочные усы, а он еще лежнем лежал или ревностно бросал камни в реку, оспаривая первенство у подростков, в два раза моложе его. В двадцать лет к троице ему сшили голубую сатиновую рубаху и черные штаны. Дед подарил ему старомодные с острым носком щегольские сапоги. Пораженный тем, что он уже взрослый парень, здоровый, сильный, — Гриша в диво привел всех, когда за березкой, в хороводе девок, безроздыху проплясал в присядку всю дорогу от Камчатника до своих ворот.

В этот раз и завлекла удаль Гриши цыгановатую и красивую Аксинью. Зимой Григорий женился. Зимой и умер глава семьи Прокоп, и вся артель бунчиковская пошла на слом. Большой дом они сначала поделили пополам, потом каждую половину еще пополам. А когда делить стало уже невозможно, поползли Бунчиковы кто в Зуй, кто в Урик, Грановщину, к своим тестям и тещам. Не прижились они к новым местам и за десять-пятнадцать лет куда-то сгинули все Бунчиковы, оставив в Подкаменной одного Гриху.

Избенка Грихи стоит на месте большого бунчиковского дома и появление ее было тоже своего рода событием. Старый пятистенок Бунчиковых сильно обветшал; вода от пустячных дождей бежала в избу, небеленный много лет потолок почернел, пол с большими пупками сучков был также черный, его не удавалось промыть даже к пасхе; зимой изба вся промерзала, окна обрастали кучей льда, ребятишки сбивались на печку, а бывало, что мороз и Гриху с Аксиньей загонял в печь. Раз весной от большого снега провалилась крыша, и Гриша понял, что дальше жить в доме невозможно. Он долго бродил вокруг избы, что-то соображая, а потом отправился к Василию:

— Помочишку бы, Вася, огоревать, избу перебрать, совсем рушится.

— Тебе бы об этом надо подумать много ране. Из гнилушки не сделаешь избушку.

Мужиков пятнадцать сговорил Гриша. Семью Бунчиковых Василий пустил в баню. И начали мужики крушить патриарший угол. Под вторым венцом на всех углах лежало по золотой монете. От такой удачи у Грихи даже сердце шевельнулось. Мужики его тотчас прогнали за водкой.

Василий дал ему два бревна на матки, у Ивана Вознесенского остался лишний мох. Стропила ему предложил косой Андрей Гурьяк. Даже Троха разорился: привез полдесятка плах. Бревна длинной стены дома распилили пополам. Кое-как через неделю избенку собрали, но на крашу дранья не нашлось. Старьем да корьем кое-как забросали дом, прогуляли найденное золото — и разошлись.

С тех пор прошло лет десять, а ничего не прибавилось к дому. Углы, торчавшие в разные стороны, Гриша пообрезал на дрова, да не все — верхние, до которых дотянуться не мог, так и остались торчать, как протянутые руки нищего. Вместо крыльца и сеней — две чурки. Дранье с сарая было перенесено на избу, а сам сарай пошел на дрова. И до того большая ограда стала еще больше, двор зарос крапивой и полынью. Красивые с радужным выгибом ворота пошли вбок, снизу пообломались и на бунчиковом огороде паслись все соседские свиньи.

3

Эх, Гриха, Гриха! Нищенская доля пала на твои плечи, Гриха, а ты был неловкий, не изворотливый, не строил планов да хитрых расчетов. Деды тебе сказали: «Живи вот так». И жил ты по их заветам, боясь пере-

шагнуть заповеди. «Не укради», — шептали они из могилы, и ты подходил к телеге Трохи, брошенной на заимке, и часами думал, взять или не взять тяж. «Бери», — шептала ему нужда, ведь у того черта лукавого этих тяжей, дуг, вожжей амбар ломится. «Не бери», — шептала совесть отцов, и Гриха отходил от телеги, трижды в душе перекрестившись. «Не обидь кого-нибудь», — шептали деды, и Гриша сам научился на свою головушку собирать тумаки. Поистине, силен смирением, богат нищетой. И какой бы дурак не распетушился, он шел сорвать злобу на Гришином дворе. Где взять в пасху досок для качели? — тащи с Грихиной крыши. Минутой захотелось сорванцу моркови — залезай в Грихин огород, охапками рви ее и разбрасывай по улице. Первым Гриша не съест своего огурца. Теленок завяз в воротах — чей он, Гришкин? — так и пускай задыхается. Схватились петухи на улице, в кровь разодрались. «Чей этот рыжий, Бунчукара? Тащи, Егор, своего домой, а я свежую силу подброшу». И лежит на улице бунчиков петух, окровавленный, издыхающий. Схватит баба Гришкина, Аксинья, петуха, люто брызнет черными, как туча, глазами, метнет подолом и, рыдая и бранясь, убежит от грубых беспощадных насмешек.

Одиноко стоит среди двора телега с разбитыми колесами, тяжи разные — один веревочный, другой из проволоки, подлиска давно нет, отчего средина погрузла, а оси как-то выворотились. На угол телеги накинут хомут с веревочными гужами, торчит солома из подхомутника. Опрокинутое для просушки седло пропитано кровью и гноем. По двору с подвязанным поводом бродит голодный Гнедко и обжигается ядовитой крапивой.

А в избе, морщась от непривычных запахов, у стола сидит Троха с завязанным глазом. Расширив испуганные глаза, стоит за печкой Аксинья. Гриша дрожащими руками сучит постегонку.

— Ничего не знаю, Трофим Парамоныч, ничего и ничего. Ржишку свою жал. Вот те крест, ничего не знаю, —робко говорил Гриша, поглядывая на Трофима виноватыми глазами.

— Ну, ладно, ты не знаешь. Так! — покладисто и как бы снисходя, говорил Трофим. — А не слышал ты, случаем, не бранил меня кто-нибудь, не говорил ли кто зловредных речей?

Гриша сообразил, что тут можно и наговорить сколько хочешь.

— Ругать тебя ругали. Особо Василий сосед ругал. Говорит, другой глаз выбить не мешало бы. Да!

— Богачом да мироедом не крестили?

— Мироедом тоже прозывали. Побасенки разные про тебя сказывали. Про глаз твой боле все толковали. Парни с девками песню склали. Погоди-ка:

Ой, неплохо, ой, неплохо,
Что без глаза нынче Троха.

Единственный глаз Трохи зло блеснул.

— Это дело все Васьки подлеца. Но хлеб кто увез, хлеб? Не крутись, Григорий!

— Да откуда ему знать! — завопила Аксинья.

— Не твое дело, баба! — зыкнул со злобинкой Трофим и опять к Грише. — Я тебе, как доброму, помогал, шел навстречу, не отказывал ни в чем, а ты, паршивец, язык съел! А ну-ка, поди сюда.

Троха вышел из избы, протянул руку под завалинку и извлек оттуда пустой мешок, тряхнул и посыпались зерна. Онемели у Бунчикова руки и ноги, вчера он боялся везти зерно прямо в деревню и свалил мешки в яму у еланских ворот. Мешок был из тех, в котором Гриша вез хлеб.

— Признаешь? Может, откажешься, а?

И вдруг Григорий выпрямился. Глаза его заблестели. Он и сам не понимал, что с ним случилось. Он выхватил мешок из рук Трохи.

— Так вот что, шурячок. Уходи с моего двора. Уходи и уходи. Вор не я, а ты. Всю жизнь — ты вор. Вор для всех. Уходи, — лез на Троху Бунчиков и бил себя в тощую грудь. —Бить хошь — бей, а бог видит — моя правда. Хлеб тот в яме лежит. Забирай его, да помни: он мой. Я всю жизнь ломал на тебя спину, а ты мне голодными кусками рот затыкал. Иди с моего двора. Прочь!

Это было начало краха Грихиного смирения.

Голоса молодых

А. Тириков

ОСЕННИЕ ЗОРИ

Рассказ

Климович очень любил охоту на тетеревов с чучелами. Свое увлечение он навсегда передал и мне. Эта спокойная, может быть, не очень яркая в своих поздних осенних красках, задумчивая охота приносит отчего-то чувство особой близости к природе, когда сам словно бы сливаешься с ней и почти физически ощущаешь ее великую покоряющую силу.

Когда с берез осыпались лимонно-желтые листья, устлав землю пестрым шуршащим пледом, а по ночам крепко подмораживало, так что на пашне звенели под сапогами, как булыжник, стылые земляные комья, мы ставили где-либо в березовом перелеске, по краю овсяного или гречишного поля, шалашики-скрады и с того времени редкий день проходил без того, чтобы мы не встретили в них утреннюю зорю...

...Таков уж удел охотника — не досыпать. Только успели пропеть «вторые петухи», на дворе густая черная темень, какая бывает только в закатную пору года, и в домах — ни огонька, а мы уже давно на ногах.

На столе пыхтит самовар. Горячий крепкий чай с медом быстро прогоняет обычную после короткого сна вялость. Мы не спеша прихлебываем его из блюдечек и строим догадки, каков сегодня будет косачиный лет.

— Может, опять, как прошлый раз, в глаза не увидим, — говорю я. — Отсидятся в лесу, чтобы крылья не маять.

Климович отрицательно качает головой.

— Это с пустыми зобами-то? Все равно явятся на поле, как в столовую. А в прошлый раз нам ветер помешал. Не любят тетери бока подставлять ветру.

— Что ж, по-твоему, в тайге корма не хватает?

— Понятно, хватает. Только там лесной — ягоды, хвоя сосновая, а здесь полевой — зерно, сережка березовая. Этот, второй-то, видно, больше косачу потребен, недаром его и польником зовут.

— Это сережка-то березовая — полевой корм? — не сдаюсь я. — В лесу тоже березы растут, пожалуй, их там даже больше, и сережек на них полно.

— Ишь ты, какой памятливый, — насмешливо произнес Климович. — Памятливый, да неприметливый. А охотнику все примечать надо. Не клюет косач сережку с лесных берез! Видно, в ней чего-то там не хватает. С полевых берез, тех, что на свету стоят, клюет, с лесных — нет. Вот ведь загадка какая...

И по тону старого охотника слышалось, что ему очень бы хотелось разгадать эту маленькую тайну из жизни лирохвостой дикой птицы — тетерева-косача.

— Не старайся по одному табуну много стрелять. Напугаешь лишним выстрелом, так и улетят польники в тайгу день коротать с пустыми зобами, — поучает Климович. — Жалеть птицу надобно...

Мне теперь понятно, почему молчит временами его ружье. Наши шалаши метрах в двухстах один от другого. Если стайка косачей подсаживается к его чучелам и он стреляет, значит, буду стрелять и я: от него они летят в мою сторону и доверчиво спускаются к своим тряпичным собратьям, что выставлены на деревьях возле моего шалашика. Иногда это повторяется в обратном порядке, но у Климовича тихо: он сидит, по-

куривая трубку, и смотрит, как краснобровые красавцы черныши и их скромные серые подружки тетерки щиплют березовые сережки...

Стенные часы ходики с гирей в виде еловой шишки показывают пол-пятого. К этому времени пустеет самовар, и мы выходим.

На востоке над гребнистыми вершинами далеких лесистых сопок бледной полоской проступает утренняя заря. Неслышно падают с черного неба редкие снежинки. Их даже не видно. Только по тому, как они холодят, тая на лице, можно определить, что сверху порошит. В поле сонная тишина, лишь изредка сюда донесется из поселка приглушенный собачий лай.

Полоска на востоке все отчетливее, шире, она розовеет, впитывая в себя первые лучи невидимого за горизонтом солнца, и вот уже на поле различаются отдельные кустики полыни, которая и сейчас, поздней осенью, отдает своим горьковатым ароматом.

Мы недолго отдыхаем после торопливой ходьбы у шалашика Климовича, потом я помогаю ему выставить на березы тройку чучел и бегу в свой скрадок.

— Андрей, — кричит вслед Климович, — запамятовал я, какое сегодня число? Что?

У нас уговор: по четным дням разрешается стрелять только косачей, тетерок не трогать, пусть даже и придется уйти домой с пустыми ягдташами. Климович хитрит: уж он-то, конечно, не забыл, какой сегодня день, да боится — не «забыл» ли я. Со мной это прежде случалось...

— Восемнадцатое, — отвечаю я, посмеиваясь про себя над его наивной хитростью, и самым простодушным тоном спрашиваю: — Может, месяц и год забыл? Так у нас сейчас ноябрь, тысяча девятьсот...

— Ну-ну, смейся над стариком. Тебя жалеючи спрашивал. Или снова захотел шалаш сторожить? — и прячется в скрадок.

Сторожить шалаш мне не хочется. Это значит отсидеть в нем зорю без ружья в наказание за выстрел по тетерке в запретный четный день. Климович неумолим: назавтра он даст мне возможность лишь донести ружье до места охоты и здесь отбирает его. Я сижу в своем скрадке с одним биноклем и разглядываю в него поочередно всех подлетающих тетеревов, которые, будто назло — подразнить меня, подолгу засиживаются покачиваясь на упругих ветках...

...Рассвет приходит незаметно. Кругом по-прежнему тихо, но уже нет того безмолвия, какое царило ночью. На самой вершинке маленькой стройной березки сохранился одинокий рыжий листочек. Наверное, там, наверху, тянет легчайший ветерок, потому что листочек заметно колышется, и если смотреть, как он вздрагивает, то услышишь и легкий трепет.

Серебряными блестками горит в робких лучах выглянувшего из-за горизонта солнца иней на ветвях. Блестки мигают, но не беззвучно, как мигают звезды в ночном небе, а с еле уловимым шорохом — они рассыпаются мельчайшей снежной пылью и сразу гаснут.

Солнце золотит верхушки выглядывающих из оврагов заиндевелых кустов боярки, по жнивью прыгают желтые непоседливые зайчики-блики. Проходит еще несколько томительных минут ожидания, и вдруг почти над самой моей головой раздается громкое хлопанье тетеревиных крыльев.

Подлетевшие птицы шумно лепятся на березы. С минуту они настороженно приглядываются к неподвижным силуэтам чучел и, не найдя, по-видимому, ничего подозрительного, начинают тихонько переговариваться: «кво-кво, кво-кво...»

От волнения, которое, наверное, никогда не оставит меня как охотника, глубоко бьется сердце, но я знаю, что мушка моей двустволки сейчас сама остановится на белом «зеркальце» крутого косачиного бока, отливающего вороненой сталью, и уже не дрогнет...

Над шалашом стелется облачко порохового дыма. С берез осыпается голубой иней. Я не утерпел и принес убитого косача в шалаш, чтобы сидеть и любоваться лирохвостым красавцем. У Климовича тоже гулко треснул выстрел. В морозном воздухе прокатилось эхо, многократно повторенное в полях и перелесках, и заглохло где-то в синем зареве таежной дали.

К первому взятому мной косачу скоро прибавились еще два, и я перестал стрелять, хотя их настоящий дружный лет только начался.

Я недаром, наверное, столько лет был постоянным спутником такого ревнителя природы, как Климович, и научился по-настоящему радоваться в своей охотничьей страсти только двум—трем удачным выстрелам и ненавидеть торопливую, азартную пальбу, когда в душе не остается ничего, кроме холодного расчета стяжателя...

Из-за небольшого перелеска на середине поля неожиданно показалась лошадь, запряженная в двухколесную бричку.

«Кого же это угораздило вместо дороги трястись по мерзлой пашне?» — удивленно подумал я, стараясь разглядеть в бинокль незадачливого ездока. Тот, казалось, спал, пригнувшись к передку своего экипажа.

Лошадь медленно брела кромкой оврага к шалашу Климовича. Там на березах отчетливо вырисовываются на фоне зари его чучела. И вдруг меня осенило: да это ведь к ним и подъезжает тот, в бричке! И не спит он вовсе, а согнулся в три погибели, чтоб незаметней к косачам подобраться.

Климович, конечно, все видит, но почему-то помалкивает, наверное, хочет посмеяться над непрошеным охотником. Тот подъехал на верный выстрел и остановился. Сухо щелкнула, как мальчишеский веревочный бич, малокалиберная винтовка, и я услышал, как пуля шлепнула по чучелу: видно стрелок набил себе руку, не впервой из брички промышляет.

Опять щелкнул выстрел и шлепнула пуля по тугому чучелу. И тут я наконец разглядел охотника — это был завхоз конного завода из нашего поселка с фамилией, похожей на кличку, — Сыч. Вот как, оказывается, охотился Сыч.

Тетерева не боятся человека на лошади и подпускают вплоть. Не боятся они и слабых хлопков мелкокалиберки. Сыч подъезжал к стае и снимал всех подряд.

Как-то, когда мы возвращались домой, он встретился с нами на улице.

— Ха, охотнички! — гундося, проговорил он насмешливо, скривив свое длинное щетинистое лицо с выпученными безбровыми глазами и подозрительно сизым носом. — Чтой-то, я гляжу, вы больше ноги бьете, чем поляшей. Всего по паре на нос? Даабытчики!

— Ты, что же, аль по коробу набиваешь? — спросил Климович нахмурившись.

— По коробу и есть. Нынче уже полтораста штук успел. И ноги не бью. Умеючи-то так надо, не по-вашенски! — Сыч презрительно плюнул. — Для вас, небось, и косачишки перевелись?

— Переведутся, пока такие, вроде тебя, не перевелись, — сдержанно ответил Климович, смерив его недобрым взглядом.

Сыч нахально заржал, показывая желтые прокуренные зубы:

— На мой век хватит! — и неторопливо зашагал прочь.

Сейчас он, видно, недоумевал, почему выстрелы не достигают цели: я видел, как он то и дело передвигал рамку прицела, суетливо передергивал затвор.

«Давай, давай! — радуясь его оплошности, мысленно поощрял я и машинально считал выстрелы: — ...тридцать шесть... тридцать семь...» Из чучел сыпались опилки, они тощали на глазах, и не будь Сыч ослеплен жадным азартом, он бы давно это заметил. Заметил бы, наверное, и шалаш Климовича.

А тот по-прежнему почему-то не подавал голоса, хотя его чучела — предмет вожделений всех наших знакомых охотников, сделанные из блестящего дорогого сукна да так мастерски, что даже вблизи их трудно отличить от настоящих, живых птиц, — чучела у него на глазах превращались в дырявые, никуда не годные тряпки.

Я досчитал до сорока девяти, и тут выстрелы смолкли. Обозленный Сыч соскочил с брички, захлопал в ладоши, и закричал:

— Кыш, проклятые! Чтоб вам околеть!..

Дальше я не вытерпел. Давясь от хохота, выскочил из шалаша и побежал к Климовичу посмотреть, как будет выглядеть одураченный Сыч.

Он стрелял патронами с надрезанными крестиком пулями — они поражают цель как разрывные. Климович снимал с шестов бесформенные, изодранные в клочья кульки из тряпок и ваты — все, что осталось от чучел, — и забрасывал их далеко в кусты.

— Вот пес, — бормотал он, — оставил без ничего...

— Сам виноват, — упрекнул я его. — Нашел потеху смотреть, как из них клочья летят. Зачем молчком сидел?

— Во-во! — подхватил Сыч, до сих пор молчаливо, с виноватым видом стоявший рядом. — Надо бы с первого выстрела меня окликнуть. Дескать, повылазило тебе, в чучела палишь. Попробуй разбери — ведь как живые чучелья-то! Заело меня, все равно, думаю, сшибу вас, проклятые, не уйдете! Знай, понужаю... И еще бы столько выпалил, да патроны кончились...

— Кончились-таки? — заинтересованно переспросил Климович, и мне показалось, что он довольно усмехнулся в усы.

— Угу, — подтвердил Сыч. Он заметно повеселел, заметив, что Климович, как будто не очень жалеет чучела, и, пожалуй, действительно, его, Сыча, здесь вины нет. Присев на корточки, он задымил самокруткой.

— Язви-тя! — выругался он, старательно обшарив свои карманы. — Ни одного патрона не завалялось. Придется на сухую домой править, без косачишек.

Лицо Климовича потемнело.

— Еще не натешился? — глядя в упор на Сыча, раздельно спросил он. — Косачей захотел?

— Ты чего? Ну, побил чучелья, так заплачу...

— Заплачу! — вспылил Климович. — Думаешь, мне за чучела обидно? За охотников обидно, что средь них такие хапуги попадаются!

— Это ты о чем? — Сыч поспешно поднялся.

— Тетеревей губишь! Лошадь приспособил...

— Ну и приспособил! Или завидно? — зло закричал Сыч. На всякий случай он отступил к бричке и отвязал повод. — Не запрещено правилами с лошади косачишек бить!

Климович окончательно вышел из себя.

— А совесть где твоя?! — загремел он и, угрожающе сжав кулаки, двинулся на Сыча. — Вот намну тебе бока...

Сыч снопом свалился в бричку и, нахлестывая коня, погнал его галопом по полю. На ходу у него свалилась шапка, но он даже не обернулся.

Я взглянул на Климовича и невольно рассмеялся. Обычно добродушный, с постоянной веселой искоркой в маленьких медвежьих глазках, он стоял весь взъерошенный, сердито двигал усами и все еще сжимал крепкие, дочерна обожженные солнцем и таежными кострами кулаки.

— Ой да Климович! Медведь медведем. Как прянул на Сыча, ну, думаю, изломаешь... Теперь он сюда и носа не покажет.

Он смущенно кашлянул и сердито буркнул:

— Заячья душа... надо бы ему разок по шее...

Я вспомнил про чучела и мне стало досадно.

— Спал ты, что ли, пока Сыч чучела расстреливал. Пропали ни за что.

— Ни за что? — оживляясь, переспросил Климович. С его лица разом сошло сердитое выражение. Он весело, хитро прищурившись, посмотрел на меня. — Чудак! да я нарочно выжидал, чтоб Сыч все патроны выпустил. Пусть, думаю, лучше чучела страдают — новые сошью. А прогоню Сыча, — эвон сколько по опушке польников сидит, ведь к ним он направится и побьет без жалости...

Над нами, с шумом рассекая воздух упругими крыльями, прошла большая тетеревиная стая. Климович, задрав кверху бороду, проводил ее долгим взглядом, словно пересчитывал птиц.

— Ишь ты, в какой табунище сбились, — проговорил он. — Знать, не сегодня-завтра зима ляжет. Верная примета...

Валерий Алексеев

В МАСТЕРСКОЙ ХУДОЖНИКА

Памяти С. К. Гвоздева

Живешь ты
В красочных мазках,
В крутых изгибах линий,
В росой покрытых лепестках
Сибирских
Желтых лилий.
Я сам
Взглянул на глыбы скал
И в изумленье замер,
Гляжу:
Раскинулся Байкал
Не на холсте,
А в зале.
Кремнистым дном —
Паркетный пол
Мне ринулся навстречу,
И я
В свинцовый холод волн,
Дрожа,
Вошел по плечи.
Поплыл...
К другому полотну,
С упрямым ветром споря,
И...
Камнем вдруг пошел ко дну —
Дну будущего моря.
В нюансах
Красочной игры
Была такая зрелость,
Что из истоков Ангары
Напиться захотелось.
Как золотые огоньки,
Заполнив всю картину,
Пылают
Яркие жарки,
Грозясь поджечь холстину,
Огонь
Взметнулся по стене,
Пошел гулять
По залу.
Гляжу —
В углу на полотне
Рябина запылала!
А рядом —
На холсте — зима,
И снег ложится густо...

Я понял:
Даже смерть сама
Бессильна
Пред искусством.

Вас. Ладейщиков

К ВЕРШИНАМ

...Мы вышли с рассветом.
Над горной рекой,
Летящей, как дикий олень,
Вздыбились скалы
Отвесной стеной,
Бросая в ущелье тень.

На плечи закинут
походный мешок.
Споткнулась о камни тропа.
Нам надо подняться
туда, где еще
Никто
никогда не ступал.

Мы лезли —
и пики скрещивал лес,
Бросая в лицо:
— Назад!
Вода голубых
Июньских небес
Нам заливала глаза.
Один лишь неверный шаг
Рождал за собой обвал.
И вот
Деревья в щепу круша,
Обвал
Их в бездну швырял.

Двое вернулись.
А трое — опять,
Цепляясь за каждый уступ,
Упорно брали
За пядью пядь,
Грозную высоту!

Н. Кулешова

ЛЮБОВЬ

Рассказ

Голод. Это маленькое металлическое слово было написано на всех лицах.

Мысли об еде, то туманные, далекие, то очень близкие, подчас с запахом любимого блюда, не давали покоя. Они давили на мозг, на тело, на душу! Казалось, от них появляется звон в ушах, резь в желудке, темнота в глазах.

Если б освободиться от этих мыслей. Тогда и лес не казался бы таким серым, и голые деревья, и подгнившая листва выглядели иначе, потому что рядом были бы живые, умные лица друзей. Но голод, точно болезнь, сковал всех.

Засохшая ягода, травинка, корешок — все съедалось и, может быть, только поэтому люди могли еще двигаться, и только в этом было их спасение.

Кто мог знать, что переправа через реку будет стоить им так дорого.

Вначале переправили девушек. Ухватившись за рюкзаки, Лена с Галкой со страхом смотрели на бурные потоки воды. Борис ловко орудовал шестом.

Иван Семенович — начальник отряда — видел, как устали ребята, и остаток груза решил переправить сам.

Погрузив на плот два рюкзака с продовольствием, топор, ружья и рацию, Иван Семенович уверенным движением направил плот к берегу.

Главное проскочить середину!

Но тут-то и произошло несчастье. Резко треснул и сломался шест, Иван Семенович упал в воду — плот потащило вниз. Впереди то и дело вырастали камни, окутанные белой пеной вихрящихся потоков. Удар. Плот накренился, все, что было на нем, подхватило потоком.

Хорошо еще, что спасли Ивана Семеновича, а уж о грузе нечего было и думать.

Может быть, в происшедшем был виноват сам Иван Семенович, ведь это он утверждал, что на этом берегу есть обнажения нужных руд, он и сейчас уверен в этом. Но обвинять Ивана Семеновича никому и в голову не приходило (разве только ему самому), для геолога работа — вечные поиски.

Обсушились, успокоились и решили идти дальше к ближайшему селению, вверх по реке.

Еле передвигая ноги, люди молча брели по лесу, продираясь сквозь колючий хлесткий кустарник, спотыкаясь о корни деревьев, увязая в болоте.

То и дело моросил дождь. Вода стекала за шиворот, холодила тело.

На привалах уже не в первый раз перебирала Лена камни: вот зеленый искристый апатит, серый нефелин, а может быть, это и серый кварц — пустая порода. И рука невольно тянулась к камню, чтобы его выбросить. Но когда пальцы касались холодной поверхности, она вспоминала весь путь, пройденный с ним. Сколько нужно труда, чтобы найти его. А теперь, когда она почти у цели — выбросить! Не сегодня — завтра они придут в село, а там их ждет еда и отдых.

Главное, конечно, еда. Вот они, столы с едой, и можно есть, есть и есть. В голове у Лены проносились картины, одна соблазни-

тельнее другой, и она мысленно наслаждалась ими.

А руки тем временем бессознательно скользили по камню, обшаривали все уголки рюкзака, залезая и в потайные места. И вдруг в одном из кармашков ее пальцы нащупали что-то шершавое и очень знакомое, и, еще не видя, Лена вся напряглась в каком-то приятном ожидании. То, что она извлекла, заставило ее вскрикнуть от радости.

Она не верила глазам — в руках засохшая хлебная горбушка! Зубы впились в уголок и откусили маленький кусочек, — сухарик захрустел и рассыпался во рту, и тотчас душистый запах пшеничного хлеба ударил в голову — вкуснее Лена ничего не едала! Она отломила второй уголок горбушки и, чтобы продлить удовольствие, стала сосать его, как конфету.

Вдруг в кустах послышался шорох, Лена вздрогнула и инстинктивно спрятала горбушку.

«Не дам никому», — пронеслось в голове, и она осторожно огляделась.

От нервного напряжения зрение ее обострилось, и она отчетливо увидела каждого из товарищей. Увидела и ужаснулась, как они устали, ослабли.

Но особенно ее поразил сосед. Борис сидел, прислонившись к стволу дерева, и не разбирал камни, а безвольно раскинув руки, невидящими глазами смотрел вдаль. Лена видела, как его тонкие пальцы вырвали из земли стебелек. Он не глядя принялся жевать его.

Но Лена знала Бориса другим. Безжизненный взгляд, осунувшееся лицо вызвали острую жалость. Захотелось подойти, заглянуть в глаза, найти в них тот яркий огонек, который делал лицо красивым.

Губы Лены ощутили шершавую корку горбушки. Внезапная мысль заставила отдернуть руку. Будто кто-то ее толкнул.

Крадучись, словно вор, Лена незаметно подошла к Борису. Его рюкзак лежал несколько в стороне, и Лена, оставаясь незамеченной, без особого труда просунула туда хлеб. Как в тот момент стучало ее сердце, как дрожали руки! Долго она не могла успокоиться.

Вначале боялась, что Борис догадается, кто это сделал, потом ей, наоборот, ужасно захотелось этого. Он будет знать, какая она хорошая, добрая. Добрая? Лена улыбнулась и взглянула в сторону Бориса: «Я бы не только корочку отдала тебе». И сама испугалась этой мысли — разве только ему?

Словно в подтверждение своих слов Лена увидела Галку. Та лежала на земле, подстелив под себя спальный мешок, не то спала, не то дремала. Она похудела, и уставшие ноги ее казались чужими.

«Бедная, как я не заметила этого раньше? Нет, нет, Борис не должен знать, что это сделала я, что он тогда подумает?! Еще решит, что люблю его. Люблю? Да, конечно, люблю». Это утверждение ее внезапно успокоило и, легко вздохнув, Лена улыбнулась.

Вечером, когда группа готовилась к ночлегу, Лена заметила в Борисе резкую перемену. Его худое лицо светилось, в глазах появился яркий огонек — оно снова стало красивым. И Лене приятно было знать, что это она сделала его таким.

Утром, когда Лена проснулась, все еще спали. Ее поразило необыкновенное ощущение радости, покоя и ожидание чего-то хорошего. Это новое чувство связало ее со вчерашним днем. Лена стала думать о Борисе. Навязчивые мысли об еде и боль в желудке как-то невольно отодвинулись в сторону и были теперь не главными. Она видела его лицо. Во сне оно было некрасивым, губы казались толще, чем обычно, но от этого Лена чувствовала еще больший прилив нежности к нему.

«Как хорошо, как все хорошо!»

Внезапно рядом с ней раздвинулись кусты и показалась Галкина голова. Лена обрадовалась подруге и решила рассказать ей обо всем.

Но Галка не дала ей вымолвить и слова:

— Ленка, что я нашла сейчас в мешке! На, держи!

В протянутой руке Лена увидела ту самую горбушку, о которой собиралась рассказать.

В. Конев

В ШАХТЕ

Здесь от угля у старцев чернеют седины,
У юнцов отрастает за час борода,
В январе здесь в ручьи превращаются
льдины,
В ледяную капель — дождевая вода.

Я люблю этот сказочный мир,
Эту ласку
Ветерка, что из шахты сейчас нанесло...
Да и сами-то разве творим мы не сказку,
Из холодных глубин добывая тепло!

ЗА ГРУЗДЯМИ

Грибная осень.
Светло-розовый
В сентябрьском солнце далей дым.
Пропах веселый лес березовый
Здоровым духом груздяным.
А грузди этакие важные,
С густою нежной бахромой,
Сидят прохладные и влажные
Под прошлогоднею листвой.
Возьмешь его,
Отломишь с ножкою,
И столько прелести в грибе,
Что стол с дымящейся картошкою
Уже мерещится тебе.
Ах, осень!
Солнце невысокое,
Тумана клочья на реке
И тишина вокруг глубокая
В густом грибном березняке.

Жан Зимин

В ТАЙГЕ ХАНДАГАТАЯ

Я тихо шел, бруснику собирая,
По склонам голубым Хандагатая.

Неподалеку вдруг ударил выстрел.
Я вздрогнул, обернулся быстро...

Гляжу: вблизи колхозные девчата
Уже расправились с козлом рогатым.

И слышал я в тиши таинственной
Их смех торжественно воинственный.

Смеялись надо мною — горемыкой,
Что я «охочусь» только за брусникой.

По склону опустился я к низине,
Краснея, словно ягода в корзине.

Перевел с бурятского
Виктор Киселев

с. Кутулик

Ким Ильин

ТАЕЖНАЯ ДЕРЕВНЯ

Московская — названа эта деревня.
Мое изумленье кто смерить сумеет?
Гляжу на домишки,
Гляжу на деревья
И чую былинною древностью веет.

Скупы на слова в той деревне мужчины,
У всех прибайкальцев характер таковский.
Никак я не мог доискаться причины:
Кто первым назвал поселенье Московским?

Быть может, сбегая от царских «порядков»,
Здесь девушку встретил политкаторжанин.
И вот, породнившись навеки с буряткой,
Устроил очаг на таежной поляне.

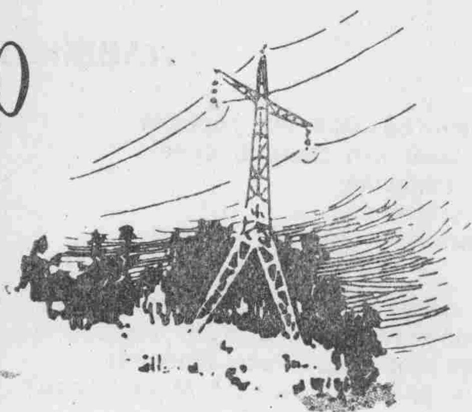
Никак не мирясь с неборимой тоскою,
В разлуке с друзьями,
В стремленье едином,
Избу средь черемух назвал он «Москвою»
На вечную память о граде любимом.

А нынче смотрю,
Не могу надивиться,
Шагает Московская в ногу со всеми:
Огни загораются, словно в столице,
В Московской — московское точное время.

Перевел с бурятского
Виктор Киселев

п. Усть-Орда

Разговор шел о Сибири



СЛОВО УЧЕНЫХ

Сибирь!

Край, в котором нет невозможного. Земля, хранящая в недрах своих несметные клады, несущая на плечах своих зеленое золото тайги, золотое море пшеницы, трубы новостроек, кварталы удивительных городов.

Недавно в Иркутске собрались географы изо всех концов страны. Разговор шел о Сибири, ее настоящем, будущем.

ГОВОРИТ Н. Н. НЕКРАСОВ,
член-корреспондент Академии наук СССР

Ресурсы, о которых мы еще по-настоящему не знаем

Развитие производительных сил Сибири и Дальнего Востока представляет по существу экономическое завоевание и пионерное освоение новых обширных пространств нашей земли, превращение их в новые мощные индустриальные районы Советского Союза. Все, что сделано нашими предками в Сибири и на Дальнем Востоке за последние столетия, явилось лишь начальной, трудной и героической в данных природных условиях эпохой первичного освоения. История индустриального развития Сибири и Дальнего Востока начинается с советской власти. Только советская власть с ее гигантскими задачами коренного экономического переустройства нашей великой страны смогла в короткие сроки, исчисляемые немногими десятилетиями, взяться за переустройство этих обширных пространств, создать промышленность и сельское хозяйство, построить новые города, изменить транспортные связи и тем самым подготовить индустриальный плацдарм для самого широкого освоения природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока.

Новый знаменательный этап открывает для Сибири семилетний план развития народного хозяйства Советского Союза. XXI съездом Коммунистической партии Советского Союза поставлены обширные задачи индустриального развития Сибири. Получают форсированное развитие энергетика и металлургия — основы современной индустрии. Больше $1/4$ общесоюзной добычи углей в 1965 году падает на Сибирь. Вводятся в эксплуатацию или строятся крупнейшие в мире гидроэлектростанции. Наряду с Братской ГЭС, начались основные работы на Красноярской ГЭС, мощность которой будет доведена до 5 миллионов квт. В Сибири создается мощная третья металлургическая база страны. Построены и строятся крупные нефтеперерабатывающие и лесохимические комбинаты, прокладываются магистральные трубопроводы. Форсированными темпами идет электрификация сибирской железнодорожной магистрали. Организуется один из крупнейших в мире центров по добыче алмазов. Таков лишь далеко не полный перечень грандиозных сдвигов в индустриальном развитии Сибири и Дальнего Востока в этом семилетии. Характерным является то обстоятельство, что сибирская индустрия в этом семилетии идет в новые северные районы. Масштабы освоения природных богатств

Сибири и Дальнего Востока в этом семилетии настолько грандиозны, что не могут сравниваться даже с предшествующими периодами. Могучая, постоянно совершенствуемая техника нашей страны, выросшие кадры рабочих и специалистов, изумительные, поражающие весь мир, достижения советской науки и техники позволяют теперь по-новому подойти к раскрытию и промышленному использованию богатейших природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока, которых мы еще по-настоящему и не знаем.

Всесоюзная кладовая

Характерной чертой открытых и изученных к настоящему времени природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока является их весьма высокая концентрация. Основная часть угольных ресурсов страны находится в Сибири. Открыты крупнейшие железорудные бассейны. Только в Восточной Сибири общие перспективные запасы железных руд оцениваются в 13 млрд. т. Главные лесные фонды страны расположены в Сибири и на Дальнем Востоке. Более половины общесоюзных запасов леса (38,7 млрд. кбм) приходится на Восточную Сибирь. Только три реки Сибири — Лена, Енисей, Ангара могут дать свыше 400 млрд. квт-ч электроэнергии. Сопоставления и иллюстрации богатств Сибири и Дальнего Востока можно значительно расширить. В совокупности природных богатств Сибири пока недостает промышленных месторождений нефти и природного газа, калийных солей и фосфоритов. Есть уверенность, что и эти ресурсы появятся в ближайшем будущем.

Река Черного Дракона станет рекой дракона электрического

Для перспектив развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока весьма важным фактором является непосредственная близость к странам социализма — Китайской Народной Республике, Монгольской Народной Республике и Корейской Народно-Демократической Республике. Проблема кооперации в развитии производительных сил Сибири и Дальнего Востока с этими странами имеет огромное экономическое и политическое значение. Задачи совместного изучения пограничных районов, строительства и эксплуатации промышленных объектов, обмена сырьем и продукцией, несомненно, будет все более и более расширяться. Ярким примером является совместная дружная работа Академии наук СССР и АН КНР по комплексному исследованию бассейна р. Амур и ее притоков. Амурская и Хейлунцзянская экспедиции, а за ними Ленгидэп и Чангуньгидэп выявили и изучили природные условия, природные ресурсы советской и китайской территорий, примыкающих к Амуру, определили причины и наметили конкретные мероприятия по борьбе с наводнениями на Амуре, почти ежегодно приносящими неисчислимые бедствия китайскому и советскому населению, живущему на Амуре. По-видимому, недалеко то время, когда на Амуре совместными усилиями советского и китайского народов будут построены первые мосты и гидроэлектростанции Дружбы народов. Река черного дракона — Хейлунцзян — Амур — будет обуздана и превратится в реку электрического дракона, помогающего осваивать природные богатства советской и китайской территории бассейна р. Амур.

Важнейшие экономические районы мира

Нам представляется, что в недалеком будущем Сибирь станет главным районом всесоюзного производства, в первую очередь легких и редких металлов, а также важнейших синтетических материалов. А поскольку Советский Союз набирает быстрые темпы производства этих новых материалов, без которых немыслима современная техника народного хозяйства, то уровень их выработки будет высоким. Логически рассуждая, можно считать достаточно обоснованным, если в пределах ближайших 10—20 лет Сибирь и Дальний Восток выдвинутся как важнейшие экономические районы мира по производству новых промышленных материалов. По концентрации природных ресурсов, их многообразию, обширная территория Сибири и Дальнего Востока представляет уникальный сектор нашей планеты — земли. Современная советская строительная и производственная техника позволяет развивать здесь производительные силы в масштабах, которых не знает еще мировое хозяйство.

В самом деле, уже сейчас поражают своими масштабами возможного производства дешевой электроэнергии Ангаро-Енисейский каскад гидроэлектростанций. Братская ГЭС — первый мировой уникальный гигант войдет в строй в первую половину этой семилетки. В ближайшие годы будет закончено строительство еще более мощной Красноярской ГЭС. На очереди другие крупнейшие

станции на Енисее и Илимская на Ангаре. Приступлено к составлению схемы использования р. Лены и ее основных притоков. Выполненные проектно-изыскательские работы позволили выявить, что на р. Лене имеется возможность наметить ряд очень крупных гидроэлектростанций, расположенных в достаточно благоприятных геологических условиях. Эти станции еще более расширят энергетические возможности центральной Сибири. Далее, восточнее Байкала, на очереди сооружение каскада ГЭС на Амуре и его притоках.

Исчисляемые в астрономических величинах запасы углей в Сибири, возможность организации дешевой добычи их открытым способом создают исключительные по своим возможностям экономически эффективные условия для сооружения мощных теплоэлектростанций. Уголь был и останется главным источником массового производства электроэнергии.

Сибирь будет центром мирового значения по производству электроемкой промышленной продукции. Алюминий, магний, титан, редкие металлы, новые полимерные материалы — вот те главные стержневые новые отрасли современной промышленной экономики, производство которых особо эффективно развивать в Сибири и на Дальнем Востоке, учитывая наличие сырьевых ресурсов и обильную дешевую электроэнергию. В порядке иллюстрации остановлюсь только на двух примерах.

Уже в этом семилетии предусмотрено создание мощной алюминиевой промышленности в Красноярском крае на базе крупнейших запасов нефелинов с попутным получением дешевого цемента и содопродуктов. Это будет самый дешевый алюминий в стране. В настоящее время алюминий получает свое второе рождение. Неограниченные сырьевые ресурсы для производства алюминия, эффективные новые технологические процессы, высокие конструкционные свойства этого металла определяют широкое его применение в машиностроении, авто- и тракторостроении, транспортном машиностроении, судостроении, в строительстве, в производстве товаров народного потребления. Темпы и уровень развития алюминиевой промышленности в Советском Союзе весьма высокие, а центр его производства вполне закономерно переходит в Сибирь.

Современная производственная техника, автоматика, космические ракеты в значительной мере опираются на применении новых для народного хозяйства редких металлов и сплавов. Вольфрам, молибден, литий, гафний, бериллий, германий и многие другие металлы требуются теперь в крупных промышленных величинах. Такими металлами богаты Сибирь и Дальний Восток, Саяны и Забайкалье, Якутия и Приморье, Крайний Север — это районы высокой концентрации сырья для производства новых ценных металлов для народного хозяйства.

Плотина Берингова пролива

Кроме проблем текущего и ближайшего перспективного периода, нас не могут не привлекать научные идеи большего, так сказать, планетарного порядка, которые сегодня кажутся фантастикой, весьма далекой от реальных возможностей и действительности. Особенно заманчивы для географии Сибири и Дальнего Востока идеи, высказываемые и разрабатываемые пока отдельными лицами, о коренном улучшении климата северных широт. Я имею в виду предложение инженера Борисова по искусственному регулированию климата северных широт путем строительства в зоне Берингова пролива мощной тепловой станции для переброски воды из Чукотского моря в Берингово для снятия ледяного покрова полярного бассейна. Это, конечно, проблема международного значения. И решение вопросов отепления холодных областей севера зависит от потепления в международных отношениях. Можно по-разному относиться к расчетам автора. Но одно несомненно, что идеи такого порядка, ведущие либо к коренному улучшению климата, либо к созданию иных условий, облегчающих динамичное развитие производительных сил в будущем в районах Сибири и Дальнего Востока, несомненно заслуживает внимания целых научных коллективов прогрессивной географической мысли. Хотелось бы в связи с этим особенно подчеркнуть, что даже современный технический уровень народного хозяйства позволяет решать многие географические проблемы по-новому. А технический прогресс настолько динамичен, что уже теперь можно ставить для научной разработки самые смелые и дерзновенные проблемы лучшего устройства нашей планеты. Великие достижения советской науки и техники, в результате которых запущена вторая советская космическая ракета на Луну, вдохновляет всех научных работников нашей страны на решение новых крупнейших задач современности. К новым проблемам нужно подходить с нашим советским размахом, дерзновением и трезвой деловитостью.

ГОВОРИТ Г. И. ГАЛАЗИЙ,
кандидат биологических наук директор Байкальской лимнологической станции

Национальная гордость страны

Байкал является уникальным водоемом. Это национальная гордость советского народа, особенно сибиряков. Байкал славится не только своей красотой, но также и природными богатствами. Это озеро-море является крупнейшим природным водохранилищем и источником самой дешевой гидроэнергии. Оно богато высококачественной рыбой, его берега — лесом, пушным зверем, птицей, а недра — различными полезными ископаемыми. Исключительна роль Байкала как объекта научных исследований, ибо целый ряд вопросов биологии, гидрологии и гидрохимии пресных вод может быть решен лишь в Байкале.

Учитывая неповторимый комплекс природных условий, специфику Байкала, его важное эстетическое, научно-познавательное и экономическое значение, использование его природных богатств должно планироваться особенно продуманно, с расчетом на самые лучшие перспективы и самые высокие потребности человека в будущем.

Именно эти дальние горизонты видел В. И. Ленин, когда подчеркивал необходимость правильного, рационального по-социалистически, использования природных ресурсов. Ленинская забота об охране природы проявилась после Великой Октябрьской социалистической революции, когда были приняты ленинские декреты «О лесах» (1918), «Об охоте» (1920), «Об охране памятников природы, садов и парков» (1921). Выполнение этих ленинских указаний имеет и в настоящее время первостепенное значение в деле восстановления и сохранения природных богатств нашей страны.

Если сделать прорезь

Однако как показывает практика, далеко не все планирующие и проектные организации помнят эти ленинские заветы и разумно подходят к сложной проблеме комплексного использования Байкала. В настоящее время видно, как одно ведомство рубит сук, на котором живет другое. Так, например, в истоке Ангары Мосгидэпом для ускорения наполнения водохранилища Братской ГЭС проектируется углубление русла вековых запасов воды озера без должного учета других потребностей народного хозяйства. Углубление реки Ангары предполагается произвести на 25 м; ширина прорези до 100 м, длина ее 9 км. Такое углубление должно осуществиться единовременным взрывом 30 тыс. тонн тола.

Ускоренное наполнение Братского водохранилища предполагалось произвести за счет понижения уровня Байкала на 1—3 м ниже нижней отметки его естественного уровня, или соответственно на 3—5 м ниже современного уровня, или на 2—4 м ниже среднего уровня воды в озере. Кроме того, в зимний период, учитывая толщу льда 100—130 см, водное зеркало будет еще ниже. Следовательно, при варианте 3-метрового понижения уровня оно фактически будет 5—6-метровым.

Какие явления при этом произойдут на его берегах?

Берега Байкала, особенно на западной стороне, приглубые. В южной котловине озера в трех-четырех километрах от берега глубины превышают 1000 м. Лишь узкая полоска прибрежной части, шириной от нескольких десятков до сотни метров, представляет собой мелководную зону, выработанную волнами в течение длительной геологической истории. На этом динамическом профиле равновесия между водой и берегом происходит гашение энергии воды, переработка и перемещение каменистого пляжевого материала.

Изменение пологого склона дна в этой прибрежной, или литоральной, зоне на крутой происходит на глубине около 10 м, то есть на глубине, равной половине длины наиболее часто повторяющихся волн на Байкале. Дальше от берега уклоны дна достигают 60°.

Берега Байкала сложены скальными породами, а прибрежная мелководная зона и пляж сложены преимущественно галечным и валунным материалом — продуктом разрушения скальных пород.

Если уровень озера будет понижен даже на 5 м, то удар волн будет направлен как раз на крутые участки дна. Энергия волн будет концентрироваться на узком участке крутого склона. Возрастет их разрушающее воздействие. В течение короткого времени будут разрушены осушенные при понижении уровня пологие участки дна. Пляжевый материал будет вынесен на крутые склоны для формирования нового профиля равновесия. Здесь он удержаться не сможет и скатится по склонам на большие глубины. Этому во многом будут способствовать многочисленные подводные каньоны, вершины которых подходят к современным пологим участкам дна. Они служат ловушками бере-

говых наносов, движущихся вдоль берега по мелководью. В период пониженного уровня оживятся многочисленные оползневые участки в районе склонов Хамар-Дабана, где проходит Кругобайкальская железная дорога, протяженностью около двухсот километров. Многочисленные берегоукрепительные сооружения в этом районе, защищающие железную дорогу от размыва, окажутся выше уровня воды и будут подмыты снизу. Разрушению этих укреплений и склонов, особенно на плотных третичных глинах, во многом будет способствовать морозное выветривание.

Эффективность морозного воздействия еще более на оползневых участках, а также в местах выхода или близкого к поверхности расположения грунтовых вод. Здесь при замерзании образуется выпучивание грунтов.

При снижении уровня Байкала устьевые участки многочисленных рек и речек окажутся как бы подвешенными. Базис эрозии понизится, в результате чего увеличится скорость течения в реках, произойдет их обмеление. Реки, текущие в мягких наносных грунтах, ускорят размыв русел. Из-за увеличения скорости течения и обмеления рек исчезнут многие нерестилища, особенно на таких реках, как Селенга, Верхняя Ангара и др. Эти реки вместе дают около 60% годового притока воды в Байкале. Только в этих двух реках нерестится свыше двух третей нерестового стада омуля. При этом будет нарушена водная буферная система между нерестовыми реками и Байкалом.

Буферная система представляет собой водную массу реки в приустьевом участке Байкала, в которой происходят постепенные изменения условий от речных к озерным. Такие участки воды обеспечивают постепенный переход в озеро мальков рыб, скатывающихся с речных нерестилищ. Непосредственное попадание мальков из реки в озерные условия грозит почти полной гибелью, а следовательно, вызовет постепенную гибель и самого промыслового стада рыб. Для сохранения рыболовства на Байкале гораздо полезнее некоторый подъем уровня озера, как это и было запроектировано при строительстве Иркутской ГЭС.

Уничтожение литоральной зоны, а вместе с нею и прибрежных мелководных заливов или соров, где в основном вырастает молодь и происходит нагул рыб, а также ухудшение условий нереста, по подсчетам Бурятского совнархоза, принесет убыток около 2 млрд. рублей.

При снижении уровня будут осушены все порты и убежища для судов на Байкале. Их перенос и сооружение новых, также обойдется в немалую сумму.

Но на этом неприятности не кончаются, это лишь незначительная их часть.

Можно ли допустить такое

Через некоторый период времени после снижения уровня воды в Байкале предполагается его восстановление до прежнего, с превышением на 1—1,5 м среднего уровня в соответствии с проектом Иркутской ГЭС.

В период подъема и особенно при достижении проектного уровня на берегах Байкала начнется новая выработка профиля равновесия. А так как бывший до снижения уровня профиль равновесия к этому времени будет разрушен и материал, выстилавший прибрежное мелководье, спущен по крутым склонам и подводным каньонам на большие глубины, то произойдет катастрофический размыв надводной береговой полосы, на которой в настоящее время расположены населенные пункты, инженерные сооружения, в том числе и Кругобайкальская железная дорога.

О масштабах разрушений сейчас можно судить лишь весьма приблизительно. Однако если учесть разрушение береговых укреплений на протяжении многих километров вдоль линии Кругобайкальской железной дороги, которые могут выйти из строя в течение первых же лет после подъема уровня, а соответственно, выйдет из строя и значительная часть самой железной дороги, то размер убытков с учетом переноса населенных пунктов и потерь рыбного хозяйства может сравняться или даже превысить стоимость строительства Братской ГЭС. При этом железную дорогу придется переносить на склоны хребта Хамар-Дабан, что практически будет весьма трудной задачей. Еще более трудной окажется эксплуатация дороги на крутых, с обильными оползнями, склонах хребта.

Из сказанного видно, что принятое в проекте Мосгидепа резкое снижение уровня воды с последующим его повышением принесет не только убытки народному хозяйству, но приведет также к значительному разрушению своеобразного комплекса природных особенностей Байкала и массовой гибели фауны.

Таким образом, если мы хотим сохранить Байкал как ценнейший географический объект с неповторимыми особенностями природы, нельзя допускать изменения уровня воды в нем больше чем его естественные колебания.

Вода несет смерть

Но на Байкале, кроме того, проектируются, а на р. Селенге уже строятся, целлюлозные комбинаты. Эти комбинаты ежесуточно будут спускать в озеро около полумиллиона кубических метров обескислороженной и загрязненной промышленными отходами воды. Только один Солзанский комбинат ежесуточно будет сбрасывать в Байкал около 180 тысяч куб. метров вод промышленного стока.

Существующие способы очистки на наших заводах, кроме выпаривания промстока и сжигания твердого остатка, что практикуется за рубежом, не гарантируют водоем от загрязнения этими отходами. Разработка более совершенных способов очистки у нас только начата и по существу из опытной стадии еще не вышла, а комбинаты уже строятся или будут построены в ближайшие годы.

Отравленные и загрязненные воды промстока Солзанского комбината в штилевую погоду и при ветрах западных и северо-западных румбов будут распространяться в прибрежной части, располагаясь полосой вдоль берега порою на десятки километров, отравляя все живое на этом участке озера и лишая жителей многочисленных поселков и города Слюдянки возможности пользования водой Байкала. При южных и юго-восточных ветрах загрязненные воды в течение короткого времени будут перенесены на западные и северо-западные берега, могут быть втянуты в р. Ангару и попадать в водозаборную систему г. Иркутска. Кроме того, вредными и ядовитыми примесями на этих берегах будут также отравлены все живые организмы.

Возможность такого широкого распространения и загрязненных вод обусловливается их распределением на поверхности из-за относительно высокой температуры и меньшего удельного веса, чем вода озера с довольно низкой температурой.

По мере охлаждения воды отравленные вещества и органические остатки будут откладываться в виде осадка на прибрежных мелководьях и пляжах. Совокупное действие клейких органических веществ и ядовитых солей цинка и других элементов превратит эти участки озера в безжизненные пространства.

Расчет на биологическое самоочищение мало обоснован, так как из-за низкой температуры воды в Байкале процессы самоочищения будут замедлены и специфические живые организмы озера погибнут гораздо раньше, чем успеет очиститься вода.

О том, что это будет происходить именно так, достаточно сказать, что организмы в озере приспособлены к жизни в воде с высокой насыщенностью кислородом. В поверхностных слоях содержание кислорода достигает 120 -140% нормального насыщения.

В придонных слоях, на самых больших глубинах в воде содержится до 80% кислорода к его нормальному насыщению. Поэтому даже вода, не содержащая никаких вредных примесей, но лишенная кислорода, попадая в Байкал в большом количестве, будет губительной для животных организмов.

В р. Селенге и в современных условиях иногда наблюдается дефицит кислорода, угнетающий нерестового омуля.

При спуске около полумиллиона кубометров воды в сутки, даже полностью очищенной от примеси вредных солей и органических веществ, но лишенной кислорода, селенгинская вода будет совершенно не пригодной для жизни. Ведь в период меженного уровня вся вода реки будет использоваться в технологическом процессе производства и, будучи выпущенной в реку или озеро, окажется мертвой.

Если Иркут сбросить в Байкал?

Для этого необходимо положительно решить вопрос о строительстве Култукской гидроэлектростанции со сбросом вод реки Иркута в Байкал. Мощность этой станции, по расчетам гидроэнергетиков, должна быть около 200 тыс. квт. Вода Иркута, попадая в Байкал, могла быть еще раз использована на Иркутской гидростанции, давая дополнительное количество электроэнергии и, вместе с тем, оказала бы благоприятное влияние на гидрологический режим Байкала, увеличив его приходную часть.

Долину реки Иркута от места его поворота на запад, на участке, где русло прорезает хребет Долье-Дол-Гой, на протяжении около 100 км, можно использовать для строительства различного рода очистных сооружений. Комбинируя искусственную и естественную очистку воды, можно добиться ее достаточной чистоты, допускающей в дальнейшем сброс в русло реки и использование для бытовых и промышленных нужд нижележащими селениями и предприятиями.

Объединить усилия всех ученых

Байкал привлекает интерес многочисленных научно-исследовательских и производственных организаций.

Ежегодно на Байкале работают несколько десятков экспедиций и отрядов, изучающих различные стороны его природы. Затрачиваются значительные средства, собирается большой материал, однако следы этого материала найти невозможно. В связи с этим часто производятся повторные исследования с дополнительной затратой средств и сил. Кроме того, при исследованиях используется разнообразная методика, в результате чего полученный материал порой не может быть сравнен или применяются такие методики, исследования по которым вообще непригодны для решения поставленных вопросов.

Считаем, что назрела необходимость упорядочить исследования на Байкале. Для этой цели нужно создать координационный центр, в задачу которого бы входило согласование программ всех исследовательских учреждений, изучающих Байкал, согласование и разработку единых методик исследования на озере, а также контролировать все мероприятия по использованию его природных богатств для нужд народного хозяйства.

Наступило время объединить усилия всех исследовательских учреждений для всестороннего комплексного изучения природы Байкала и других природных районов Сибири и Дальнего Востока по единой методике заранее согласованных программ.

ГОВОРИТ В. А. КРОТОВ,

профессор, председатель Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР

Чем характеризуется Братско-Тайшетский промышленный узел?

Вся эта территория характеризуется прежде всего высокой концентрацией дешевых источников энергии, наличием разнообразных и богатых ресурсов минерального сырья, огромными запасами высококачественной древесины, выгодным транспортным и географическим положением и благоприятными условиями природы для развития здесь крупной промышленности. Среди других районов Иркутской области эта группа районов отличается наиболее благоприятными климатическими условиями. Гидроэнергетические ресурсы среднего течения Ангары обеспечивают среднегодовую выработку на двух мощных ГЭС (Братской и Усть-Илимской) свыше 43 млрд. квт-часов электроэнергии, себестоимостью от 0,4 до 0,6 коп. за квт-час.

Следует сказать, что Братская и проектируемая Усть-Илимская гидростанции имеют наилучшее инженерно-геологические условия строющихся ГЭС Советского Союза, в том числе и по сравнению с проектируемой Енисейской станцией. По удельным капитальным затратам на установленный киловатт Усть-Илимская ГЭС, по проектным данным, приближается к крупной тепловой электростанции, но может быть даже и ниже.

Какие природные богатства имеются здесь?

В районе Братско-Тайшетского промышленного узла сосредоточены большие запасы каменных и бурых углей. Сюда входят окраинные части трех угольных бассейнов — Канско-Ачинского, Тунгусского и Иркутского. Общие запасы, разведанные только по Азейскому месторождению около гор. Тулуна, составляют 781 миллион тонн; они подготовлены для открытой добычи. Работы по подготовке к использованию их уже ведутся, проект утвержден, себестоимость добычи будет составлять от 6 до 7 руб. за одну тонну натурального топлива. Таким образом, по своим показателям это месторождение находится наравне с Назаровским и Ирша-Бородинским месторождениями Канско-Ачинского бассейна.

Геологические запасы железных руд по 12 месторождениям Ангаро-Илимского железорудного района превышают 1 млрд. тонн. Магнетитовые руды Коршуновского и Рудногорского — самых крупных месторождений относятся к легко обогатимым и не требующим обогащения рудам. Разработка месторождений возможна открытым способом при низкой себестоимости руды — 10 руб. за тонну.

Из других полезных ископаемых в районе Братско-Тайшетского промышленного комплекса известны: поваренная соль, кварцевые стекольные и формовочные пески, цементные и флюсовые известняки, глина, алюминиевое сырье (в виде силлиманитовых сланцев), титановое сырье (ильмениты), магниевое сырье (доломиты), редкие металлы, алмазы в россыпях.

Лесные ресурсы этих районов оцениваются в 3 млрд. 100 млн. куб. м, главным образом хвойных пород, в том числе 44% сосны.

Нужно отметить, что среди других районов Иркутской области и Восточной Сибири леса бассейна реки Чуны и среднего течения Ангары считаются наиболее высококачественными по выходу деловой древесины на 1 га площади.

Не далеко то время, когда здесь развернутся новые леспромхозы, обильным потоком пойдут в города области и в безлесные районы строительные материалы, пиломатериалы, всевозможные изделия из древесины.

Немного цифр, но каких!

По расчетам Гипрогора, Гидроэнергопроекта и ряда других проектных организаций, которые занимались разработкой вопросов Братско-Тайшетского промышленного узла, предполагается, что в течение 20 лет Братско-Тайшетский промышленный узел должен достигнуть таких уровней производства: выработка электроэнергии — 55 млрд. квт-часов, которую дадут Братская ГЭС, Усть-Илимская ГЭС и ТЭЦ предприятий, создаваемых здесь; добыча бурых углей за счет Азейского месторождения должна составлять 20—18 млн. тонн. Производство чугуна, стали, проката достигает несколько миллионов тонн, заготовка древесины 18 млн. куб. м, производство пиломатериалов 6,5 млн. куб. м, производство бумаги — 900 тысяч тонн в год, домостроение на 2 млн. кв. м жилплощади. Вот примерные уровни производства, которых должен достигнуть Братско-Тайшетский промышленный узел на 3 ближайших пятилетки и на которые нужно равняться при определении численности населения, размеров сельскохозяйственных площадей, обслуживаемых отраслей, развития городов и рабочих поселков и т. д.

Заглянем в будущее

Какие заводы будут создаваться здесь?

Предполагается, главным образом, заводы тяжелого машиностроения. Они не предусмотрены семилетним планом, будут за пределами семилетки, наибольшие основания имеются здесь для строительства завода горного оборудования, лесной промышленности и энергетического оборудования, центрами строительства которых предполагаются такие пункты, как Тайшет, Нижнеудинск, Тулун и отчасти Алзамай.

ГОВОРИТ А. А. ВОРОБЬЕВ

научный сотрудник Восточно-Сибирского филиала Академии наук СССР

Река алюминия

Восточная Сибирь богата природными ресурсами, необходимыми для развития алюминиевой промышленности. Известно, что одним из важных направлений технического прогресса является облегчение веса машин, в частности транспортных машин. Для решения этой задачи применяется алюминий и его сплавы, поэтому намечено расширение алюминиевого производства в нашей стране.

Где будет развиваться алюминиевая промышленность в нашей стране? По данным Гипроалюминия, производство алюминия в Восточной Сибири дешевле, чем в западных районах нашей страны примерно на 20%, поэтому намечается развитие мощной алюминиевой промышленности на базе сырьевых ресурсов Красноярского края, так как там имеются нефелины для производства глинозема.

Наши советские ученые разработали новый термический метод производства алюминия, который даст возможность снизить себестоимость тонны алюминия примерно на 500 рублей. Но электротермическим способом алюминий добывать из глиноземного сырья не представляется возможным. Для этой цели есть сырье в Иркутской области — богатейшие залежи дистенов в районе Бодайбо и Мамско-Чуйского междуречья. По данным геологов, они исчисляются многими миллиардами тонн и являются надежной сырьевой базой на долгие годы. Для выплавки алюминия нужны мощные источники электроэнергии. Такие источники дешевой электроэнергии имеются в Иркутской области. Известно, что в будущем Усть-Илимская ГЭС будет давать до 24 миллиардов квт-часов электроэнергии в год. Значительное количество электроэнергии могут давать в будущем электростанции на Лене. Мощность Усть-Илимской ГЭС позволит выпускать в этом районе до миллиона тонн алюминия, а если мы применим новый электротермический способ производства алюминия, это даст снижение себестоимости алюминия порядка 500 млн. рублей в год. Эта экономия позволит окупить капитальные вложения на производство алюминия в 4—5 лет.

Для этого надо также в район Бодайбо, в район залежей алюминиевого сырья, проложить железную дорогу и построить Усть-Илимскую ГЭС.

ГОВОРИТ С. Л. ЛУЦКИЙ,

кандидат географических наук, преподаватель Львовского университета

Нужна научно обоснованная перспектива развития Сибири и Дальнего Востока

Научно обоснованной перспективы развития севера Сибири и Дальнего Востока еще не разработано. В то же время бесспорно, что представление о Севере, как лишь о зоне оленеводческо-промыслового хозяйства и выборочного освоения отдельных наиболее ценных ископаемых ресурсов, устарело и уже не отвечает фактическому направлению его развития.

Размеры, темпы и направление развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока в годы пятилеток и в текущем семилетии позволяют определить ближайшую перспективу развития Севера, как все более широкое и полное использование его ресурсов, как дальнейшее развитие ранее возникших там экономических районов, создание новых экономических районов, строительство железных и автомобильных дорог, создание энергетической базы, развитие нефтегазовой, химической и лесной промышленности, развитие сельского хозяйства, особенно животноводства, и дальнейший рост населения, усиление и рационализацию межрайонных связей и постепенную подготовку к развернутому хозяйственному освоению обширных пространств Севера и будущем.

Такая перспектива развития Севера делает необходимым значительное усиление работ по его экономическому районированию, то есть по научному обособлению сложившихся, складывающихся или долженствующих сложиться там территориальных производственных комплексов и по разработке перспективных планов, прогнозов и отдельных проблем их развития.

Производительные силы СССР организованы и развиваются в форме сложного, многоступенчатого комплекса экономических районов, от первичных до общесоюзных. Развитие производительных сил на Севере также идет в форме территориальных производственных комплексов — экономических районов.

Взгляд, что Север еще не созрел для экономического районирования, что там еще нечего районировать, не выдерживает критики. Когда, в 20-х годах начинала свою работу Правительственная комиссия по экономическому районированию страны, когда разрабатывали свои проекты районов Комиссия ГОЭЛРО и Госплан, то этих районов еще не было. Их нужно было создать. Работы по районированию, начатые в общегосударственном масштабе, явились необходимым условием для их создания. Когда, в 20-х годах, комиссия Ангарстроя разрабатывала свой замечательный проект, то Восточная Сибирь еще сохраняла прошлую отсталость. Однако прошло несколько десятилетий и этот проект, тогда казавшийся фантастическим, был превзойден. В условиях быстрых и неуклонно возрастающих темпов развития производительных сил СССР не исключено, что данные экономического районирования севера Сибири и Дальнего Востока потребуются гораздо раньше, чем мы сейчас можем предполагать.

Животноводческая целина

Вопросами развития сельского хозяйства занимаются многие научно-исследовательские учреждения, трудами которых выявлены большие возможности его развития. Теперь для всех бесспорно, что север Сибири и Дальнего Востока, особенно их ближний Север, представляет собой один из возможных крупных животноводческих районов СССР, настоящую животноводческую целину. К настоящему времени достаточно определилась зональная специализация сельского хозяйства районов Севера, выявлены наиболее удобные местности для земледелия в открытом грунте и накоплен необходимый опыт. Промышленность, продвинувшаяся в районы Севера, создала местный спрос на продукты сельского хозяйства, дала выход его продуктам к районам потребления и явилась необходимой технической базой дальнейшего развития сельского хозяйства районов Севера.

Развитие сельского хозяйства и отчасти некоторых других отраслей хозяйства выдвигает проблему повышения естественной производительности природы Севера и более полного ее использования для нужд хозяйства. Естественная производительность природы здесь в сельскохозяйственном отношении в 3—5 раз ниже, чем в полосе Сибири и Дальнего Востока, прилегающей к транссибирской железной дороге. К северу этот разрыв еще более возрастает. Причина этого заключается не только в том, что природа здесь более бедна, более сурова, и что климат Севера более холоден. Не менее важно и то, что природа южной части Сибири и Дальнего Востока на протяжении нескольких столетий изменялась человеком и постепен-

но приспосабливалась к его нуждам. На Севере она еще почти не изменена человеком. Когда в природу здесь будет вложено достаточно труда, ее производительность значительно возрастает.

Фантазия? Нет — реальность!

В последние годы в литературе поднято много интересных вопросов, касающихся повышения производительности природы Севера. Тихомиров и другие авторы выдвинули предложение о продвижении древесной растительности в тундры, создании там ветрозащитных полос и улучшении пастбищных угодий тундр. Все больше внимания привлекают торфяные массивы — эти северные черноземы. Тов. Авсюк и другие ученые выдвигают идею частичного уничтожения запасов льдов в арктическом бассейне и улучшения условий арктического судоходства; начат искусственный сгон снега на обрабатываемых площадях для некоторого увеличения продолжительности вегетационного периода. По-видимому, наступило время и для экономической географии заняться разработкой проблем хозяйства, связанных с мероприятиями по повышению производительности природы Севера, и составлением научных прогнозов развития хозяйства в новых условиях.

Л. Васильева

ХУДОЖНИКИ О НОВОЙ СИБИРИ

Подготовка к республиканской выставке «Советская Россия» вызвала большое оживление в творческой организации иркутских художников. У молодых и маститых, в каждой творческой мастерской идет напряженная работа. И она уже дала свои плоды: за минувший год художниками-иркутянами написано немало интересных картин о наших днях и людях, о новой Сибири.

Характерно и другое: у художников явилась потребность общения с массовым зрителем, с теми, для кого они создают свои произведения. Какую оценку дадут они той или иной картине, какие суждения выскажут о замыслах, запечатленных еще только в эскизах и набросках? Ведь суд общественности — самый справедливый, доброжелательный и в то же время строгий. Он во многом предопределит, кому и каким произведениям будет оказана честь представить на республиканской выставке Восточную Сибирь.

Летом прошлого года в области с большим успехом прошел День художника. Это событие стало настоящим праздником для иркутян, жителей Ангарска, Усть-Орды, Хомутово, Братска. Художники одновременно в нескольких аудиториях встретились со зрителями. Их произведения были выставлены для всеобщего обозрения в окнах домов на центральной улице Иркутска. В Братске начала работать передвижная выставка. Открылась картинная галерея в селе Хомутово. Художники подарили колхозникам шестьдесят пять картин и две скульптуры.

«Искусство принадлежит народу» — ленинский лозунг, украшавший выставочные залы, звучал в этот день поистине в полный голос.

Прошло несколько месяцев. 12 декабря Иркутское отделение Союза советских художников объявило об открытии в областном художественном музее большой выставки, посвященной сорокалетию установления советской власти в Сибири.

На ней экспонируется около пятисот произведений — творчество почти ста авторов. В Иркутске работает сейчас сорок членов Союза советских художников и кроме того — многочисленная группа молодежи — выпускников художественных вузов. В выставке принимают также участие художники Черемхово, Братска, Шелихова, Илимска.

В залах музея впервые за долгое время собраны воедино работы этого большого коллектива сибирских художников. Они интересны и по разнообразию творческих почерков, и по своей тематике. Основное место занимают в экспозиции произведения о современности — о сегодняшнем дне родного сибирского края, о героическом труде преобразующих его людей.

Внимание многочисленных посетителей неизменно привлекает шестиметровый триптих — декоративное панно — «Сибирь социалистическая» работы художников А. Крылова, Г. Богданова и А. Алексеева. Замысел этого монументального произведения родился у них в результате поездки на строительство Братской ГЭС. Более двух лет продолжались творческие поиски. Первоначальный замысел — отобразить в панно конкретную картину великой стройки — перерос в более широкий — показ примет новой Сибири в художественно обобщенном образе.

Работа над триптихом — картиной из трех объединенных общей идеей частей, по-

настоящему увлекла художников-соавторов. Им захотелось своими глазами увидеть крупные стройки, познакомиться с людьми разных профессий, в самой гуще жизни отыскать героев будущего монументального полотна.

Художники побывали в Шелихове, Ангарске, на строительстве Иркутской ГЭС, в Братске. В их альбомах появились десятки набросков: портреты, пейзажи, сцены.

Помнится, на встрече художников с писателями, состоявшейся весной, были представлены многочисленные эскизы к триптиху. Уже тогда они вызывали много суждений. Сейчас эта большая работа завершена.

В центре композиции — группа строителей. Они стоят на скалистой вершине и кажется, что перед их глазами открывается широкая и величественная панорама: море тайги на дальних сопках, сине-зеленые, свивающиеся в тугие жгуты, струи Ангары и четкие, словно на огромном чертеже, контуры будущей Братской ГЭС. Навстречу распахнувшимся далям широко шагнул коренастый человек с открытым и мужественным лицом; замерла, вся устремившись вперед, миловидная девушка в неуклюжем ватнике и больших валенках. У чубатого, видать озорного, но сейчас притихшего парня рука сама собой легла на плечо товарища...

Здесь на гребне сосны, перед лицом того великого, что сотворено их трудом в недавней таежной глухомани, эти строители, а точнее — созидатели испытывают гордое, победное ощущение духовного взлета.

Боковые части триптиха запечатлели новые приметы сибирского пейзажа.

...Ангара в заснеженных берегах. Белые птицы над студеной синей водой. И от берега к берегу — нить провода высоковольтной линии электропередачи, провисшая под тяжестью облепившего ее куржака.

С другой стороны — зубчатая хвойная стена тайги.

Многочисленные посетители выставки не проходят мимо этого произведения художников. Большинству триптих нравится.

Романтика трудовых будней покорителей Ангары привлекла художника И. Несынова. К выставке он завершил большую картину «Подводники Иркутской ГЭС».

...Мороз сделал аквамариновую ангарскую воду свинцово-серой, тяжелой, наросты льда облепили небольшую лодку, стоящую на якоре возле бетонной стены здания гидростанции. Волны бьются об нее, рассыпаясь в ледяные брызги. В лодке четверо деловито работающих людей. Один из них, в легком водолазном костюме, готов к спуску. Он стоит на корме в полный рост — человек могучего здоровья, богатырского сложения. Шапочка с наивным помпоном, которая одевается обычно под скафандр, придает его волевому лицу рябячье, задорное выражение.

Сейчас он бесстрашно шагнет в бурлящий водоворот и там, на речном дне, приступит к выполнению задания. Труд под водой для него — привычные, повседневные будни. Но сколько в этом труде мужественной красоты, подлинного героизма — утверждает картина И. Несынова.

Еще несколько шагов по выставочному залу — и мы у картины В. Рогаля.

...Синий вечер. Белые снега. И лучезарный разлив огней, уходящих окрест, сколько видит глаз. Это полотно носит символическое название «Сибирские огни». В ней запечатлен сегодняшний праздничный облик сибирской земли, озаренной огнями могучих гидростанций. У картины В. Рогаля «Новая Сибирь», где изображена нарядная железнодорожная станция и электровозы, стоящие на путях, нам довелось услышать разговор студентов-филологов.

— Слишком иллюстративно, — говорил один. — Картина похожа на цветную фотографию...

Другому же нравилась жизнерадостность ярких красок, которых художник не пожалел для этого полотна.

Молодежь, посещающая выставку, особым вниманием отмечает картину А. Вычугжанина «Дипломный год». То ли близка ей тема, то ли привлекает необычность композиционного и цветового решения картины.

Маленькая хрупкая девушка рисует углем на белом картоне большую картину. Лица ее не видно. Только спина и тяжелые каштановые косы. Да еще рука — худенькая, детская, но таящая в себе уверенную силу.

Интересны также портреты, представленные А. Вычугжаниным.

Идем из зала в зал: сколько хорошего, увлекательного сумели рассказать художники о родном крае. Вот картина Скруберта «Байкальский мрамор», которую он писал на высокогорном карьере «Перевал», вот полотна Е. Конева «Ангара покорилась», А. Руденко «Шелихов строится», В. Ольховика «Выход на лов» и В. Томиловского «Поезд на сибирской магистрали». Сами названия этих произведений говорят о том,

что художников вдохновляет жизнь, современность.

Интересно было познакомиться с произведениями иркутских скульпторов Б. Горлача, Г. Панчукова. Их также привлекает образ современника. И наконец посетители выставки попадают в галерею, где выставлены 30 портретов старых большевиков и героев гражданской войны в Сибири.

Среди них портреты Н. Каландарашвили, Ф. Лыткина, И. Пестуна, А. Ровинского, П. Ганженко, С. Романова, А. Егорова и других. Галерея портретов участников борьбы за власть Советов в Сибири будет еще пополнена. Художники решили принести ее в дар музею.

Тысячи людей побывали на итоговой выставке работ художников Восточной Сибири. Выставка эта интересна во многих отношениях. Однако в заключение хочется все же сказать, что она могла быть значительно шире, объемнее. Ведь выставка посвящена сорокалетию установления советской власти в Сибири. Рядом с картинами, воспевающими новую, социалистическую Сибирь, несомненно имели право быть выставленными произведения исторического плана, картины тех художников, которые работали в Иркутске в 20-е, 30-е, 40-е годы. Интересно было бы это? Безусловно!

В целом же было радостно познакомиться с новым в творчестве наших художников — и вместе с ними поволноваться о судьбе их картин на предстоящей в марте 1960 года выставке «Советская Россия».

Мы помним их имена

Еще будучи студентом (а это было давно, 36—38 лет тому назад), я много слышал о докторе Шастине. Старые иркутяне всегда говорили о нем с большим уважением, как о крупном хирурге, исключительно гуманном, бескорыстном враче, человеке большой культуры и кристальной честности.

Позднее мне стало известно, что Павел Николаевич Шастин оставил в Иркутске большой след, воспитав здесь ряд врачей-хирургов, много хороших фельдшеров и хирургических медсестер, что он оказал значительное влияние на постановку хирургического дела в области, содействовал лучшей организации городской больницы и, кроме того, проводил большую общественную и культурно-просветительную работу.

С 1944 по 1958 г. мне приходилось часто бывать в дружественной нам Монгольской Народной Республике, куда я выезжал по командировкам Министерства здравоохранения СССР для консультации больных. Здесь я узнал, что П. Н. Шастин был первым советским врачом в Монголии, где он проработал 14 лет и оставил по себе замечательную память.

Руководители монгольского здравоохранения охотно рассказывают молодежи о деятельности советского врача Шастина, призывая молодых медиков быть такими же преданными интересам страдающего человека, как был им предан старый русский доктор.

Полагая, что выдающийся сибирский врач Павел Николаевич Шастин заслужил, чтобы о нем знали люди нового поколения, я обратился с предложением к его сыну и дочери написать биографию их отца и к редакции альманаха «Ангара» — с просьбой напечатать ее. Такова история публикуемой биографической справки.

Читателям надо иметь в виду, что авторы статьи были вынуждены, из понятных соображений, воздержаться от оценки деятельности своего отца и ограничились только изложением фактического материала.

Я надеюсь, что биография П. Н. Шастина заинтересует и читателей альманаха и наших писателей, как человеческий документ о людях, выросших в дореволюционной Сибири, которые в условиях каторжной царской действительности не покладая рук работали во имя человека, проникнутые глубокой верой в светлое будущее своего края, в грядущее счастье своей великой Родины.

Особенно мне хотелось бы, чтобы биография П. Н. Шастина дошла до широких кругов молодых медиков, в частности до студентов медвузов и медтехникумов. У Павла Николаевича Шастина есть чему поучиться.

Профессор Х. Г. Ходос

Н. Шастин, Н. Шастина

ДОКТОР П. Н. ШАСТИН

Старшее поколение советских врачей, пришедших в революцию уже сложившимися людьми с выработанным мировоззрением, прошло нелегкий путь. Большинство из них, хотя и сторонилось политической деятельности, но неукоснительно продолжало свое трудное дело служения народу. Сама работа врача, соприкасавшегося с народными массами, во многом определяла мировоззрение и толкала на сближение с революционным пролетариатом. К таким врачам, оставившим о себе добрую память, принадлежал и врач-сибиряк Павел Николаевич Шастин, долгое время работавший в Иркутске.

П. Н. Шастин был сыном сельского священника. Родился он 10 февраля 1872 года в селе Куйтун, Нижнеудинского уезда, Иркутской губернии. Он рано потерял мать, умершую от туберкулеза. На руках отца после ее смерти осталось двое малолетних сирот — старший сын Павел 4 лет и двухлетний Михаил. Вскоре к ним приехала старшая сестра его покойной жены Таисия Ивановна Старцева, посвятившая свою жизнь воспитанию осиротевших племянников.

Когда подошли годы учения, старший из братьев Павел переехал в Иркутск в семью покойной матери, где и жил зимою, учась в Иркутской губернской гимназии, а летом приезжал на каникулы к отцу. Губернская мужская гимназия в г. Иркутске в 80-х годах прошлого века была общеобразовательным учебным заведением, в программе которого уделялось большое внимание изучению древних классических языков. Особенно много приходилось заниматься латинским и греческим языками, требовательный и суровый преподаватель которых был настоящей грозой для гимназистов. Несмотря на такое классическое образование, у юноши Павла Шастина рано проснулся интерес к естественным наукам, который выявился впоследствии в хорошем знании сибирской природы. В 18-летнем возрасте Павел Николаевич окончил курс обучения в гимназии и получил аттестат зрелости. В этот же год он вместе со своим отцом и младшим братом отправился в Казань учиться. Путь в Казань был трудным. Железной дороги еще не было и пришлось ехать с казенным караваном, везшим золото в столицу. Это был наиболее дешевый, но зато и медленный способ передвижения в те годы. Отец Павла Николаевича поступил на двухгодичные миссионерские курсы при Казанской духовной академии, сам же Павел Николаевич, вероятно под влиянием отца, поступил на первый курс духовной академии, хотя и мечтал о медицинском факультете. Однако он проучился в академии недолго, так как был исключен через год по «политической неблагонадежности», выразившейся в распространении среди студентов нелегальных сочинений. В числе этих нелегальных сочинений был и знаменитый роман Н. Г. Чернышевского «Что делать?», переписанный Павлом Николаевичем совместно с другими студентами. Исключенный из академии, он устроился вольнослушателем 1-го курса медицинского факультета Казанского университета, но смог проучиться лишь один год, так как у его отца срок пребывания на курсах окончился и надо было возвращаться в Иркутск. Остаться в Казани Павел Николаевич не мог, не было средств ни на ученье, ни на жизнь. По возвращении в Иркутск его отцу удалось получить для сына частную стипендию у купчихи Сипягиной. На лошадях с караваном Павел Николаевич отправился в Томск и поступил в университет на медицинский факультет. На старших курсах, в летние месяцы студент П. Шастин работал фельдшером на Обь-Енисейском канале, скудной десятирублевой стипендии не хватало даже на самое необходимое.

По окончании медицинского факультета в 1896 г. молодой врач, получивший звание лекаря и принесший, согласно принятому в те времена обычаю, врачебную клятву о беспорочной лечебной деятельности, вернулся в Иркутск и получил назначение в Базановскую детскую больницу, где он работал ординатором под руководством известного иркутского врача Губкина. В детской же больнице работала фельдшерицей Мария Игнатьевна Орловская. Павел Николаевич нашел в ней верного и преданного друга, с которым вместе прошел весь свой долгий жизненный путь.

В 1898 году доктор Шастин перешел работать в Кузнецовскую больницу ординатором хирургического отделения. Хирургия привлекала его еще на студенческой скамье. В Кузнецовской больнице собрался крепкий врачебный коллектив во главе которого находился Филарет Филаретович Ковригин,

хороший организатор, врач и товарищ, оставивший по себе добрую память, к сожалению рано скончавшийся. В больнице в то время работали: выдающийся сибирский психиатр В. А. Брянцев, хирург Г. А. Бергман, А. С. Ковригина, молодые врачи К. И. Русанов, П. Н. Шастин, Я. Е. Брегель, несколько позже к ним присоединились К. А. Заорский, А. Н. Нечаев, П. П. Москвитин. Все они составляли дружную врачебную семью и почти все жили на территории больницы, что еще более сближало их.

В 1906 году доктор П. Н. Шастин был направлен на полтора года в Петербург для усовершенствования в клинику проф. Г. И. Турнера. Поехал он в эту длительную командировку вместе с семьей. Возвратившись в Иркутск по окончании командировки, Павел Николаевич продолжал свою работу в Кузнецовской больнице и вскоре стал заведовать хирургическим отделением. Эти годы были временем становления хирургической асептики, и Павел Николаевич с воодушевлением организовал асептическую операционную в отделении заново, установил в предоперационной автоклав, в самой операционной спиртокалильную лампу для освещения операционного поля и стал внедрять в повседневную жизнь отделения большую абдоминальную хирургию, оперируя на желудке и производя гастроэктеростомии.

Занимаясь лечебной практикой, Павел Николаевич уделяет большое внимание и общественной работе. Он вскоре избирается «гласным» городской думы и работает членом санитарного совета в постоянной санитарной комиссии думы, в библиотечной комиссии, членом дирекции театра. Кроме того, он работает библиотекарем библиотеки Восточно-Сибирского общества врачей, затем членом правления этого общества, а к 1914 году и председателем правления. Будучи председателем Общества, он принимал деятельное участие в организации первой в г. Иркутске бактериологической лаборатории.

Много сил и внимания уделял также П. Н. Шастин и «Обществу общедоступных курсов», которые представляли собой среднее учебное заведение, по типу вечерней школы для взрослых. На этих курсах учились многие служащие и рабочие, работавшие днем, среди которых было немало и политических ссыльных, лишенных возможности и других путей для учебы. Эти же курсы позволяли подготовиться и сдать экзамены на аттестат зрелости. Павел Николаевич сначала был на этих курсах лектором, затем членом правления, а потом и председателем Общества. Нередко приходилось ему ходатайствовать перед полицмейстером и губернатором о разрешениях или о так называемой «политической благонадежности» для обучающихся на курсах лиц, без которой сдавать экзамены на аттестат зрелости было невозможно. Эти хлопоты часто отнимали у Павла Николаевича много времени, работа в больнице поглощала весь день, а вечера были заняты общественной деятельностью в городской думе и на «Общедоступных курсах». Редкие часы мог он проводить дома, в семье. Подраставшие дети с восторгом встречали такие свободные вечера, в которые отец читал им вслух. Любимым чтением были рассказы Короленко, трагедии Шекспира и рассказы о животных Сэтона Томпсона, впервые появившиеся тогда на русском языке.

Война 1914 года застала доктора П. Н. Шастина в расцвете рабочих сил. По характеру своей работы он был освобожден от мобилизации. Но когда в городе формировался Иркутский госпиталь Красного Креста, Павел Николаевич принял предложение возглавить работу формируемого лечебного учреждения. Во главе этого госпиталя он уехал на фронт для оказания помощи раненым. Иркутский госпиталь Красного Креста работал в Варшаве, под Ригой, в Двинске, в Петрограде, где его и застала Февральская революция. В мае 1917 года общее собрание сотрудников Кузнецовской больницы единогласно избрало Павла Николаевича главным врачом и ходатайствовало об отозвании его с фронта. Вернувшись в Иркутск, Павел Николаевич с жаром принимается за восстановление хозяйства больницы. Период гражданской войны был сложным и весьма трудным для больницы. В 1922 году она оказалась без топлива и ее временно пришлось закрыть. Но долго такое положение не могло продолжаться, и больница, обслуживавшая огромную область, вновь начала свою работу.

Весной 1923 года в Иркутск, проездом в Москву, прибыла из Монголии правительственная делегация. Эта делегация задержалась на некоторое время в Восточном секретариате Коминтерна, находившемся в те годы в Иркутске. В составе делегации были старые пациенты Павла Николаевича, которые предложили ему поехать в Монголию для организации там лечебного дела. За два года до этого в Монголии произошла революция и в освобожденной от феодального

гнета стране началось строительство новой жизни. Лечебное дело в Монголии в те годы находилось в руках лам, европейской научной медицины не было, если не считать двух-трех фельдшеров, недостаточно грамотных и умелых, занимавшихся частной практикой. Между тем, стране была необходима организация народного здравоохранения.

Получив согласие доктора П. Н. Шастина поехать в Улан-Батор, монгольская делегация, прибыв в Новосибирск, просила Сибревком об откомандировании его в Монголию. Летом 1923 года доктор Павел Николаевич приехал в Улан-Батор на работу в Монгольской Народной Революционной Красной армии. Через полгода к нему переехала семья. Монгольский период в жизни доктора П. Н. Шастина растянулся на целых четырнадцать лет. Самоотверженная работа первого советского врача в МНР была высоко оценена монгольским правительством.

Большие и трудные задачи стояли перед советским врачом. Сразу же по приезде Павел Николаевич приступил к организации амбулаторного приема больных в помещении, еще недостаточно пригодном для этого. В Улан-Баторе в то время при армии была так называемая «ламская больница», помещавшаяся в двух маленьких деревянных, совершенно неприспособленных домиках. Осенью 1923 года в Улан-Баторе была эпидемия брюшного тифа, бороться с которой в подобных условиях было чрезвычайно трудно. Надо было срочно организовать больницу, в первую очередь военную, на что имелись соответствующие ассигнования.

Доктор П. Н. Шастин, переболев сам тифом, принялся приспосабливать под больницу два двухэтажных дома, построенных по русскому образцу. Весною 1924 года дома были готовы, но накануне перевода в них больных из жалких лачужек ламской больницы в одном из домов, где предполагалось разместить палаты и были расставлены кровати и все приготовлено для приема больных, ночью вспыхнул пожар. Здание подожгли ламы, не желавшие проникновения европейской медицины. Дом сгорел, но больных перевели в оставшийся целым другой дом, где и продолжалась дальнейшая работа Павла Николаевича. Прошло несколько лет прежде чем было организовано Министерство здравоохранения и выстроена в отличие от военной, «гражданская больница», в которой работали приглашенные из СССР врачи, но начало внедрению медицинского обслуживания было положено в военном госпитале трудами Павла Николаевича, к которому шли со всякими жалобами и члены монгольского правительства, и из далеких худонов бедняки араты. Самоотверженная работа Павла Николаевича породила среди монгольского населения немало легенд. Ему приписывалось оживление мертвых и другие легендарные подвиги. Много разговоров среди монголов вызвал следующий случай. На свалку за городом из одной юрты была вывезена тяжелобольная девушка, ставшая трудно переносимой в условиях войлочной юрты. Девушке сделали войлочный шалаш («обоху») и оставили умирать, потому что так «наворожил» лама. Проходивший мимо в темноте доктор Шастин услышал стоны, увидел больную и, позвав санитаров, перенес на носилках девушку в больницу. Через некоторое время больная была излечена от тяжелых гуммозных остеопериоститов костей голеней. Поправившись, девушка осталась в больнице сначала санитаркой, а затем медсестрой. Так, шаг за шагом европейская медицина завоевывала себе положение, а ламская отступала.

Популярность доктора Шастина среди монголов привела к тому, что для них в двадцатых и тридцатых годах понятие «доктор» и имя «Шастин» стали равнозначащими. Словом Шастин стали называть любого врача. За свою работу доктор Шастин был награжден орденом. Это был первый советский врач, получивший монгольский орден.

Когда Павлу Николаевичу исполнилось 60 лет, он прекратил большую хирургическую работу, но не желая оставлять ее совсем, перешел работать в поликлинику. Здание поликлиники помещалось в центре города, близко от его торговой части. Сюда собирались пациенты с раннего утра, желая попасть к своему популярному доктору. И никому отказа в помощи не бывало. Недаром впоследствии в книге «100 знатных людей Монгольской Народной Республики» был помещен портрет Павла Николаевича и его биография. До сих пор в монгольской стране о нем вспоминают с любовью и теплотой, хотя прошло уже больше двадцати лет с тех пор как он уехал оттуда.

Приехав в СССР в 1937 г., П. Н. Шастин принял предложение Министерства здравоохранения поехать врачом во Всесоюзный пионерский лагерь Артек. В этом знаменитом по всему Союзу оздоровительном пионерском лагере Павел Николаевич проработал до конца своих дней. Он занимал в нем различные врачебные должности, но любимым его делом был стационар, точнее небольшая детская больница, где постоянно было человек 15—20 больных. В Артек съезжают-

ся дети со всех концов Советского Союза, попадают при этом и больные с различными сложными заболеваниями, которые Павлу Николаевичу, как многоопытному клиницисту, приходилось разбирать, уточнять и лечить. Он постоянно поддерживал тесную связь с Крымским медицинским институтом и его клиниками для разбора сложных диагностических задач.

После освобождения Крыма от немецких захватчиков Павел Николаевич принял самое активное участие в восстановлении лагеря-санатория. Павел Николаевич с энтузиазмом вел эту работу, хотя трудностей было более чем достаточно, так как лагерное хозяйство было разрушено, не хватало многого, однако через короткое время лагерь открылся и принял партию отдыхающих детей.

Общественность и руководство лагеря высоко оценили труды старого доктора. ЦК комсомола, в ведении которого находился лагерь, неоднократно награждал доктора П. Н. Шастина почетными грамотами, а Министерство здравоохранения присвоило ему в 1947 г. почетное звание заслуженного врача РСФСР и назначило персональную пенсию. Но Павел Николаевич не оставил работы, долгая трудовая жизнь, неустанная борьба за здоровье порученных ему людей так глубоко вошла в его сознание, что он не мог оставить своего любимого дела. «Не могу представить себе жизни без врачебной работы», говорил он, хотя ему уже было больше 80 лет.

Смерть застала его, что называется «в строю». Приступ грудной жабы, начавшийся 25 февраля 1953 г., привел его к инфаркту миокарда, и Павел Николаевич скончался 28 февраля 1953 года. Он похоронен в Артеке.

Когда в Артек приезжают дети из далекой Монгольской Народной Республики, они торжественно возлагают венок на могилу доктора Шастина, имя которого до сих пор помнят благодарные пациенты—отцы и деды тех, кто ныне приезжает в знаменитый пионерский лагерь.

Письма и документы

ПИСЬМА Ф. В. ГЛАДКОВА

25—X—55

тов. Горбунову А.

Каждое произведение выливается в соответствующую своему содержанию форму. Строение, мелодика языка не может быть одной и той же в эпическом творении и в сатире. Язык Гоголя украинских повестей не похож на язык повестей петербургских.

Язык «Цемента» — язык пафосный, язык поэмы. Этого требовало содержание книги, полное борьбы и революционной романтики. Слова Клейста не относятся к языку литературы: это его отношение к характеру рабочих, понявших, что они — хозяева страны. Раньше они были покорны и робки, а теперь — дерзки и горды.

Язык обогащается в связи с ростом производительных сил и политических и общественных изменений, но революции в языке не бывает. Он несет в себе только характер переживаний (чувств, раздумий и т. д.) Поэтому «Цемент» был написан языком народа, т. е. с некоторой стилизацией, хотя потом вскоре эта стилизация была снята. Вы правы: это было время исканий (1922—28).

С Горьким знакомство было для меня мало значительным, а о языке мы с ним ни разу не говорили, за исключением известного письма, да и это письмо писано было в дни особенно безумной ералаши в области языка: все эти футуристы, имажинисты, ничевоки, символисты совершали шабаш на лысой горе литературы. Мы, реалисты, отброшены были в сторону и дурманились от пьяной яркой блевотины этих героев дня.

«Кузница» старалась быть хранительницей традиций классич. литературы. Все, что писалось и пишется об этой группе — невежественная чушь.

Взгляд мой на семью как был, так и остался неизменным — здоровым. Кажется, критика порола ерунду: Даша не уходила, не порывала с Глебом, дочку спасла от голода и беспризорности в детском доме, а не пожертвовала ею.

С приветом *Ф. Гладков.*

I-IV-55
Москва, В-17, Лаврушинский переулок, дом 17, кв. 45.

Тов. Шклярову В. Т.

Мне очень трудно ответить на ваше письмо: не зная конкретных вопросов, которые Вы хотите поставить перед собой в диссертации, не ведая тех мыслей, которые вдохновляют Вас, какие я могу дать Вам советы?

В процессе работы у Вас неизбежно возникнут эти конкретные вопросы. Вот тогда, если будете нуждаться в моей помощи, и напишите, как Вы решаете поставленные перед собой задачи и какие встречаются трудности.

Желаю успеха. *Федор Гладков.*

Москва, 20-V-56

Товарищу *Шклярову В. Т.*

Уважаемый тов. Шкляров, прошу извинить меня за очень краткие ответы на Ваши вопросы: — тяжко болен и лишен трудоспособности. По изуродованному почерку Вы можете судить о моей беспомощности. страдания мои усугубляются сознанием, что 4-й и последний том моей эпопеи не будет, очевидно, закончен.

Хотя я и не ученый лингвист, но могу (неразборчивое слово) сказать, что народные пословицы и поговорки я считаю фразеологическими средствами языка. Иначе и быть не может.

Ваша схема анализа фразеологизмов моих повестей верна.

Я знаю всякие сборники по фразеологии: пословицы, поговорки, присловья, присказки, но не пользовался ими. Я храню в памяти множество ярких, метких, мудрых присловий и афоризмов, которые отражены в повестях. Русский народ очень любил (а любит ли сейчас?) поиграть словами и складными приговорками. Отличались этой художественной чертой особенно волжане. Наши собиратели фольклорных богатств не шли дальше устойчивых и общеизвестных изречений. А между тем народ наш отличается удивительным разнообразием поэтической, творческой (и подчеркиваю) экспромтной речи. Я рос среди ярких самобытных талантов и наслаждался их словесной поэтической мудростью и шутейностью.

На 4-й пункт Вашего письма отвечу отрицательно. Это ясно из предыдущего.

Между прочим, признаюсь Вам, что очень боюсь языковедов, которые очумели от формального и часто бессмысленно лингвистического колдовства. Для меня язык— это ясная человеческая душа, это чудесное цветение человеческой мысли. — Извините, больше не могу. Желаю Вам больших успехов в работе. Не откажите прислать мне свой автореферат.

Федор Гладков.

ПРИМЕЧАНИЯ:

Горбунов Александр Георгиевич — преподаватель Иркутского университета, изучавший в 1955 году язык и стиль романа Ф. В. Гладкова «Цемент».

«Слова Клейста не относятся к языку литературы...» — Инженер Клейст — персонаж из романа «Цемент». Он враждебно относился к рабочим. «Они, — говорит Клест, — принесли с собой новый, непонятный язык», «научились бестолково кричать и ругаться».

«...за исключением известного письма». — Речь идет о письме А. М. Горького Ф. В. Гладкову от 23 августа 1925 года, в котором дается подробная оценка «Цементу» и содержатся указания на стилистические и языковые погрешности романа. См. М. Горький. Собр. соч., т. 29, стр. 438—440.

«...все эти футуристы, имажинисты, ничевоки, символисты...» — представители литературных группировок начала двадцатых годов. Группировки эти были антиреалистическими по своей направленности и идейно-эстетическим установкам.

«Кузница» — литературная организация пролетарских писателей двадцатых годов. Помимо Ф. В. Гладкова, в «Кузницу» входили прозаики Вл. Бахметьев, Феоктист Березовский, Александр Неверов, А. Новиков-Прибой, И. Жига, Н. Ляшко, поэты Н. Полетаев, В. Казин, Вл. Кириллов, М. Герасимов, С. Обрадович и др.

Глеб и Даша — герои романа «Цемент».

2. Шкляров Владимир Трофимович—преподаватель Иркутского университета: В 1955—1956 годах он работал над диссертацией по фразеологии (устойчивые словосочетания и обороты речи) в трилогии Ф. В. Гладкова «Повесть о детстве», «Вольница» и «Лихая година».

«На 4-й пункт Вашего письма отвечу отрицательно». — В. Т. Шкляров в своем письме спрашивал писателя: «В ряде исследований по фразеологии художественных произведений скрупулезно перечисляются все структурные и грамматические типы и только попутно делается несколько беглых замечаний о стилистической роли фразеологизмов. Правомерны ли такие исследования?».

В. Трушкин.

КРИТИКА и библиография

Г. Кунгуров

А. П. ЧЕХОВ В СИБИРИ

(К 100-летию со дня рождения А. П. Чехова)

Нам вспомнился солнечный летний день 1944 года.

На углу улицы К. Маркса и Фурье собрались писатели, журналисты, работницы слюдяной фабрики, общественные деятели, любители литературы, студенты, учащиеся.

— Что происходит? Митинг?

— Иркутяне чествуют писателя Чехова...

— Почему именно здесь?

У дома, где проходил этот памятный митинг, вернее во дворе дома, в конце прошлого столетия размещалось «Амурское подворье»— гостиница для приезжающих. А. П. Чехов, следуя на остров Сахалин, останавливался в Иркутске и неделю жил в «Амурском подворье».

По инициативе Иркутского отделения союза писателей и редакции газеты «Восточно-Сибирская правда» общественность включила этот дом в число исторических памятников города и учредила мемориальную доску с бронзовым барельефом А. П. Чехова. Оригинал мемориальной доски и барельефа был выполнен заслуженным деятелем искусств РСФСР скульптором И. Дубиновским; доска отлита из чугуна на заводе им. В. В. Куйбышева. Блестели на солнце выпуклые позолоченные буквы: «В этом доме с 4 по 11 июня 1890 г. жил великий русский писатель А. П. Чехов».

Поездка Чехова через Сибирь на о. Сахалин — во многом еще не изученная страница общественной и литературной деятельности писателя. Известно, что близкие и родные писателя считали такую поездку физически слишком утомительной и вредной для Антона Павловича с его слабым здоровьем. Но он проявил исключительную настойчивость, упорно и тщательно готовился в далекий путь.

Вначале это намерение писателя вызвало недоумение у реакционных кругов, а когда они убедились в его неотступном решении поехать, обрушились на него, и официальные лица ставили уйму преград. Чехову так и не удалось заручиться разрешением на право свободного посещения тюрем, каторжных мест и промыслов Сахалина. Он поехал в это рискованное и длинное путешествие только с корреспондентским удостоверением газеты «Новое время».

Цели своей поездки Чехов определил в прошении, посланном в канцелярию главного тюремного управления на имя Галкина-Враского. В личной беседе с Чеховым этот виднейший страж царского тюремного ведомства оказал писателю внимание и вежливый прием. Чехов поверил, что его просьба будет удовлетворена. В прошении говорилось: «Предполагая весной этого года отправиться с научною и литературною целью в Восточную Сибирь и желая, между прочим, посетить остров Сахалин, как среднюю часть его, так и южную, беру на себя смелость покорнейше просить Ваше превосходительство оказать мне возможное содействие к достижению мною названных целей...» Подлость и лицемерие царского сатрапа выяснились полностью лишь в наше время, когда были вскрыты секретные архивы. Еще не успел Чехов собраться в свое трудное путешествие, Галкин-Враский послал секретное предписание, в нем категорически запрещалось допускать встречи Чехова с определен-

ными категориями политических ссыльных и каторжников.

Ополчилась на Чехова и реакционная литературная критика. Реакционеры не хотели простить великому гуманисту и честнейшему русскому писателю его поездки на каторжный остров. Они страшились разоблачения гнусных злоупотреблений; на острове «кандалов и смертей» царил вопиющий административно-полицейский произвол.

Столпы реакционной литературной критики 80-х годов В. П. Буренин и А. А. Дьяков-Житель — псевдоним Л. П. Петерсона — вылили немало грязи на лучших писателей. Буренин с раздражением и злостью вещал, что русская литература якобы переживает период «средних талантов», что Успенские, Короленки, Чеховы и проч. начинают увядать, что «подобные средние таланты разучаются прямо смотреть на окружающую их жизнь и бегут куда глаза глядят: в Сибирь, за Сибирь — во Владивосток, на Сахалин...»

Чехов дал убийственную характеристику этому ревностному защитнику реакционных устоев: «Буренин — это избалованное, очень сытое животное, злое и желчное от зависти...» В другом письме Чехов, со свойственным ему едким юмором уничтожал реакционеров: «...Жителя и Буренина, которым прошу только кланяться и которых давно бы уж пора сослать на Сахалин» или: «...когда вспоминаю, как Житель и Буренин выливали свои желчные кислоты на эту интеллигенцию, мне делается немножко душно».

Поездка Чехова по Сибири на Сахалин бесспорно имела огромное политическое звучание. Это был своеобразный и резкий протест писателя против «существующего свинства», попрания гражданственности, административного произвола.

Сердечное беспокойство писателя-гуманиста за судьбу Родины, неудовлетворенность существующими порядками, где попиралось все прогрессивное и умное, заставляли его искать выход. Поездка на Сахалин — подвиг писателя, его вклад в общественную борьбу, вызов, брошенный царству зла и произвола. Когда его отговаривали от поездки, он горячо доказывал: «Сахалин, может быть, не нужен и неинтересен только для того общества, которое не ссылает на него тысячи людей... Я узнал многое такое, что следует знать всякому под страхом 40 плетей».

Тяжелое, полное лишений путешествие продолжалось два с половиной месяца; на лошадях и пароходом Чехов проехал почти двенадцать тысяч километров. Его не пугали никакие дорожные трудности, он и в пути неустанно работал. Его письма-зарисовки, посылаемые почти ежедневно, — многоцветные и сильные страницы в творческом наследии писателя. За время поездки Чехов написал более сорока писем, из них десять из Иркутска и Лиственичной.

До Иркутска путь был особенно утомителен, и письма окрашены в мрачные краски. Чехову не нравится Западная Сибирь с ее унылыми и дикими просторами. Но уже Енисей, дорога от Красноярска до Иркутска вдохновляют писателя, он удивлен и обрадован, восторженно описывает природу, людей. Первое письмо из Иркутска Чехов начинает многозначительной фразой:

«Конечно, неприятно жить в Сибири; но лучше быть в Сибири и чувствовать себя благородным человеком, чем жить в Петербурге и слыть за пьяницу и негодяя».

Среди всех городов Сибири Чехов похвально отзывается об Иркутске. «Иркутск — хороший город. Иркутск превосходный город. Совсем интеллигентный. Театр, музей, городской сад с музыкой, хорошие гостиницы... Нет уродливых заборов, нелепых вывесок и пустырей с надписью о том, что нельзя останавливаться. Есть трактир «Таганрог»... Пью великолепный чай, после которого чувствую приятное возбуждение. Видаю китайцев. Добродушный и неглупый народ. В сибирском банке мне выдали деньги тотчас же, приняли любезно, угощали папиросами и пригласили на дачу. Есть великолепная кондитерская, но все адски дорого. Тротуары деревянные. Вчера ночью совершил с офицерами экскурсию по городу... В Иркутске рессорные пролетки. Он лучше Екатеринбурга и Томска. Совсем Европа».

Это первое письмо Чехова из Иркутска, написанное по самым свежим восприятиям, передает наиболее подробное описание Иркутска. То, что Иркутск рисовался Чехову большим культурным центром Сибири, подтверждается стремлением именно здесь завязать связи, сосредоточить письма, телеграммы. Он, сообщая адрес, указывает «Амурское подворье», редакцию газеты «Восточное обозрение». Просит послать карту Забайкальской области бандеролью по адресу: Иркутск, ученику технического училища Иннокентию Алексеевичу Никитину.

Письмо со ст. Лиственичная написано под чарующим впечатлением красоты Байкала. «Ехали мы к Байкалу по берегу Ангары, которая берет начало из Байкала и впадает в Енисей. Зрите карту. Берега живописные. Горы и горы, на горах вплошную леса. Погода чудная, тихая, солнечная, теплая; я ехал и чувствовал почему-то, что я необыкновенно здоров;

мне было так хорошо, что и описать нельзя. Это, вероятно, после сиденья в Иркутске и оттого, что берег Ангары на Швейцарию похож. Что-то новое и оригинальное... Ехали по берегу, доехали до устья и повернули влево; тут уж берег Байкала, который в Сибири называется морем. Зеркало. Другого берега, конечно, не видно; 90 верст. Берега высокие, крутые, каменистые, лесистые; направо и налево видны мысы, которые вдаются в море вроде Аю-Дага или феодосийского Тохтебеля. Похоже на Крым. Станция Лиственичная расположена у самой воды и поразительно похожа на Ялту, будь дома белые, совсем была бы Ялта. Только на горах нет построек, так как горы слишком отвесны и строиться на них нельзя».

Нам, иркутянам, часто бывающим в прибайкальских местах, особенно рельефно встает картина, так красочно нарисованная Чеховым, а ведь он был здесь проездом. Рука художника-реалиста видна в каждой строчке; подкупает точность, сжатость, объемность его словесной живописи.

Хотелось бы упомянуть и об одной неточности, которую допустил Чехов, описывая сибиряков. В письме из Иркутска от 7 июня 1890 года он писал: «Сибирские барышни и женщины — это замороженные рыбы. Надо быть моржом или тюленем, чтобы разводить с ними шпаков». Эта запись в дальнейшей творческой работе послужила писателю фактическим материалом и для его очерков «По Сибири», где он дал такую характеристику сибирской женщине: «Женщина здесь так же скучна, как сибирская природа; она не колоритна, холодна, не умеет одеваться, не поет, не смеется, не миловидна и, как выразился один старожил в разговоре со мной: «жестка наощупь».

Сомнительное утверждение, полученное от какого-то сомнительного старожила, привело Чехова к ошибочным выводам: «Когда в Сибири со временем народятся свои собственные романисты и поэты, то в их романах и поэмах женщина не будет героинею; она не будет вдохновлять, возбуждать к высокой деятельности, идти «на край света...»

С такими выводами иркутская общественность не согласилась, и газета «Восточное обозрение» выступила с резким возражением, отстаивая честь и достоинства сибирской женщины. Реакционная печать, падкая на материал подобного рода, немедленно включилась в полемику. Газета «Гражданин», известная своими выпадами против прогрессивной мысли, шовинистической травлей «инородцев», высказала свое согласие с мнением Чехова. Для доказательства в «Гражданине» были напечатаны возмутительные, плоские и пошлые «Письма из Сибири» одного крупного чиновника, скрывшего свое имя под псевдонимом Amicus Veritatis. Неблаговидная деятельность этого чиновника в свое время подвергалась уничтожающей критике на страницах «Восточного обозрения». Вот этот-то «знаток» Сибири, воспользовавшись полемикой и стараясь уязвить «Восточное обозрение», поспешил опубликовать злобные и клеветнические домыслы о сибирской женщине. Он утверждал, что все женщины в Сибири днем и ночью жуют серку, а серка — «древесная смола в смеси с золой и конским навозом», или едят черемшу, отчего якобы к 20 годам остаются без зубов; не заботятся об изяществе фигуры, все от гимназисток до 80-летних старух стригут волосы, предпочитают гражданский брак церковному и т. п.

Нам не удалось установить, как реагировал Чехов на эту полемику, хотя в это время (март 1891 года) он уже вернулся из поездки на Сахалин. Ясно одно: допущенная им неточность довольно жестоко отомстила за себя. Это тем более огорчительно, что все, написанное Чеховым о Сибири, по общему тону, фактам и утверждениям автора, отличается добросовестностью и глубоким проникновением писателя в материал. Его восторженная характеристика сибирских крестьян подкупает верностью и разносторонностью наблюдений: «Народ здесь хороший, добрый и с прекрасными традициями. Комнаты у них убраны просто, но чисто, с претензией на роскошь, постели мягкие, все пуховики и большие подушки, полы выкрашены или устланы самодельными холщовыми коврами. Это объясняется, конечно, зажиточностью, тем, что семья имеет надел из 16 десятин чернозема и что на этом черноземе растет хорошая пшеница... Но не все можно объяснить зажиточностью и сытостью, нужно уделить кое-что и манере жить».

Имя Чехова в Сибири, в частности у нас в Иркутске, уже в то время знали, произведения его пользовались популярностью. Приезд в Иркутск вызвал отклики прессы. «Восточное обозрение» сообщило своим читателям: «На этой неделе приехал в Иркутск и пробыл здесь несколько дней А. П. Чехов, молодой русский беллетрист, известный городской публике как автор остроумных водевилей и драмы «Иванов», дававшихся в минувшем сезоне на сцене городского театра. А. П. Чехов отправляется на Сахалин, куда он послан в качестве наблюдателя жизни и нравов редакцией одной большой петербургской газеты».

Нам удалось по данным отчета Томской городской публичной библиотеки установить,

что за первые 14 месяцев ее существования (1899—1900 гг.) из отдела изящной литературы было выдано 11 168 книг. Наибольшей популярностью пользовались писатели: Чехов — 441 требование, Л. Толстой — 294, Мамин-Сибиряк — 262, Салтыков-Щедрин — 201, Тургенев — 179, Достоевский — 172 и т. д.

Иркутская газета «Восточное обозрение» уделяла немало внимания Чехову, как оригинальному и большому русскому писателю. Нами просмотрено восемь литературно-критических обозрений и рецензий, опубликованных в этой газете с 1896 по 1904 год. Выделяется монографическая статья «Антон Павлович Чехов» (очерк творчества) видного прогрессивного деятеля, политического ссыльного И. И. Попова, одного из редакторов «Восточного обозрения». Его перу принадлежат обширные и увлекательные воспоминания «Минувшее и пережитое». Большое общественное звучание получили принципиально интересные, полемические заметки читателя «Об Овсянико-Куликовском и А. Чехове», печатание которых растянулось на три номера газеты. В поле обозрения критиков и рецензентов попали такие произведения Чехова: «Дом с мезонином», «В овраге», «Вишневый сад», «Степь» и др. Эти материалы — особая и важная тема, которая ждет своих исследователей.

В результате научной и литературной работы по материалам поездки на Сахалин через Сибирь Чехову удалось создать исследование «Остров Сахалин» — выдающуюся, политически своевременную книгу о ссылке и каторге, сыгравшую немаловажную общественно-критическую роль. Кроме того, Чехов написал цикл очерков «По Сибири», рассказы «В ссылке», «Гусев» и серию писем.

К письмам Чехов относился как к важному и неотложному творческому труду. Для него письма были и литературными заготовками и поисками новых стилевых и жанровых приемов художественного мастерства. Он часто напоминал своим адресатам: «письма и газеты храните, по приезде по ним, как «по нотам», можно писать фельетоны, очерки, рассказы». Письма Чехова нельзя смешать с письмами других писателей, столь они своеобразны, по-чеховски оригинальны, емки и увлекательны. Письма из Сибири и, в частности, из Иркутска ценны и как разнообразный познавательный материал. В письмах сказался неиссякаемый талант Чехова с его сверкающими красками юмора, трогательной задушевностью, солнечным оптимизмом. Это письма-зарисовки с натуры, письма-фельетоны, письма-диалоги, письма-путевые очерки, письма-пародии — бесконечное разнообразие и блеск.

Язык и стиль произведений Чехова на сибирские темы относятся к той чеховской манере письма, которая характерна экономностью, образной живописью, точностью и правильностью. Казалось, описывая Сибирь, ее колоритные пейзажи, своеобразие нравов, быта и культуры ее обитателей, писатель неизбежно насытит речь сибиризмами, словами, типичными для языка каторги и ссылки, языка коренных жителей Сибири. Чехов строго соблюдает чувство художественной меры, не засоряет язык сибиризмами. В авторской речи он вообще избегает их, а в речи персонажей вводит с большим тактом и осторожностью. Примером может служить рассказ «В ссылке»; самобытность речи осевшего в Сибири навсегда Семена Толкового усиливается введением типичного для сибиряков ругательства, ставшего поговоркой, присказкой: «язви твою душу», «язви их душу», «язви его душу» да нескольких словооборотов сибирского наречия: «зачну ходить», «биться о доски и выть» (плакать), «ты, известно, семикаторжный», «возьму обломок оглобли, да обломком тебя, язвина!»

В очерках «По Сибири» мы опять встречаемся с теми же стилевыми приемами Чехова; он избегает сибиризмы, нигде не вводит их без особой надобности; его вновь поражает, как он пишет, «самая мягкая безобидная брань у гребцов, это — «чтоб тебя уязвило», «язвина тебе в рот!» Чехов недоумевал: «Какая здесь желается язва, я не понял, хотя и расспрашивал».

Уместно вспомнить тонкое наблюдение над наречием сибиряков, которое сделал Л. Толстой, оно совпадает с наблюдением Чехова. В романе «Воскресение» Л. Толстой писал: «Звонко болтая на своем особенном сибирском наречии, шагали они через порог калитки. Одна же, очевидно обрадовавшись встрече с широкоплечим малым, тотчас же ласкательно обругала его сибирским ругательством.

— Ты, леший, чего тут, язви-те, делаешь? — обратилась она к нему».

Любопытны и другие наблюдения Чехова над сибирским наречием. «Здесь клопы и тараканы не ползают, а ходят; путешественники не едут, а бегут. Спрашивают: «куда, ваше благородие, бежите?» Это значит, «куда едешь?» Или: «Выводит нас на длинную, узкую полосу, которую называет «хребтом», мы должны ехать по этому хребту, а когда он кончится, взять влево, потом вправо и въехать на другой хребет...» Или: «— Давай, ваше благородие, реветь».

Кричать от боли, плакать, звать на помощь, вообще звать — здесь значит реветь, и

потому в Сибири ревут не только медведи, но и воробьи и мыши. «Попалась кошке и ревет», — говорят про мышь.

Чехова привлекала Сибирь многими ее сторонами, и он высоко ценил произведения на сибирские темы писателей-современников. Известно его мнение о романе Л. Толстого «Воскресение», как о замечательном произведении, где «самое неинтересное — это все, что говорится об отношениях Нехлюдова к Катюше, и самое интересное — князья, генералы, тетушки, мужики, арестанты, смотрители». Говоря о Короленко, Чехов подчеркивает: «Ваш «Соколинец», мне кажется, самое выдающееся произведение последнего времени». Чехов был близко знаком с писателем-сибиряком В. М. Михеевым, автором романа «Золотые россыпи», сборника стихов «Песни о Сибири», пьес «По хорошей веревочке» (комедия из народного сибирского быта), «Тайга» (драма в 4 действиях) и рассказа «Художник в тайге». В. М. Михеев хорошо знал Сибирь, нравы, быт и условия жизни ее обитателей, он постоянно сотрудничал в иркутской газете «Восточное обозрение» и мог помочь Чехову фактическим материалом.

Запечатлев в своих письмах, очерках и рассказах заброшенность далекого сибирского края, бесправное положение его трудового люда, Чехов верил в солнечное завтра и предсказывал великое будущее Сибири. Восхищаясь сибирскими просторами, оглядывая с берега Енисея бескрайние дали, он мечтал: «Я стоял и думал: какая полная, умная и смелая жизнь осветит со временем эти берега». Мечты его сбылись. Сибирь стала социалистической, краем крупной индустрии и электричества, богатых колхозных полей и высокой культуры. Произведения Чехова — достояние советского народа, их с любовью читают в каждом уголке Сибири, они переведены на языки коренных сибирских народностей — бурятский, якутский, хакасский; на языки народностей Севера, не имевших до революции своей письменности — эвенкийский, ненецкий, нымылланский, удэгейский, нанайский и др.

В. Трушкин

КОГДА ПОБЕЖДАЕТ ЖИЗНЬ...

Писатель-иркутянин Лев Кукуев назвал свой первый роман из эпохи Отечественной войны «Живые и мертвые». Случайно ли такое явно символическое название? Думается, что оно родилось из давних раздумий автора над сложными вопросами жизни, над природой и характером самой кровопролитной в истории войны. Если угодно, в этом названии по-своему преломились большая правда нашего бытия, самого строя мыслей и чувствований, философия нашей эпохи. Ведь в романе речь идет не просто о тех, кто шел по тернистым дорогам войны — живых и погибших.

Помимо этого прямого звучания, в книге есть и другой подтекст, который можно было бы сформулировать следующим образом: борьба советского народа с фашизмом — это битва жизни со смертью, разума с безумием, света с тьмой и мракобесием, жестокая схватка человека против зверя. Мертвецами же в невиданном по масштабам и напряжению сражении оказались в конечном счете не павшие бойцы, все те незлобивые русские люди с открытой душой и щедрым сердцем — от рядового солдата до генерала, — а спесивые фашистские «сверхчеловеки» со взглядом убийцы и навыками палача.

Право же, нет ничего удивительного именно в таком философском осмыслении войны советским литератором. Оно подготовлено нашим миропониманием, богатым опытом, накопленным советской литературой в изображении титанической борьбы с фашизмом — от обжигающей публицистики военных лет до больших и малых эпических полотен недавнего прошлого и современности — от повестей и романов В. Некрасова и М. Буденного, М. Шолохова и А. Толстого до В. Гроссмана и Э. Казакевича, П. Вершигоры и Д. Медведева, К. Симонова и Г. Бакланова.

С разной силой и степенью таланта, на различном жизненном материале наши художники слова утверждают эту непреложную истину середины двадцатого века. Именно отсюда идет особая эмоциональная и идейная окрашенность произведений советских литераторов о второй мировой войне. Позиция их существенно разнится от взглядов буржуазных авторов, пишущих на ту же тему. Даже наиболее честные и талантливые из них не способны выйти из круга неразрешимых, с их точки зрения, трагических противоречий. Чрезвычайно показательна в данном случае судьба героев Ремарка и философия их автора. Страстно ненавидя фашизм, этот большой художник способен противопоставить ему только одинокую личность, лишенную прочных связей с окружающим его миром, личность, затерявшуюся, точно песчинка, в безбрежном людском океане, неотвратимо катящуюся навстречу своей собственной гибели. Привкусом горечи и скепсиса проникнуты его романы и пьесы о второй мировой войне — «Последняя остановка», «Триумфальная арка», «Время жить и время умирать».

В последнее время у нас много говорят и спорят о так называемом ремаркизме в решении темы войны или, пожалуй, скорее человека на войне. Нам кажется, что все эти споры основаны на недоразумении. Дело в том, что исходные философско-эстетические позиции советских художников и Ремарка в чем-то существенном различны. Разумеется, в произведениях наших писателей немало трагических ситуаций; умеют они и «по-ремарковски» по-

давать будни и частности войны, за которыми чувствуется какой-то свой глубокий смысл, своего рода значительное символическое обобщение, скрытое подчас за подчеркнуто-обыденной деталью, и все же в основе их произведений лежат и иной взгляд на вещи, и другие социально-философские мотивы в поведении героев и, наконец, в принципе иное идейно-тематическое осмысление событий большого исторического значения. Какую бы книгу советского писателя о войне, с каким бы трагическим звучанием вы ни взяли, вы не найдете там той щемящей горечи, которая отличает книги Ремарка. Советский литератор всегда сохраняет чувство перспективы, реального выхода из сложнейших противоречий жизни. Поэтому и трагедийное начало в их произведениях не оборачивается столь трагической безысходностью, как у Ремарка, да и других зарубежных литераторов наших дней, далеких от эстетических принципов метода социалистического реализма. Этого качественного своеобразия нашей художественной военной прозы нельзя не учитывать.

Роман Льва Кукуева продолжает, по существу, определенные, твердо сложившиеся традиции в отечественной литературе. Более того, он даже слишком традиционен в этом отношении. Спустя четырнадцать лет после войны многое изменилось в мире, изменились и мы сами и наши привычные представления и взгляды на вещи. Об этой войне мы сейчас и больше знаем, да и лучше ее понимаем. В данном случае дистанция времени дает несколько иную перспективу, чем та, которая была, скажем, у Михаила Бубенного, когда он писал свою «Белую березу». Не случайно последние книги об Отечественной войне, будь то «Пядь земли» Г. Бакланова или же новый роман К. Симонова, кстати, с тем же названием, что и у Льва Кукуева, — вносят существенные коррективы в освещение традиционной темы.

Эти поправки времени почти не коснулись книги Л. Кукуева. В ее теперешнем виде она могла быть написанной и пять и десять лет назад. Единственное, что сделано в данном случае автором, так это снято всякое упоминание о Сталине, как будто его и вовсе не существовало. Создается странное впечатление. В произведении десятки раз упоминается Гитлер, критикуются союзники, а о человеке, в которого советские люди безгранично в то время верили и умирали с его именем на устах — ни слова. Здесь явное нарушение исторической правды, Очевидно, автору так и не удалось найти тот фокус, в котором преломились бы наши современные знания и представления об истории и непосредственно подлинная историческая действительность.

Лев Кукуев идет в своем романе прежде всего от личных воспоминаний и ощущений войны. Сам он в начале 1942 года окончил военно-инженерное училище и пробыл на фронте до конца войны, дойдя до Берлина. Вот этот личный опыт молодого командира саперов и был положен в основу книги. Он же определил и атмосферу, царящую в романе. Так уж издревле повелось: «бойцы вспоминают минувшие дни».

Вот этими-то очень живыми и непосредственными впечатлениями бойца и обусловлены сильные и слабые стороны первого крупного произведения начинающего писателя. Л. Кукуев весь во власти потока ощущений и восприятий. Но ведь, как известно, поток вбирает в себя и несет все, что ни попадает на его пути. В какой-то мере этот поток захлестнул и автора «Живых и мертвых». Художнику в нем все время приходится с трудом пробиваться сквозь массу случайных и вовсе необязательных в произведении искусства обыденных и бытовых мелочей, сцен, разговоров. Солдаты едят кашу, которую они изрядно пересолили, делятся табачком, завертывают в палец толщины самокрутки. Вообще следует заметить, что писатель знает и умеет рисовать быт войны, ее прозаическую повседневность. Солдатские разговоры и анекдоты, шутки и споры, подслушанные автором, оставляют впечатление правды живой жизни. Но эта правда особого рода. Эмпирически воспринимаемая писателем она нет-нет да подрезает крылья художнику. Л. Кукуеву иногда изменяет чувство меры в подаче подобного материала. Он подчас забывает о строгом принципе художественного отбора. А это обстоятельство ведет в свою очередь к замедленности повествования, к утрате в ряде случаев сюжетной занимательности. Если с этой точки зрения сопоставить «Живых и мертвых» с романом о войне другого начинающего иркутского писателя Вл. Козловского «Верность», то сравнение окажется не в пользу Л. Кукуева. Однако уступая в стремительном развертывании событий роману «Верность», произведение Л. Кукуева несравненно строже и ярче по языку и изобразительным краскам.

В центре своего повествования он поставил судьбы небольшого отряда саперов. События в романе укладываются в рамки неполного 1942 года. Действие в нем начинается ранней весной и завершается тревожными днями наступающей осени, когда у стен Сталинграда решались судьба Родины и исход войны.

Двое необстрелянных юнцов, Олег Курганов и Александр Попов, только что прибыли на фронт. Новая армейская обстановка, новые встречи с солдатами и командирами, первый выход на боевое задание — так начинается этот роман. Здесь действуют десятки персонажей — рядовые бойцы и командиры, врачи и медицинские сестры, немецкие солдаты и офицеры.

Не все из действующих героев книги в равной мере удались автору. Иные из них только названы по имени. Погибает, скажем, в разведке радист, или подрывается на мине сапер, но что это за люди, какие у них характеры, так и остается неизвестным читателю. Можно было бы указать и на другие фигуры статистов в произведении Кукуева. Дело, конечно, не в них. Основные же персонажи несомненно удались автору. Читатель запомнит и честолюбивого Сашу Попова, незаслуженно обиженного и погибшего геройской смертью, солдата Хаво, на долю которого выпала нелегкая жизненная дорога, обычно молчаливого сапера Романова с его затаенной тоской по своим «лягушатам», оставленным где-то в глубине России; ведь там, на Урале, живет его семья, милые его сердцу вихрастые Катька и Машка. Безусловно хорош и правдив образ командира Налетова, не очень чистоплотного человека, бабника и властолюбца. Прощание наказанного Налетова со своим любимцем — боевым конем — одно из ярких мест в романе.

Многогранно выписан и образ главного героя книги лейтенанта Олега Курганова. Юношеской свежестью и поэзией согреты страницы, посвященные любви Олега и Нади. Писатель находит нужные краски, чтобы рельефнее и выпуклее показать характер своего героя. Вот Курганов на очередном привале расположился на ночлег в одном помещении с солдатами. Ему не до сна. Закрыв глаза, чтобы не спугнуть беседы, он внимательно прислушивался к медлительному разговору своих бойцов, разговору, в котором естественно и непринужденно раскрывается душа солдата, самое заветное в ней. В другой раз тот же Курганов, только что выбравшись из жаркого пекла, раненый, под грохот канонады, от которой сотрясается весь блиндаж, играет на скрипке Чайковского и Бетховена.

По-настоящему удались Кукуеву сцены разведки в тылу врага. Их нельзя читать без волнения. Это, пожалуй, лучшие места книги.

Как художника его отличает острая наблюдательность, пристрастие к выразительной художественной детали. На небольшой станции, забитой воинскими эшелонами, техникой и людьми, идет жаркий бой. Немецкие самолеты безостановочно бомбят и «прочесывают» станцию. И вдруг как будто совсем неожиданная и случайная подробность. На заросшей травой и словно вымершей улице с разобранными заборами появляется подстреленная собака. «Навстречу взводу, волоча задние лапы, от канавы ползет лохматый пес. Он взвизгивает и тычется носом в траву. За ним остается желтовато-красный след. В больших глазах собаки — страдание. Даже — слезинки! Курганов не может смотреть, отворачивается. Кто-то выходит из строя, снимает автомат и короткой очередью добивает собаку под гробовое молчание идущих». Подобные сцены впечатляют лучше пространных описаний. А вот деталь, рисующая обостренную восприимчивость к окружающему человека, попавшего в разведку: «Раньше Олег и не догадывался, что листья дуба издают тихий звук, похожий на стук, листья липы жалобно звенят, а листья клена при тихом ветре чуть шепчутся».

Автор «Живых и мертвых» знает и точно умеет передать читателю, как «дорог последний сухарь, как бесценна последняя обойма патронов, если их надо поделить на пять человек». Он может рассказать о том, как «молодые рощицы, поверженные, истерзанные и исщепленные ураганом металла и огня, всегда вызывают мучительную боль на душе». Это у него раненой и обессилевшей девушке кажется, что «звезды на небе дрожали, рассыпая лучики гаснущих искр». А вскоре та же героиня сделает еще одно для себя немаловажное «открытие»: «И в эти минуты Наде показалось странным, что раненый враг мог стонать так же, как стонут и русские люди, изуродованные войной».

Это очень точная психологическая деталь. Надя не раз видела жестокость врага. На ее глазах немецкие летчики хладнокровно раз за разом бомбили медсанбат. Казалось бы, в этих существах уже не осталось ничего человеческого. И вдруг, оказывается, они способны чувствовать боль и стонать, как и все люди.

В романе Кукуева можно найти немало таких добротных художественных находок. Писатель умеет передать напряжение во время боя, психологическое состояние человека в момент атаки и в последние минуты перед ней, когда на какое-то мгновение в траншеях «наступает жуткая тишина» и только слышно, как «где-то пискнул чудом уцелевший бестолковый мышонок». Эти сцены убеждают, в них веришь.

Настойчиво, через все повествование проходит в романе основной идейный мотив — противопоставление двух борющихся лагерей,

жизни и смерти, деяний живых и мертвых. Десятки страниц отведены в книге образам немецких солдат и офицеров, психологии и философии фашизма. Система сыска, душевная опустошенность и садистская жестокость, уживающаяся бок о бок с сентиментальностью, отличают этих живых мертвецов. Наиболее умные и порядочные из них постепенно начинают сами приходить к такому безрадостному заключению. Этот мотив смерти и плена навязчиво звучит в душе своеобразного антипода Курганова, типичного носителя фашистской идеологии офицера Курта Мюллера. В произведении Кукуева есть такая символическая картина. Спасаясь от преследования русских, Мюллер с горсточкой своих солдат неожиданно попадает на огромное немецкое кладбище, залитое призрачным лунным светом. «Он смотрел на этот страшный искусственный березовый лес, кресты с касками — и вдруг ему снова вспомнились слова Бушке: «Мы — мертвые!»

«Но черт возьми! Неужели он прав? Неужели не только вот эти, чьи каски насажены на кресты, а все — и Мауз, и я, и Фрицман, и генерал Морф, и... вообще... как он сказал...» И Мюллеру показалось, что каски, сотни касок, тихонько покачиваются, утвердительно кивая в ответ на его мысли».

Сея смерть вокруг, эти люди сами давно уже умерли. И все же жизнь сильнее смерти. Простые русские люди, одетые в солдатские шинели, рискуя каждую минуту погибнуть от пули врага, мечтают о полетах на Марс, думают о том, как бы было хорошо продлить жизнь человека на сотни лет. И даже там, где, кажется, не осталось ничего живого и только чернеют полуразрушенные печи да горки прибитого дождями пепла и золы, теплится всепобеждающая жизнь — на пепелище играют щенята. «Пригревшись на солнце, они барахтались, становились на задние лапы, катались по земле, трепали друг друга за шеи». «Выгорела, — говорит автор, — деревня дотла, ушли куда-то люди. Но животное, оставшись со щенятами, словно утверждало, что жизнь продолжается даже здесь и хозяева так или иначе, но вернутся к этому месту!» Так роман о войне перерастает в утверждение торжества жизни и всего живого над гибелью и разрушением.

Нам представляется такое противопоставление носителей жизни и смерти логически и исторически вполне оправданным и закономерным. Единственно, в чем можно упрекнуть здесь автора, так это в «переигрывании». Слишком уж он порой, как говорится, хватает через край. Словно не доверяя читателю, боясь, что он не все как следует поймет, писатель начинает назойливо обыгрывать эту контрастность в расположении света и теней на своем полотне. Иногда такая повторяемость оборачивается плакатом.

Подчеркнуть все фразы в тексте, значит, ничего не подчеркнуть. В такое положение иногда попадает автор романа, постоянно ставя своих героев — немцев и русских — в сходные положения, но заставляя их всегда и во всем обязательно поступать по-разному. С одной стороны — неизменные зверство и низость, с другой — великодушие и нравственная красота и величие. Тяжело контуженная русская девушка, превозмогая мучительную боль, поминутно теряя сознание, спасает жизнь тяжело раненному немцу. Фашисты же в это время убивают сотнями детишек, используя их кровь для своих раненых. Русский офицер вдохновенно исполняет, считая его своим, Бетховена, а его немецкий коллега—тоже музыкант—передает в руки гестапо своего товарища по оружию, спасшего ему жизнь. И так на протяжении почти всей книги. Особенно излишне назойливо это подчеркнуто при обрисовке характера и поступков Курта Мюллера. Первая встреча его с Кургановым, исполняющим на скрипке произведения немецкого композитора, действительно эффектна в прямом и хорошем значении этого слова. Но вся беда в том, что автору этого показалось мало, и он заставляет своих героев делать перед Мюллером «откровения» насчет немецких музыкантов и других своих героев. Да и сам Курт Мюллер неправдоподобно часто возвращается все к тем же замечаниям и мыслям о немецкой музыкальной культуре, которые ему довелось услышать от русского офицера и русской девушки.

Мы уже указывали и на другой недостаток интересного произведения Льва Кукуева — замедленность действия. А между тем, чтобы книга не отпугнула читателя, необходимо так отрабатывать сюжет, когда каждая деталь в нем, любой эпизод и любая глава были бы обязательными, неукоснительно двигали бы повествование вперед.

Есть в романе «Живые и мертвые» и другие погрешности уже частного порядка. Местами встречаются стилистические неотработанные фразы, а иногда и фактические неточности. Один из вожаков украинских националистов Степан Бандера, почему-то стал Бендером. Немецкий глагол «бреннен», что значит по-русски жечь, сгорать, переведен словом «гнать». Но это мелочи. Важно основное — писателю удалось создать правдивое произведение о Великой Отечественной войне, о рядо-

вых участниках этой тяжелой страды, хранивших в своих походных повозках еще в 1942 году впрок заготовленные указатели с лаконической надписью: «Дорога на Берлин».

Те же недостатки, о которых говорилось здесь, вызваны скорее всего литературной неопытностью Будем надеяться, что в обещанной писателем второй книге их будет меньше. Порукой тому служит несомненный талант автора, умеющего быть художником, создавать живые характеры и картины. Можно смело сказать, что в литературу уверенно идет новый писатель.

А. Абрамович

ПОДВИГ РУССКИХ ЗЕМЛЕПРОХОДЦЕВ

Книги проверяются временем. Хорошая книга остается товарищем и другом человеку, и, возвращаясь к ней, он вновь и вновь испытывает чувства, обогащающие душу. Вышедшая четвертым изданием в этом году историческая повесть Г. Кунгурова «Путешествие в Китай», переработанная, дополненная и получившая новое название «Албазинская крепость»[1], выдержала испытание временем. Без нее наши представления о прошлом Сибири и Дальнего Востока были бы неполными. Отсюда — познавательная значимость повести. Без нее нам трудно было бы зримо и непосредственно представить себе образы великих русских героев-землепроходцев, осваивавших новые земли. Отсюда — эстетическое значение повести.

Девизом, раскрывающим главную идею повести, может быть избран монолог одного из героев — грека Спафария, ставшего крупным государственным деятелем России:

«— Какова Русь!.. Стоит вечно. Степки да Ивашки, Николки да Прошки, всех и не счесть — множество, подпирают своими могутными плечами Русь-матушку. Это они, богатыри-лапотники, сдвигают горы и прудят реки; землю лелея, хлеб сытный родят. Это они поднимаются в небеса синие и золотят маковки храмов; строят хоромы царские да боярские, лабазы да лавки торговые; рубят дерево, куют железо, варят соль, копают золото; ходят по морям кипучим, по рекам рыбным; возводят города. А когда случится напасть, сунется на Русь иноземец, хватают рогатины, самопалы да вперед грудью крушить, ломать врага, чтоб неповадно было и впредь».

В прежних изданиях название книги сосредоточивало внимание читателей на очень важной, но все же не главной сюжетной линии, связанной с путешествием того же Спафария в Китай, с его попытками упорядочить отношения двух великих государств, позже успешно завершенными послом Федором Головиным. Теперь новое название подчеркивает значение главного сюжета: борьбу лучших, наиболее предприимчивых представителей русского народа, осваивавших в интересах своего государства мирным и воинским трудом необъятные земли Сибири и Дальнего Востока.

Действие повести развертывается в XVII веке. Мы слышим в ней отзвуки знаменитого похода Ермака с его дружиной, положившего в эпоху Ивана Грозного начало продвижению Руси на север и восток. Главный герой произведения Г. Кунгурова Ярофей Сабуров изображен как продолжатель дела Ермака, который не только идет по проторенным тропам, но и пролагает новые пути: от Сибири, Забайкалья — к Дальнему Востоку.

Перед нами развертывается напряженное повествование о сабуровской дружине, которая, пробираясь по диким нехоженым местам, вступая в сражения с врагами, выходит к Амуру и ставит Албазинскую крепость. Поскольку царская власть в свое время не закрепила достижения Ермака, землепроходцам приходится ценой мучительного ратного труда утверждать право Руси на восточные земли. И можно лишь поражаться тому, как буквально горстка храбрецов выдерживает натиск дауров, мунгалов и, больше всего, маньчжуров,

---

[1] Г. Кунгуров. Албазинская крепость. Историческая повесть. Издательство ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия», Москва, 1959, стр. 248.

одновременно обороняясь и против русского нерчинского воеводы, который, не понимая смысла деятельности отряда Ярофея Сабурова, не только не оказывает ему помощи, но и пытается его уничтожить.

Не с мечом, не для истребления малых народов, населяющих Сибирь и Дальний Восток, пришли сюда и прочно закрепились русские землепроходцы. Не однажды писатель прибегает к символическим картинам, рисующим их мирные, созидательные стремления. Еще только знакомятся казаки с новыми землями, еще не построены крепости и острожки, а мечта о труде пахаря уже захватила всех: «Казаки дивились богатству Амура. Пашенные места, нехоженые луга и рощи манили и разжигали казачьи сердца пуще государева горячего вина. Многие казаки, спрыгнув с кораблей, шли берегом, хватали пригоршнями тяжелые черноземные комья, наперебой хвалили: «Гибнет зазря божья благодать!», «Зажирела землица!».

И эта искони русская черта, эта жажда к труду убедительнее всего подчеркивает право Руси на превращение дикого края в «жилое место». Мы отсылаем читателя к тем главам повести, где автор лирично, взволнованно рассказывает о том, как по зернышку собирали казаки овес и ячмень для посева, как серебрились, поспевая к жатве, полоски отвоеванной у степей и тайги земли, как маньчжуры выжигали посевы и как вновь и вновь появлялись они вокруг поселений, все более расширявшихся за стенами Албазинской крепости.

Мы увидим далее, как неповоротлива была царская власть, как беспомощно использовала она героические завоевания народных смельчаков. И все же она вынуждена была принимать какие-то меры к закреплению добытых ими земель. Так в повести развивается вторая сюжетная линия, сливаясь с главной. Мы имеем в виду дипломатическую миссию грека Спафария в Китай.

Образ Спафария создан писателем верно. Используя исторические документы, ссылаясь на ученые труды умного грека, Г. Кунгуров показал нам человека, который лучше царей Алексея Михайловича, Федора и бояр понимал интересы Руси, и по существу беззащитный перед лицом богдыхана сумел поддержать честь и достоинство русского государства. Эпизоды, где даны столкновения Спафария с маньчжурами, описание его путешествия, — все это сочетает историческую правдивость прошлого с той подлинной увлекательностью, которая вызывает самый живой интерес к книге.

Об этой исторической правдивости, о воспроизведении жизни давних времен во всей сложности нам и хотелось бы поговорить подробнее.

Писатель, использующий метод социалистического реализма для изображения прошлого, не может ни прикрашивать, ни приумалять историю. И хотя чем дальше идет он в глубь веков, тем труднее ему увидеть всю правду действительности, он, используя достижения современной исторической науки, обязан понять все, как было, и одновременно увидеть перспективу будущего.

Г. Кунгуров раскрывает процесс развития и укрепления русского государства в реальных, жизненных противоречиях, преодоление которых позволяет нам глубже понять значение победы нового над старым, главного — над побочным.

Особенно доказательно предстают противоречия в политике правящей верхушки русского государства — царей Алексея Михайловича, наследовавшего ему Федора и окружающего их боярства. Разумеется, они не против усиления Руси и освоения дальних северных и восточных земель Но ограниченность и самодурство, чванливость феодальных правителей — причина того, что лишь ценой больших усилий и больших жертв наше государство прочно встало на рубежах Сибири, Забайкалья и Дальнего Востока. Достаточно вспомнить все муки и лишения Спафария, совершившего свое героическое путешествие к китайскому богдыхану и попавшего в немилость при дворе царя Федора. Не менее разительны и эпизоды сражений маленького отряда Ярофея Сабурова против маньчжур, сражений, ни разу не поддержанных силой царского войска. Воспользовавшись блестящими результатами усилий русских землепроходцев, цари и бояре ничего не предприняли для того, чтобы помочь им. Больше того, две грамоты, посланные нерчинскому воеводе, одна из которых несла в себе смертный приговор Ярофею и его ближайшим соратникам, а другая — помилование, лучше всего характеризуют колебания, элементы случайности в поступках русских верховных правителей.

Иные, вполне естественные и оправданные противоречия проявляются в мыслях и поступках народных героев, построивших и защищавших Албазинскую крепость — символ подвигов русских землепроходцев на востоке.

Писатель удержался от соблазна нарочито идеализировать образ народного вожака Ярофея Сабурова и его соратников. Ярофей вначале ищет новые земли, бесстрашно про-

бирается по дикой тайге, голым степям и бурным рекам не потому, что озабочен интересами государства в целом и носит в своей груди ясно осознанную патриотическую идею освоения сибирского края. Нет, его биография типична для сотен и тысяч обездоленных: «Гнала народишко в землю Сибирскую царская да боярская злая рука: солоно жилось холопскому люду, худо. Растекался он по лесам, бежал в дали безвестные, счастье пытал свое, долю искал». И пастушок Ярошка, затравленный в городе Устюге купчиной Ревякиным и его гостями, поджег владения хозяина и отправился в дальние суровые края искать своего счастья.

Но есть в нем мужество, смелость и пытливый дух, есть неугасимое стремление повидать новые земли, и в этих поисках нового рождается и крепнет воинский талант Сабурова, его талант организатора людей; появляются и мысли о назначении своей дружины, которая не только строит острожки и крепости, пашет землю и выращивает хлеб, отражает удары мунгалов, дауров и маньчжуров, но и тем самым сторожит русскую землю, приумножает ее владения и ее силу.

Это патриотическое сознание, которое в той или иной степени свойственно и участникам строительства и защиты Албазинской крепости, потому и проявлялось противоречиво, что оно вступало в конфликт с угнетателями, переплеталось с чувством ненависти против тех, от кого они бежали на окраину русской земли.

В повести есть два эпизода, противоположных по своему смыслу и значению не потому, что писатель чего-то не доглядел, не свел концы с концами, а потому, что в них, как раз и отражены живые противоречия, вся сложность обстоятельств, раскрывающая рост, укрепление русского государства при одновременных совершенно неизбежных конфликтах между народом и властителями.

В первом эпизоде, где речь идет о завершении постройки крепости «Албазин именуемой», Ярофею и казаку Соболиному Дядьке удалось убедить участников отряда, что вновь освоенная земля должна стать достоянием Руси, а жители крепости — подданными московского царя. И казацкий круг решил последовать совету Сабурова: «...нерчинскому воеводе отписать грамоту, послать дары, просить милости царской, подмоги ратной и огневой, чтобы отстоять повоеванные земли и утвердить крепко Русь на дальнем Амуре». Но ни из Нерчинска, ни из Москвы не получили казаки помощи. Напротив, сочли их за разбойников, приговорили к лютой казни. И когда пришла весть об этом, албазинцам ничего другого не оставалось, как «поставить вольный на Амур-реке городок... от Нерчинска отгородится и с московским царем жить в ссоре».

Правда, история в конце концов взяла свое: богдыхан признал русскими большие земли по Амуру. Но если бы Ярофей Сабуров вовремя получил помощь, не пылать бы Албазинской крепости, не быть кровавой сечи, где полегли лучшие, отважные сыны русского народа.

И столкнувшись со всеми этими противоречиями, читатель делает один важный вывод: не московские самодержцы, не надутые спесью бояре, а народ был той исторической силой, которой обязано становление и развитие нашего могучего государства. Это он, ценой большой крови, часто при противодействии и сопротивлении правителей, освоил окраинные земли, где советские люди, его законные наследники, возводят сейчас здание коммунизма.

В меру возможностей, обусловленных идеей и темой повести, Г. Кунгуров дал также исторически верную картину жизни Китая, который был и сейчас остается «соприкосновенным» с Россией и правители которого в свое время сыграли свою отрицательную роль, мешая русским землепроходцам в осуществлении их великого прогрессивного дела.

Не китайский народ, а богдыхан Кан-Си из маньчжурской династии Цинов со своими войсками пытался сохранить господство над забайкальскими и дальневосточными землями, заботясь не об их процветании, а о получении грабительского ясака с многочисленных народностей, которые он угнетал столь же свирепо, как и китайцев.

В повести рассказано о том, как страдали под игом захватчиков — маньчжуров китайские ремесленики, лодочники, землепашцы, как росло недовольство и сопротивление народных масс, выливавшееся подчас в открытые восстания, как организовывали народную борьбу тайные общества «Белый лотос» и «Триада». Эта борьба, расшатывавшая трон Кан-Си, и сослужила хорошую службу русскому послу Федору Головину, который, опираясь на отвагу воинов-землепроходцев и используя междоусобицу в самом Китае, сохранил за Русью приамурские земли.

Приятно отметить, что автор повести «Албазинская крепость», написанной 19 лет тому назад, нигде не встает на путь осовременивания прошлого, нигде не пользуется приемом нарочитого подчеркивания связи между прошлым и настоящим. Подвиг землепроходцев

Ярофея Сабурова и его сотоварищей, раскрытый в исторической конкретности и непосредственности, как бы сам по себе ведет читателя по сложным, извилистым путям истории, внушает ему патриотические чувства и мысли. «Вот наши предки, — думает читатель. — Они своими ратными и мирными делами, мечом и сохой утверждали силу русской земли, и тем самым готовили приход настоящего — величия и славы Союза Советских Социалистических Республик».

Лишь в финале повести, подчеркивая, что между русским и китайским народом никогда не было противоречий и конфликтов, автор совершенно уместно завершает повествование лирическим отступлением, создает картину современного социалистического содружества двух народов:

«Минуют годы и века.

На месте славной Албазинской крепости русские люди возведут город. И зацветут в садах города и окрест его солнечным пламенем «Степанидины слезы», и совьют из них венки и сложат букеты ласковые руки пионеров, чтобы возложить те венки и букеты на скромный зеленый холмик, с которого видны голубые амурские дали, за ними — мирная китайская земля.

Загуляет по Амуру ветер-верховик, как гулял он и в давние-давние времена, и взлетит над древней рекой светлокрылая песня о том, как протянули друг другу братские руки два великих народа — русский и китайский».

Таким образом, повесть «Албазинская крепость» по своему содержанию созвучна событиям той эпохи, которая заинтересовала писателя. Но этого еще недостаточно для исторического романиста. Нужно, чтобы он нашел и использовал такие художественные средства и приемы, которые передали бы дух, колорит прошлого. Г. Кунгуров идет по верному пути, проложенному классиками советского исторического романа и, прежде всего, А. Толстым.

Писатель не стремится буквально воспроизвести весь «букет» языка XVII века, но использует те слова и выражения, те синтаксические формы, которые, будучи понятны современному читателю, в то же время воссоздают тот строй языка, на котором, по выражению А. Толстого, говорили русские люди тысячу лет и который и посейчас является нашим достоянием.

Особо щедро своеобразие языковой стихии прошлого проявляется в языке персонажей: «— Ставлю тебя, Никита, ратным стражем. Особливо хлебные и пороховые запасы хорони» (Бояркин). «Корись, Степанида, корись!..» (Марфа). «— Коль вздумает князь баловать и совершит измену, то на кару лютую пусть не жалуется» (нерчинский воевода Даршинский) и т. д. «Ставлю» (теперь — «назначаю»), «особливо» (вместо «особенно»), «корись» (вместо «покорись»), «баловать» (в смысле «разбойничать»), — все эти и многие другие выражения, воспроизводя колорит времени, легко воспринимаются современным читателем.

Показательно, что этот же прием использован и непосредственно в авторской речи. Увлекаясь образами прошлого, писатель, естественно, и сам начинает думать, облекать чувства и мысли в своеобразный словесный покров: «Воеводский сын вернулся в Нерчинск **посрамленный**, от стыда с корабля до ночи не сошел, а в воеводские хоромы прошел **потемну**... Перед отцом пал на колени, **клял воров**... Казаки, которые ходили с ним в бесславный поход, громко **похвалялись... сказывали** они нерчинским казакам, что у Ярошки Сабурова ратная сила велика, **на бою храбра, а промеж себя** дружна. Земли же албазинцев на Амуре-реке и привольны, **и хлебны, и травны, и безмерно богаты».**

Вместе с таким своеобразным языком в повесть вливается фольклорная традиция, художественные приемы, заимствованные из устного народного творчества, и хорошо использованные писателем.

Традиции фольклора, в данном случае былинного эпоса, широко использованы для изображения битвы на ратном поле у Албазинской крепости, во время которой погибает Ярофей Сабуров. И эта былинная традиция, требующая эпического размаха в сцене высокого трагического накала, контрастных пятен, краткости выражения, параллельного судьбе героя состояния природы, соблюдена в повести:

«...Ветер гнал по небу черные лоскуты туч. Луна пугливо косилась на землю, мутными пятнами освещала лес, горы, обливала башни крепости блеклой зеленью... Луна озарила ратное поле. Зелеными пятнами засветился холм, на холме лежал в чешуйчатой кольчуге рослый воин. Железный шлем валялся поодаль. Воин лежал, широко разметав длинные руки. Ветер трепал волосы... Где-то далеко завыл шакал. Туча закрыла луну, темь нависла. Тучи сгустились». И после такой картины смерть Сабурова ощущается нами во всей своей грозной величественности.

Пейзаж в повести вновь свидетельствует о том, что не формальными приемами «архаизации» содержания и формы исторического произведения достигается изображение прошлого. Картина природы Сибири вдали от больших

городов и строек и сегодня может вернуть нас к давним временам. Но если эта картина воспринята и воссоздана писателем в духе фольклорных традиций, мы еще острее ощущаем ее «древность», ибо приемы народного творчества с их безыскусственностью и художественной «наивностью» несут с собой цвет, запах, красоту минувших веков.

Таков пейзаж, раскрывающийся перед нами, вместе с изображением передового отряда Ярофея Сабурова под водительством Ивана Бояркина, пролагающего на дощаниках путь к неведомым землям:

«Вскоре берега Олекмы засеребрились первыми осенними заморозками, по утрам острые льдины с треском отрывали щепы от бортов дощаников. Осенние ветры были с дождем и снегом, жалобно завывала тайга, ощетинилась Олекма седыми гребнями... С утра до вечера ухали казаки на берегу, с тревогой и тяжкими трудами волокли дощаники посуху, чтобы миновать пороги и водопады».

Очеловеченные (прием антропоморфизма) образы тайги и особенно седой Олекмы предстают перед казаками, жившими столетия тому назад, и, хотя в характерных приметах и чертах природы того времени нет каких-либо особых признаков, мы как бы становимся в один ряд с героями прошлого, вместе с ними переживаем мучения и трудности дикой таежной дороги.

Верно служит писателю и такое оружие народного творчества, как гиперболизм — тот самый гиперболизм, который, подчеркивая реальность происходящего, выделяет в нем резко свет и тени, поднимает его на высоту большого художественного обобщения. И потому, что гиперболизация, как другие фольклорные поэтические средства, содержит в себе долю все той же как бы детской непосредственности, «наивности», мы воспринимаем ее как нечто достоверное.

Не случайно, прочтя в повести о том, как готовилось решающее сражение между маньчжурами и албазинцами, как вражеская рать под командованием дяди богдыхана Синь-готу шла походом на крепость, мы невольно вспоминаем «Слово о полку Игореве»:

«Амур огласился неслыханным гамом, движение, столь могучее, всполошило всех обитателей Амура: и людей, и птиц, и зверей. Кочевые эвенки, побросав свои юрты и пожитки, бежали в леса и ущелья. Птицы с криками, оставив берега Амура, летели прочь, звери шарахались в страхе и разбегались по трущобам, оглашая тайгу беспокойным ревом. Прибрежные камыши и травы никли к земле, рыбы прятались в омуты и промоины».

Такое гиперболическое «предварение» оказывается верным средством для того, чтобы читатель проникся ощущением непосредственности происходившего в давние времена, чтобы подробности битвы небольшой казачьей дружины против десяти тысяч маньчжурских конников и общий смысл этой битвы воспринимались как нечто совершенно реальное.

Подчеркивая верность исторического замысла повести «Албазинская крепость» и «добротность» художественных приемов, использованных Г. Кунгуровым, мы не можем пройти мимо известных просчетов и недостатков, которые, к сожалению, остались в произведении и после его переработки.

Если иметь в виду недостатки содержания повести, то нам хотелось бы отметить прежде всего известный схематизм в изображении сподвижников Ярофея Сабурова. Мы отдаем себе отчет в том, что автор был ограничен рамками избранного жанра (повесть) и что сам Ярофей и Степанида выписаны достаточно полно и ярко. Но, хотя образ Сабурова и олицетворяет типические черты русских тружеников, ведущая тема произведения все же обязывала писателя показать хотя бы некоторых из названных народных персонажей (Бояркин, Стешка Клин, Васька Луков, Елена Калашина, Аксинья Минина, братья Зазнамовы и др.). Иначе создается впечатление о единоличных геройских подвигах Ярофея.

Затем не совсем ясно и четко решена в повести проблема взаимоотношений русских землепроходцев, населения острогов с местными жителями, особенно эвенками. Советская историческая наука неопровержимо доказала, что успешное освоение дальних северных и восточных земель объясняется, помимо всего другого, тем, что бурятские, эвенкийские племена видели в русских избавителей от невыносимого гнета маньчжурских, даурских, татарских властителей. Это важнейшее обстоятельство подчеркнуто и Г. Кунгуровым. Очень убедителен в повести эпизод, где князь Гантимур с родичами бежал из-под ига маньчжуров и был весьма доволен, что вместо грабительской дани нерчинский воевода наложил на племя эвенков малый ясашный оклад.

Но в противоречие с этим и некоторыми другими эпизодами вступает грамота того же нерчинского воеводы Даршинского, который пишет московскому царю: «...мунгалы и тунгусы, зная наше малолюдство и слабость ратную, грозят огнем, чинят разбойные набеги, пленят и калечат русских людей во множестве». Так как донесение воеводы приведено без всякой оценки, то объективно создается впечатление, что автор согласен с ним. Разумеет-

ся, были отдельные конфликты русских и с некоторыми племенами (родами) эвенков, но общий исторический фон, раскрывающий прогрессивную роль наших землепроходцев и устроителей земли сибирской, должен быть нарисован более четко.

Имеются в повести «Албазинская крепость» и некоторые второстепенные недостатки формы.

Монах отец Гаврила говорит: «— За Леной-рекой-де конца края не видно, и что-де имеется река боле, нежели Лена. На этой реке богатства несметны: соболи черней смолы кипучей, с огневым отливом, злато, серебро и каменья драгоценные в горах **растут** во множестве» (стр. 9). Подчеркнутое слово разрушает впечатление о яркой, точной, образной речи персонажа. Оно, это слово, хорошо соотносится с живописно изображенным соболем, но русский человек и в далеком прошлом не мог говорить о «растущих» каменьях драгоценных.

Неуклюже звучит фраза, посвященная Степаниде: «Исполнилось и у нее желание» (стр. 154). «Исполнилось и ее желание» — было бы лучше.

На стр. 163 по вине типографской корректуры допущена ошибка, извращающая смысл фразы: сын нерчинского воеводы «от стыда с корабля до ночи не сошел, а воеводские хоромы прошел потемну...» (нужно «**в** воеводские хоромы прошел...»). Еще более грубая и не оговоренная опечатка допущена на стр. 168: «Китайское царство в России с древних времен прикосновенно было через мунгальские степи» (нужно **к** России).

Очевидно, книга «Албазинская крепость» вышла не последним изданием. Смысловые неточности и стилистические ошибки должны быть устранены из интересной повести, завоевавшей свое место среди других исторических произведений нашей литературы.

К. Чуйко

ДЛЯ ЧИТАТЕЛЕЙ БОЛЬШИХ И МАЛЕНЬКИ.

В этом номере альманаха помещен обзор на шесть из восемнадцати выпущенных нами в прошлом году книг для детей. Одной из наиболее удачных была в 1959 г. книга Н. Печерского «У тебя все впереди, Валерка». Это книга об интересных приключениях, тревогах и радостях москвича Валерки Крамаря, приехавшего с родителями в якутскую тайгу на поиски алмазов. Написана она с присущим Печерскому юморком и хорошим знанием детской психологии.

Интересны и легенды народов Дальнего Востока, обработанные Гусарчуком. «Акимкина маевка» И. Молчанова знакомит юного читателя с жизнью ребят в первые годы Советской власти в Сибири; повесть Анны Рубанович «Песню нелегко сложить» хорошо встречена юношеством, обсуждалась на ряде читательских конференций. На нее мы получили очень много отзывов читателей из самых разных областей необъятного Советского Союза.

Очерки Е. Бандо «Над картой области», как и книги А. и М. Смирновых «Дары зеленого океана» знакомят молодежь с нашей областью, с теми огромными изменениями, которые в ней произошли в послевоенные годы, с замечательным богатством нашего сибирского леса.

Неудачным оказался № 7 «Края родного». Он велик по объему, дорог, неудачно оформлен и, что самое главное, в нем опубликовано несколько слабых по содержанию вещей.

По разделу художественной литературы особенно хорошо встречены читателями произведения молодых писателей Л. Красовского «Ровесники» о комсомольцах-строителях ЛЭП и Л. Кукуева «Живые и мертвые», рассказывающего о простых советсих людях, воинах Советской армии, героичеси сражавшихся с фашистскими захватчикам.

В прошлом году нами ыпущены сборники стихов И. Молчанова «Лвика», А. Ольхона «Избранное», в которые вошло много произведений, ранее не публиковашихся, из литературного наследия умершихпоэтов. Вышли также книги стихов П. Реутсюго «Романтики» и А. Преловского «Просека»—обе книги говорят о поэтическом росте молодых поэтов.

Интересные книги выши и в разделе общественно-политической литературы. Это брошюра, посвященная 10-летию Китайской Народной Республики, где авторы, посетившие Китай, рассказывают о замечательных успехах китайского народа в деле строительства социализма. Это несколько брошюр, посвященных атеистической пропаганде: «Коммунизм и религия» и «Правда об иеговистах» Решетникова, «О христианской морали» Трущенко.

Из исторической литературы выпущена книга М. Гудошникова «Гражданская война в Иркутске», сборник документов «Борьба за власть Советов в Иркутской губернии (1918—1920 гг.), «Рабочее движение в Черемховском угольном бассейне» З. Тагарова и «Декабрист-крестьянин Дунцов-Выгодовский» М. Богдановой. Целый ряд брошюр был посвящен вопросам развития нашей области в семилетке.

Более 10 книг по сельскому хозяйству рассказывают читателю о развитии животноводства, о передовых людях колхозов и о новых методах выращивания овощей. Монография Г. Ташкинова «Техническое обслуживание дизельных тракторов» несомненно окажется ценным пособием для механизаторов колхозов и

совхозов области. В книге описаны основные приемы технического обслуживания тракторов и других сельхозмашин и правила их технической эксплуатации.

Восемь книг вышло по разделам производственно-технической, краеведческой, научно-популярной и научной литературы.

Издательству в прошлом году пришлось преодолеть значительные трудности, связанные с недостатком бумаги, поступающей от поставщиков с большим опозданием и низкого качества, и других материалов, необходимых для выпуска книг.

Много неприятностей доставил нам книготорг. Тов. Бобрышев, директор книготорга, никак не мог организовать своевременный вывоз книг из типографии, своевременную рассылку их по районам. Некоторые издания залеживались на складах типографии по 4—5 месяцев и после вывоза на базу еще лежали там, прежде чем попадали читателю.

При составлении плана изданий на 1960 г. издательство учитывало необходимость освещения вопросов грандиозного строительства, ведущегося в области в осуществление решений XXI съезда партии, вопросов дальнейшего подъема сельского хозяйства: освоение целинных и залежных земель, введение севооборотов, расширение поголовья скота и птицы. Мы учитывали также и то обстоятельство, что 1960 г. — год юбилейный — 40-летие освобождения Сибири от колчаковщины и иностранной интервенции.

В разделе художественной литературы мы должны издать 14 книг. «Наташа Брускова» Г. Кунгурова, «Партии рядовые» М. Моценка, переходят из плана прошлого года. Мы выпустим роман П. П. Петрова «Половодье», рисующий борьбу трудящихся Сибири с белогвардейщиной. Роман этот не издавался более 20 лет. Роман К. Седых «Отчий край» выйдет массовым тиражом в 75 тыс. экз. По предложению читателей, мы переиздадим переработанный автором роман В. Козловского «Верность». Выпущены будут повесть Годлевского, рассказы Галченко, очерки и рассказы И. Молчанова, сборники стихов Инн. Луговского, А. Преловского и сборник молодых поэтов.

Большую работу проводит издательство совместно с отделением Союза писателей по подготовке к выпуску «Сибирского литературного календаря», в котором будут помещены критико-биобиблиографические статьи о писателях-сибиряках и развитии литературного движения в Иркутской области.

Будет издан массовым тиражом роман В. Скотта «Эдинбургская темница».

Для детей и юношества мы издадим 15 книг. Будут переизданы книги Житкова «Что я видел» и научно-фантастическая повесть Аматуни «Тайна Пито-Као». Н. П. Печерский написал новую книгу «Красный вагон» — интересную историю о детях, участвующих в труде взрослых по созданию северной железной дороги.

А. Кулик представит повесть «Приключения капитана Кузнецова» — о летчике-испытателе, потерпевшем аварию в тайге, вдали от мест, где живут люди. Н. Чаусов и А. Шастин опубликуют новые повести, посвященные нашим детям. Самые маленькие читатели получат сборник «Сибирская звездочка», «Книгу веселого дятла» и многокрасочную книжку «Краски пошли гулять».

Значительное место в плане будущего года занимает общественно-политическая литература. Брошюра Е. Бандо расскажет читателю о грандиозном развитии нашей области в текущем семилетии. Серия брошюр «Люди семилетки» и книга «Они строят Братскую ГЭС» посвящены рассказам о людях самых различных профессий, передовиках социалистического строительства.

«Опасный маршрут» И. Литвинова — записки участника первой советской экспедиции 1920 г. на север рассказывают о малоизвестном факте — отправке из Иркутска через Киренск и Витим военной экспедиции 5 Армии для помощи амурским партизанам и вывоза золота в Советскую Россию. Книга Солодянкина «Коммунисты Иркутска в борьбе с колчаковщиной» и сборник воспоминаний партизан издаются к 40-й годовщине разгрома Колчака.

Несколько брошюр будут посвящены борьбе с религиозными предрассудками. Всего по этому разделу выйдет 18 книг и брошюр.

Среди изданий по вопросам сельского хозяйства особенно интересны книги, «Календарь садовода», в которой даются практические советы садоводам, когда и что нужно делать в саду каждый сезон года; «Справочник охотника», освещающий вопросы экипировки, приемов охоты, оружия, маскировки на охоте, дающий описание основных видов промысловых зверей и птиц и календарь охотника.

Ряд брошюр посвящается вопросам реализации решений декабрьского Пленума ЦК КПСС, борьбе за получение в 1960 году 80 тыс. тонн мяса, а также новой агротехники.

Брошюры Коробенкова «Хозрасчет в колхозе им. Кирова, Усольского района», «Экономика колхоза на подъеме» расскажут читателям о работе по укреплению общественного хозяйства колхозов, увеличению их доходов и снижению себестоимости.

Несколько книг будут посвящены освещению вопросов развития техники, организации производства и энергетики области. Большая работа И. Островского «Обработка металлов резанием» рассчитана на широкий круг рабочих, связанных с обработкой металлов резанием, и студентов механических факультетов техникумов и вузов.

Ушканьи острова—один из интереснейших и малоисследованных уголков Байкала. Об истории их возникновения, фауне, флоре и климате островов будет рассказано в брошюре О. Гусева.

Молодые научные работники Малышев и Бардунов в очень яркой, интересной форме рассказывают в своей книге «Весенние биологические экскурсии» о том, что можно увидеть в лесах южной части Прибайкалья ранней весной. Книга эта имеет большое познавательное значение, написана живо и увлекательно. И, несомненно, будет хорошо встречена любителями природы и преподавателями естествознания в школах.

Любители собирать ягоды, грибы и кедровые орехи получат в этом году интересную книжку Тимофеева и Ситникова «Ягоды, грибы и кедровые орехи в Иркутской области». В книге рассказано о питательных и лекарственных свойствах ягод, грибов и орехов, способах их сбора, переработки и заготовки впрок.

Более 130 книг, общим тиражом в 1 500 000 экземпляров, выпустит издательство в 1960 г. для читателей нашей области.

НОВЫЕ КНИГИ

А. Н. Гранина. «Разведчики сибирских недр». Не счесть на сибирской земле природных богатств. Сокровища земных недр остаются недосягаемыми до тех пор, пока к их освоению не приложены человеческие руки. И среди людей, добывающих для человечества благородные металлы, редкие минералы, ценные строительные материалы, с особым уважением мы произносим и храним в памяти имена первооткрывателей, исследователей, неутомимых разведчиков природы.

Разведчики сибирских недр, о которых рассказывает в своих очерках Александра Никифоровна Гранина, — это ученые прошлого века, послужившие России своими необычайными открытиями в недрах Сибири.

Единственное в СССР месторождение нефрита — этого «священного камня», как его называют на Востоке, открыто в Саянах геологом Григорием Маркиановичем Пермикиным в середине XIX века.

В то же время француз Иван Петрович Алибер, имевший звание иркутского и красноярского купца, а душу художника и исследователя, открыл и приступил к разработке графитных месторождений на Ботогольском гольце в Восточных Саянах.

Несколько позднее сосланный в Сибирь польский повстанец Александр Лаврентьевич Чекановский вместе с другими ссыльными внесли огромный вклад в изучение геологии и полезных ископаемых Восточной Сибири, опубликовав результаты своих исследований в ученых трудах.

Как проходили поиски исследователей, о их жизни и деятельности вы узнаете, прочитав книжку очерков А. Н. Граниной «Разведчики сибирских недр».

О. В. Перовская. «Мармотка». Писательница Ольга Васильевна Перовская живет в Москве. Однако это не мешает ей писать интересные рассказы о животных, в которых удачно сочетаются наблюдательный глаз испытателя и мастерство писателя.

В новой ее книжке, изданной в Иркутске, вниманию читателей предложены четыре коротких рассказа для детей среднего возраста. Мармот — это латинское название сурка. Мармоткой назвал прирученного сурка повар столовой немец Зобар Иоганович Мейер. История маленького зверька описывается в заглавном рассказе.

Райт — трехлетний английский пойнтер. О верном друге человека охотничьей собаке написан рассказ «Райт». О забавных приключениях и озорстве медвежонка Мишки узнает читатель из рассказа «Бердягинский внучек».

В последнем рассказе «Тюря» мы читаем, что на клетке со степной дрофой приколочена фанерная доска с надписью: «Представленный здесь экземпляр — самец, кличка его ТЮРЯ. Его выкормили и приручили пионеры Галя Кошута и Андрюша Мисько».

А как поймали, чем выкормили и как приручили, об этом и написала историю маленького дрофенка Ольга Васильевна Перовская.

А. В. Смирнов, М. В. Смирнова. «Дары зеленого океана». Вы странствуете по сибирской тайге. У вас на исходе продукты, вас преследует гнус, ваш спутник изнемогает от усталости, а один из вас чувствует приступ болезни печени. До ближайшего населенного пункта десятки километров, поблизости нет ни магазинов, ни медицинских пунктов. Неопытному путнику впору растеряться.

«Этого не должно быть», — говорят авторы небольшой книжки «Дары зеленого океана» А. В. Смирнов и М. В. Смирнова. В Сибирской тайге не умрешь с голоду, есть средства борьбы с неистребимым гнусом, а лекарственные растения снимут усталость и избавят от болезненных приступов. Вряд ли мно-

гие знают, что рябина — заменитель лимонов, а чистотел — заменитель йода. Немногие знают о замечательном свойстве сибирской ели — из ее древесины производится до 75% бумаги в мире и изготовляются деревянные части музыкальных инструментов. Ягоды, грибы, орехи — питательные продукты тайги. «Из тех грибов, у которых низ шляпки пористый, ядовитых в Сибири не встречается», — пишут авторы.

В книжке «Дары зеленого океана» много полезных советов найдут геологи и агрономы, учителя и лесники, туристы, впервые приехавшие в наш край, и старожилы, путешествующие по тайге.

Цырен-Базар Бадмаев. «День рождения».

У нас в Бурятии, друзья,
Садятся рано на коня.
Еще я в школу не ходил,
Еще не пас в степи овец,
Когда в седло меня отец
Впервые, помню, посадил.

Так называется стихотворение «Мужчина», одно из интереснейших в сборнике стихов для детей бурятского поэта Цырен-Базара Бадмаева «День рождения».

Молодой поэт известен детям по книжке «Хитрый конь», изданной в Москве, и «Детям» — в Чите. Лучшие стихи из этих сборников с добавлением новых вошли в книжку «День рождения».

Вот «чемпион», побивший мировой рекорд на снежной лыжне, решивший, что:

Чем совершать далекий путь,
К тому ж еще двукратно,
Не лучше ль здесь передохнуть
И повернуть обратно?

А вот два приятеля Балдан и Голдан, сцепившиеся в схватке: кто кого поборет? у этого мальчика ответственная фамилия — Банзаров и одноклассники требуют у него, чтобы он отказался от лени и стал отличником. А мальчик Согсорит может прилечь уснуть на такую минутку, за которую наш спутник трижды оборачивается вокруг Земли. Много бурятских друзей найдут читатели на страницах этой веселой книжки.

Переводы с бурятского языка сделали поэты Н. Глазков, В. Киселев, Ю. Левитанский и В. Мартынов.

Н. Якутский. «Таежные тропы». «Говорят, что когда-то давно заяц имел прекрасный пышный и длинный хвост. Ему тогда даже завидовала лесная модница лиса». А вот лишился хвоста из-за своей трусости. Об этом рассказывает якутский писатель Николай Якутский в новой книжке сказок и рассказов «Таежные тропы». В другой сказке читатель узнает о причине вражды медведя и волка.

«Горностай», «Лось», «Лепешка бурундука», «Тетерев в петле», «Гусь». «Встреча с тигром» — сами названия говорят, что эти охотничьи рассказы, маленькие повествования о повадках и нравах диких обитателей якутской тайги, о том, как человек побеждает природу, добывает себе в тайге пищу и одежду.

Во многих рассказах действуют маленькие охотники, проявляющие смелость и находчивость. Часто они неопытны, они могут допустить промах, но никогда не струсят перед опасностью, так как мужество в них воспитывается с детских лет. Наиболее красноречиво об этом описано в рассказе «Охотничий обычай», где автор говорит, как он «узнал старый охотничий обычай, по которому в берлогу убитого медведя должен влезть младший по возрасту охотник».

Книжка хорошо иллюстрирована художником В. Болдиным. Перевела с якутского Л. Золотарева.

С. Васильев. «Совет пернатых». Каждый год весной мы встречаем, а осенью провожаем в дальний путь стаи перелетных птиц. Часто ли нам приходилось задумываться над этим? И если мы не находили ответа на интересующий нас вопрос, мы забывали о нем до новой весны, до очередного прилета пернатых.

Якутский поэт Сергей Степанович Васильев в сказочной стихотворной форме рассказал нам о причинах, вынудивших птиц из жарких стран на лето кочевать в северные края. Из книжки «Совет пернатых», переведенный с якутского Верой Аркадьевной Потаповой, мы узнаем, что однажды солнце так палило, что высушило все водоемы, сожгло травы и листья, и птицы решили:

Ни один у нас не выживет птенец.
Наступает роду птичьему конец!

Пернатые собрались на совет и решили направить своего представителя на поиски «заповедной земли, где бы мы поселиться могли».

Как птиц обманул филин, почему кулик при перелете птиц сидит на спине у журавля, где находится страна, в которой птицы

...все лето гостят,
Распевают и гнездышки вьют,
И птенцов желторотых растят,

узнают юные читатели, прочитав интересные стихи С. Васильева «Совет пернатых».

В. К.

Сатира и юмор

Александр Гайдай

К ВОПРОСУ О КУКУРУЗЕ

Отягощен ученым грузом,
Вперив свой взор куда-то вдаль,
Он все бубнил, что кукуруза
В Сибири выживет едва ль.
Он так расписывал метели,
Снега, морозы, гололед,
Как будто и на самом деле
В седой Антарктике живет.
Он подавлял авторитетом,
Как речка, речь его текла:
— Здесь укороченное лето,
— Здесь мало влаги и тепла!..
Но на поверку оказалось
Недоучел он одного —
Сама природа посмеялась
Над рассуждением его.
Стеною встала кукуруза,
Рукой верхушек не достать.
А муж ученый от конфуза,
Не дочитавши курса в вузах,
На юг подался... отдыхать.

РОМАНЫ-ТЕЗКИ

Изданные в этом году новые романы К. Симонова и Л. Кукуева называются одинаково — «Живые и мертвые».

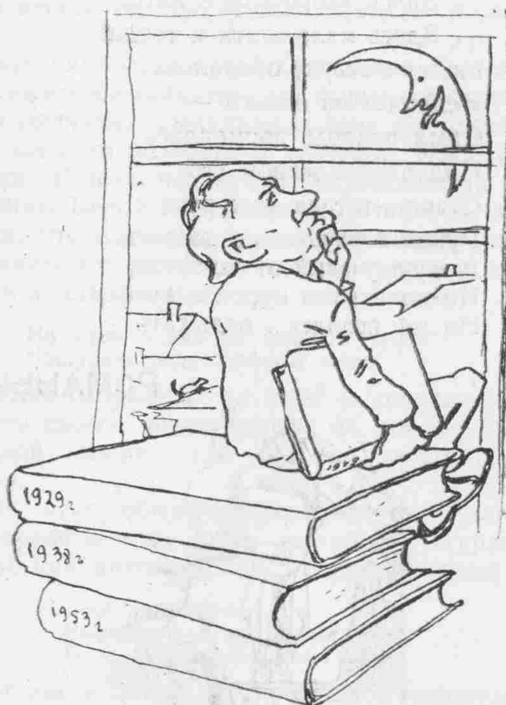
Читатель, случай не корите,
Ведь книги сходны лишь на вид,
Читайте каждую, цените,
А время, самый строгий критик,
Живых от мертвых отделит.

ЗАТЯЖНОЕ ВДОХНОВЕНЬЕ

Десять лет из года в год
В Доме творчества живет
И строчит в глубоком трансе...
Заявленья об авансе.

МАНИЯ ПЕРЕИЗДАНИЯ

Нет, не творить, а переиздаваться,
Он только думает о том.
И до Луны готов добраться,
Чтоб в «Луниздате» тиснуть том.



Вик. Лесовик

КОЛЛЕГИАЛЬНОСТЬ

Чтоб опровергнуть гениальность
Особомыслящих персон,
Сугубую коллегиальность
Внедрил на совещаниях он.
И вот в порядке обсужденья
Вопросов, что весьма важны,
Зам начи вносят предложенья,
Пом замы вносят предложенья
И даже собственное мненье
Имеют низшие чины.
Идет размеренно, по плану,
То совещанье пятый час.
Традиционный чай в стаканах
Внесла уборщица не раз.
А чай уже не помогает.
И кто-то истово зевает,
Не в силах скрыть зевоту ту.
И кто-то робко предлагает:
— Быть может, подведем черту?
Тогда поднялся он.
И зычный
Раздался голос в тишине.
А прежде он демократично
Спросил:
— Теперь позвольте мне?
По тем шпаргалкам, что заране
Ему вручил дотошный зам,
Он все вопросы совещанья
Решил единолично сам.

ТОКАРЬ

С утра он медленно покурит,
Зайдет за спичками в буфет,
Потом с дружком побалагурит,
А там, глядишь — уже обед.

Он — токарь.
Но стоит у кассы
С зарплатой тощей,
Налегке.
Он днями точит, точит лясы,
А не детали на станке.

«МАРИНИСТ»

Хоть был художник пейзажистом,
Его прозвали маринистом
За то, что в каждую картину
Он вписывал жену — Марину.

Альманах Ангара № 1

Худож. редактор *С. Р. Ковалев*

Техн. редактор *Т. И. Печерская*

Корректор *Т. Н. Ковинина*

Сдано в набор 30 января 1960 г. Подписано к печати 12 марта 1960 г.
Печ. л. 16,4. Уч.-изд. 16,37 Бумага $84 \times 108^1/_{16}$. Тираж 5000. Заказ №—31 НЕ 03519

Иркутское книжное издательство, ул. Кр. звезды, 18.

Типография № 1 отдела Полиграфиздата Иркутского областного управления культуры г. Иркутск, ул. К. Маркса, 11.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА АЛЬМАНАХ «АНГАРА»

Литературно-художественный и общественно-политический альманах Иркутского отделения Союза Советских писателей.

В 1960 г. в альманахе печатаются: роман А. Зверева **«Далеко в стране Иркутской»**, рассказы и очерки Тичинина, Огневского, М. Сергеева, Кривоноженко, Тихоновой, Дубовцевой, повесть П. Маляревского. Стихи Киселева, Сергеева, Луговского, Преловского, Реутского и др.

Альманах выходит 4 раза в год.

Подписная цена 24 руб. в год, цена номера 6 руб.

Подписка принимается во всех отделениях Облсоюзпечати.

6 p.